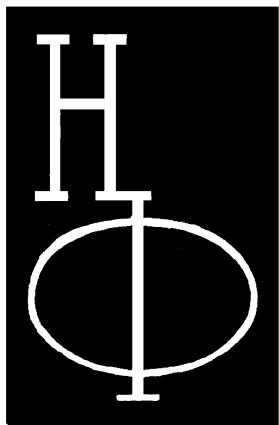


Фантастика научной фантастики





Выпуск 4

Альманах
научной
фантастики

Издательство
«ЗНАНИЕ»
Москва 1966



Фред Хойл

ЧЕРНОЕ ОБЛАКО

Р О М А Н

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Эта книга отличается от многих других произведений научно-фантастического жанра тем, что ее написал профессиональный ученый, активно и плодотворно работающий в тех самых областях науки, о которых идет речь в романе. Автор хорошо знает образ мышления, условия работы и быт ученых-астрономов и физиков в Англии и США в наше время. Поэтому, кроме научной фантазии, в книге содержится много интересных бытовых деталей. С большим знанием дела описаны взаимоотношения ученых с государством в капиталистическом мире, методы организации научной работы в западных странах и т. п. Ф. Хойл всегда отличается оригинальностью и самостоятельностью мышления; действующие лица романа высказывают весьма своеобразные взгляды по многим вопросам не только науки, но и политики, морали, образования и даже музыки. Читатель едва ли во всем согласится с ними, но во всяком случае роман не только доставит ему удовольствие, но и даст обильную пищу для ума. Правда, в свою очередь, он потребует от читателя некоторых элементарных знаний по астрономии в пределах хотя бы школьного курса.

При чтении книги следует помнить, что она была написана до 1957 года. В переводе, с разрешения автора, сделаны незначительные сокращения.

Д. А. Франк-Камнецкий



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Научная фантастика существует, вероятно, очень давно.

Задолго до первых письменных памятников литературы, у костров на стоянках древних кочевых народов уже рассказывали фантастические истории. Когда человек достигает пределов своего понимания, ему хочется взлететь на крыльях воображения и искать путей в неведомое. В прежние времена фантазия не шла дальше рассказов об отдаленных уголках Земли и диковинных обычаях населяющих их людей. Именно такого рода фантастику мы находим в античной древности. Что такое «Одиссея» Гомера, как не прекрасный образец фантастики? То же самое можно сказать и о большей части «Историй» Геродота.

Стремление дать простор свободной игре воображения — это нечто большее, чем просто попытка уйти от повседневности. Оно служит более значительной цели. Будущее показалось бы нам — если бы мы могли заглянуть в него — столь же, если не более странным, чем самые удивительные истории, которые создает наше воображение. Во всяком случае, так всегда бывало до сих пор: представьте себе, каким показался бы наш современный мир людям даже семнадцатого столетия, и сразу станет ясно, что у нас нет основания полагать, что все радикально новые открытия уже сделаны. Только с помощью воображения, да и то не в полной мере, мы можем предугадать, что сулит нам будущее.

Для ученого фантастика таит в себе особую привлекательность. В своей повседневной работе ученый по необходимости должен сосредоточивать внимание на ближайших задачах — на тех, которые он способен разрешить, но не на тех, которые он хотел бы решить. Только в форме научной фантастики он может представлять себе задачи отдаленного будущего. Писатель, художник, музыкант счастливее ученого: материал, над которым они работают, не в такой степени ограничивает свободу их творчества. Ведь ученый обязан строго следовать велениям природы, в то время как люди искусства вправе преобразовывать свой материал согласно собственным устремлениям и желаниям. Может быть, именно поэтому ученые иногда чувствуют потребность сочинять фантастические истории, как, например, Кеплер, написавший роман о путешествии на Луну. Если Кеплеру удалось предугадать многое, то и ученый наших дней может подчас предсказать, что несет нам будущее.

Здесь главная опасность — остаться в плену современных представлений, видеть слишком мало. Будущее всегда замечательно именно тем, что оно открывает нечто совершенно непредвиденное. Двадцатое столетие поразило бы людей восемнадцатого века не теми достижениями, которые уже можно было предугадать, но такими совершенно неожиданными явлениями, как, например, радиоволны. Конечно, здесь есть элементы противоречия, ибо ясно, что неожиданное нельзя предвидеть! Но по крайней мере мы можем стараться избежать наивной экстраполяции нынешних направлений развития. Мало интересного можно придумать, например, о машинах. Очевидно, что машины и различные приборы будут с течением времени делаться все сложнее и совершеннее. Ничего неожиданного здесь нет.

В то же время в фантастике нужно избегать прямого противоречия с представлениями современной науки. Новые достижения никогда не противоречат старым теориям в пределах их точности. Напротив, новые теории, обладающие более широкой применимостью, включают в себя старые. Мне кажется, что уже нынешние наши знания исключают возможность путешествий к далеким звездам. Нельзя ожидать чего-то совершенно нового в области химических ракетных топлив, и, хотя легко представить себе ракету с ядерным двигателем, все равно ей не под силу преодолевать колоссальные рас-

стояния, отделяющие нас от звезд. Ведь даже если бы скорость современных ракет удалось увеличить в десять раз — и тогда потребовалось бы 10 тысяч лет, чтобы добраться хотя бы до ближайшей звезды. С другой стороны, мне не кажется исключенной возможность установить связь с живыми существами — обитателями планеты, вращающейся вокруг какой-нибудь далекой звезды. При нынешних темпах развития радиотехники возможность связи с обитателями далеких миров может скоро оказаться вполне реальной. Если на путешествие требуется 10 тысяч лет, то между нашим сигналом и ответом на него будет проходить, скажем, всего лет 100. Станет возможным обмен телевизионными передачами, и мы увидим, что собой представляют другие планеты и как выглядят их обитатели. Таким путем мы узнаем не меньше, а скорее больше, чем если сами там побываем. Ведь, путешествуя, можно посетить каждый раз лишь одну планету, в то время как радиосигналы или световые сигналы лазеров смогут дать сведения о многих планетах (особенно если будет создана система ретрансляции в Галактике). Наши ближайшие соседи, быть может, уже имеют библиотеку, содержащую сведения об огромном числе обитаемых планет по всей Галактике.

Вот, мне кажется, одна из областей, в которых будущее может самым необычайным образом отличаться от настоящего. При этом не приходится слишком далеко отходить от научных представлений нашего времени. Естественно, хотелось бы представить себе, каковы живые существа других миров. Интересно, чем они походят на нас и чем отличаются. И для фантастики, пожалуй, особенно интересны именно эти различия. В своем романе я поставил себе задачу придумать живое существо, возможно более непохожее на нас. Оно оказалось настолько непохожим, что ему не понадобилась даже планета, на которой оно могло бы жить. Но пора кончать — а то я уже начал пересказывать содержание романа.

Ф. Хойл



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Я надеюсь, что мои товарищи по науке получат удовольствие от этой шалости пера, написанной в часы отдыха. В конце концов, почти все, что здесь рассказано, вполне могло бы произойти на самом деле.

Так как упомянутые в книге научные учреждения действительно существуют, я хотел бы подчеркнуть, что персонажи книги не имеют никакого отношения к людям, которые работают в этих учреждениях.

Обычно считают, что мнения, высказываемые персонажами, отражают собственные взгляды автора. Я хотел бы добавить, несмотря на избитость этих слов, что подобная параллель может быть ошибочной.



ПРОЛОГ

Эпизод с Черным облаком всегда очень интересовал меня. Диссертация, которая принесла мне звание члена Колледжа королевы в Кембридже, касалась некоторых сторон этой эпопеи. К моему большому удовольствию, работа моя послужила основой для соответствующей главы «Истории Черного облака» сэра Генри Клейтона.

Не удивительно, что покойный сэр Джон Мак-Нейл, бывший заслуженный член нашего колледжа и широко известный врач, завещал мне после своей смерти большое количество материалов о том, что он пережил сам в связи с появлением Облака. Замечательно было письмо, приложенное к этим бумагам. Вот оно:

*Колледж королевы,
19 августа 2020 г.*

Дорогой Блайс,
Надеюсь, вы простите старика, если некоторые ваши рассуждения относительно Черного облака вызывают у него усмешку. Случилось так, что во время бедствия я находился в положении, позволившем мне изучить действительную природу Облака. Эти данные по ряду веских причин нигде не были опубликованы и, кажется, остались неизвестными авторам официальной традиционной версии. Меня очень волновала мысль, должно ли то, что я знаю, сойти вместе со мной в могилу или нет. В конце концов, я решил поведать вам о моих трудностях и сомне-

ниях. Я думаю, все станет яснее, когда вы получите мою рукопись, где я выступаю от третьего лица, чтобы моя персона не занимала слишком много места в повествовании. Кроме того, я оставляю вам конверт, содержащий рулон перфоленты, который прошу вас бережно хранить до тех пор, пока вы не поймете его значения.

Искренне Ваш Джон Мак-Нейл.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ

Было восемь часов утра на гринвичском меридиане. 7 января 1964 года над Англией поднималось зимнее солнце. По всей стране люди мерзли в своих плохо отапливаемых домах, проглядывая утренние газеты, завтракая и ругая погоду, и в самом деле отвратительную в последнее время.

Гринвичский меридиан идет к югу по Западной Франции, через покрытые снегами Пиренеи и Восточную Испанию. Линия тянется затем к западу от Балеарских островов, где северяне поумнее проводят зимний отпуск — на пляже в Менорке можно было встретить смеющихся людей, которые возвращались с утреннего купанья, — и дальше пересекает Северную Африку и Сахару.

Нулевой меридиан затем направляется к экватору, проходя через Французский Судан, Ашанти и Золотой Берег *, где новые алюминиевые заводы выросли вдоль реки Вольты. Здесь меридиан выходит на бескрайнюю гладь океана, простирающегося до самой Антарктиды. Экспедиции из многих стран работают тут бок о бок.

Вся Земля к востоку от этой линии до самой Новой Зеландии была повернута к Солнцу. В Австралии приближался вечер. Длинные тени легли на крикетную площадку в Сиднее. Шли последние минуты встречи между командами

* Бывшие английские колонии Ашанти и Золотой Берег — теперь независимое государство Гана (*Прим. перев.*)

Нового Южного Уэльса и Квинсленда. На Яве рыбаки делали последние приготовления к ночному лову.

На большей части Тихого океана, в Америке и Атлантике стояла ночь. В Нью-Йорке было три часа пополудни. Город был ярко освещен и, несмотря на недавно выпавший снег и холодный северо-западный ветер, на улицах сновало много машин. И на всей Земле вряд ли нашлось бы в эту минуту более шумное место, чем Лос-Анжелос. Вечернее оживление продолжалось здесь за полночь, по бульварам шли нескончаемые толпы народа, машины неслись по автострадам, рестораны были переполнены.

В ста двадцати милях к югу от Лос-Анжелоса астрономы на горе Паломар уже приступили к ночному дежурству. И хотя ночь стояла ясная и звезды искрились от горизонта до зенита, с точки зрения профессионального астронома условия были неблагоприятные: плохая видимость из-за слишком сильного ветра на больших высотах. Поэтому все без сожаления оставили приборы, когда пришло время перекусить. Еще вечером стало ясно, что наблюдения вести будет нельзя, и ученые договорились встретиться в куполе 48-дюймового Шмидта.

Поль Роджерс прошел целых четыреста ярдов, отделяющих 200-дюймовый телескоп от Шмидта, и увидел, что Берт Эмерсон уже принялся за суп, а его ночные ассистенты Энди и Джим заняты у плиты.

— Я жалею, что начал, — сказал Эмерсон, — все равно эта ночь пройдет впустую.

Эмерсон вел специальное обозрение неба, и для его работы были необходимы хорошие условия наблюдения.

— Берт, тебе везет. Похоже, ты собираешься сегодня улизнуть пораньше.

— Я повоюю еще часок-другой и, если не прояснится, лягу спать.

— Суп, хлеб с вареньем, сардины и кофе, — сказал Энди. — Что вам?

— Суп и чашку кофе, пожалуйста, — попросил Роджерс.

— Что вы собираетесь делать на 200-дюймовом? Применить качающуюся камеру?

— Да, я все-таки поработаю сегодня. Хочу сделать несколько снимков.

Разговор был прерван появлением Кнута Йенсена, который пришел сравнительно издалека — с 18-дюймового Шмидта. Эмерсон приветствовал его:

— Привет, Кнут. Есть суп, хлеб с вареньем, сардины и кофе, его сварил Энди.

— Начну-ка я с супа и сардин, пожалуй.

Молодой норвежец, любитель подурачиться, взял тарелку супа из томатов и бросил туда несколько сардин. Остальные изумленно взирали на него.

— Черт возьми, парень, верно, проголодался,— сказал Джим.

Кнут взглянул на него с притворным удивлением.

— Вы никогда не ели сардины с супом? Ну, тогда вы не знаете, как их надо есть. Попробуйте, вам понравится.

Поразив таким образом воображение слушателей, он добавил:

— Мне показалось, когда я подходил сюда, что здорово несет скунсом.

— Именно такой запах идет от вашей стряпни, Кнут,— сказал Роджерс.

Когда смех утих, Джим спросил:

— Вы слышали о скунсе, который был здесь две недели назад? Он испустил всю свою вонь возле того места, где засасывается воздух в вентиляционную систему 200-дюймового. Прежде чем успели выключить насос, все здание наполнилось этой гадостью. Вот уж вонь стояла! А внутри было человек двести посетителей.

— Хорошо, что мы не берем денег за вход,— усмехнулся Эмерсон,— иначе пришлось бы возвращать их обратно, и обсерватория бы разорилась.

— Задали они, верно, работы химической чистке,— добавил Роджерс.

По дороге назад к 18-дюймовому Шмидту Йенсен остановился и стал слушать шум ветра в деревьях на северном склоне горы. Сходство пейзажа с его родными холмами вызвало волну неудержимой тоски по дому, страстного желания быть снова со своей семьей, с Гретой. Двадцати-четырёхлетний норвежец приехал в Америку для усовершенствования.

Йенсен двинулся дальше, пытаясь стряхнуть с себя непонятную грусть. Причин унывать у него не было. Все к нему относились прекрасно, работу ему дали по силам.

Астрономия добра к начинающим. Здесь много работы, которая может привести к важным результатам, но не требует большого опыта. Йенсен был одним из таких на-

чинающих. Он искал Новые — звезды, которые взрываются с необычайной силой. У него были все основания надеяться, что в течение года он обнаружит одну или две. Так как нельзя заранее знать, когда взрыв может произойти и в какой части неба может оказаться взрывающаяся звезда, единственное, что остается — это фотографировать все небо ночь за ночью, месяц за месяцем. В один прекрасный день ему повезет. Правда, если он обнаружит Новую, расположенную не слишком далеко в глубинах космоса, тогда более опытные руки возьмутся за работу. Вместо 18-дюймового Шмидта вся мощь огромного 200-дюймового будет направлена на то, чтобы раскрыть манящие тайны этих странных звезд. Но в любом случае ему будет принадлежать честь первооткрывателя. И опыт, который он приобретет в самой большой в мире обсерватории, поможет ему, когда он вернется домой: будет надежда получить хорошую работу. Тогда он и Грета смогут пожениться. Чего ему еще желать? Он ругал себя, что так глупо разнервничался из-за ветра на склоне горы.

Он уже подошел к помещению, где находился маленький Шмидт. Войдя, он прежде всего заглянул в свой журнал узнать, какую часть неба ему нужно теперь фотографировать. Затем установил соответствующее направление к югу от созвездия Ориона: середина зимы — единственное время года, когда эту область неба можно наблюдать. Следующий шаг — начать экспозицию. Все, что нужно затем, — это ждать, пока сигнальные часы не возвестят о ее конце. В это время ничего не остается, как сидеть в темноте и ждать, дав волю своим мыслям бродить, где им вздумается.

Йенсен работал до зари, меняя пластинки одну за другой. Но работа его на этом не кончилась. Ему нужно было еще проявить пластинки, накопленные за ночь. Работа требовала большого внимания. Промах на этой стадии — и тяжкий труд пропадал впустую.

Обычно он не спешил проявлять пластинки. Он шел в спальню, спал пять или шесть часов, завтракал в полдень и только потом снова брался за работу. Но сейчас смена подходила к концу. Теперь по вечерам вставала луна, а это означало прекращение наблюдений на две недели, так как поиск Новых не может производиться в те полмесяца, когда ночью в небе луна. Она засвечивает чувствительные пластинки, используемые при этой работе.

Вот почему в тот день он должен был вернуться в управление обсерватории в Пасадену, расположенную в 125 милях. Автобус в Пасадену отправлялся в половине двенадцатого, и к этому времени нужно было проявить пластинки. Йенсен решил, что лучше всего сделать это немедленно. Затем он поспит четыре часа, быстро позавтракает и будет готов ехать в город.

Ему удалось сделать все по плану, но, сев в автобус, он почувствовал страшную усталость. Их было трое: водитель, Роджерс и Йенсен. У Эмерсона дежурство должно было продолжаться еще две ночи. Друзья Йенсена в ветренной, снежной Норвегии немало удивились бы, узнав, что он спит в то время, когда автомобиль мчится сквозь апельсиновые рощи, по которым проходит дорога.

На следующее утро Йенсен проснулся поздно, и было почти одиннадцать, когда он добрался до управления обсерватории. Ему предстояло еще не меньше недели работать над пластинками, заснятыми в течение последних двух недель. Нужно было сравнить последние наблюдения со снимками, сделанными в прошлом месяце. И это следовало сделать отдельно для каждого участка неба.

Поздним утром 8 января 1964 года Йенсен спустился в подвал обсерватории и сел за прибор, называемый мигалкой. Как показывает само название, мигалка — это прибор, который позволяет взглянуть сначала на одну пластинку, затем на другую, затем опять на первую и так далее с очень большой частотой. Если так делать, то звезда, которая существенно изменилась за время между двумя наблюдениями, будет выглядеть, как осциллирующая, или «мигающая» точка света, в то время как подавляющее большинство звезд, которые не изменились, мигать не будут. Таким способом можно сравнительно просто извлечь из десятков тысяч звезд ту, что изменилась. При этом сберегается огромный труд, так как не нужно проверять каждую звезду.

Чтобы пластинки можно было использовать в мигалке, необходима огромная точность. Пластинки должны не только сниматься одним и тем же инструментом, но по возможности и в одинаковых условиях: время экспозиции должно быть одинаково, и проявление должно производиться настолько стандартно, насколько это возможно. Вот почему Йенсен был так аккуратен при экспозиции и проявлении.

Трудность теперь состояла в том, что взрывающиеся звезды — не единственные, блеск которых изменяется со временем. Хотя в огромном большинстве звезды остаются неизменными, существует несколько типов переменных звезд. Такие истинные переменные звезды должны быть отдельно выявлены и исключены из рассмотрения. Йенсен высчитал, что ему придется выявить и исключить не меньше десяти тысяч переменных звезд, прежде чем он обнаружит одну новую. Как правило, он исключал такую «ложную мигалку» после короткой проверки, но иногда бывали сомнительные случаи. Тогда ему приходилось обращаться к звездному каталогу, а это требовало точного измерения положения каждой сомнительной звезды. В целом просмотр всей пачки пластинок требовал изрядного труда. Работа была довольно утомительная.

К 14 января он просмотрел уже почти всю пачку. В тот день он решил пойти в обсерваторию вечером. Днем он был на интересном семинаре в Калифорнийском технологическом институте, где обсуждался вопрос о спиральности галактик. После семинара возникла оживленная дискуссия. Йенсен и его друзья продолжали спорить по этому вопросу и за обедом, и позднее, по дороге в обсерваторию. Затем Йенсен решил просмотреть последнюю серию пластинок, ту, которую он заснял в ночь на 7 января.

Он закончил просмотр первой пластинки. Ему пришлось немало потрудиться над ней. Снова и снова каждая из «подозрительных» звезд оказывалась обычной, давно известной переменной звездой. Скорей бы уж разделаться наконец с этой работой. Куда лучше быть на горе у трубы телескопа, чем портить глаза над этим чертовым прибором, думал он, согнувшись над окуляром. Он нажал кнопку, и вторая пара пластинок появилась в поле зрения. Через мгновение Йенсен на ощупь вынул пластинки. Он долго изучал их, просматривая на свет, затем опять вставил в мигалку и включил ее снова. На густо покрытом звездами поле было расположено большое, почти круглое, темное пятно. Но поразило его кольцо звезд вокруг этого пятна: все звезды были «переменными», мигающими. Почему? Он не мог найти удовлетворительного ответа на этот вопрос: он никогда не видел и не слышал ничего подобного.

Йенсен почувствовал, что не может продолжать работу: он был слишком возбужден этим открытием. Его тянуло с кем-нибудь поговорить. Конечно, нужно обратиться к

Марлоу — одному из старших сотрудников. Большинство астрономов — узкие специалисты в той или иной области своей науки. У Марлоу тоже была своя узкая специальность, но, кроме того, он был человеком широчайшей общей эрудиции. Вероятно, именно поэтому он делал меньше ошибок, чем большинство его коллег. Он готов был говорить об астрономии в любое время дня и ночи и с одинаковым энтузиазмом пускался в рассуждения и с крупными учеными, каким был он сам, и с молодыми людьми, только начинающими свою научную деятельность. Естественно поэтому, что именно с Марлоу захотел поговорить Йенсен о своем любопытном открытии.

Он осторожно уложил обе пластинки в коробку, отключил приборы, потушил свет в подвале и направился к доске объявлений, которая находилась возле библиотеки. Здесь он просмотрел список наблюдений и тех, кто их вел, и к радости своей убедился, что Марлоу не уехал ни в Паломар, ни в Маунт Уилсон. Но, конечно, вечером его могло и не быть дома. Однако Йенсену повезло. Он позвонил Марлоу по телефону и застал его. Когда он объяснил, что хочет поговорить об одном очень странном явлении, Марлоу сказал:

— Приходите, Кнут, я буду вас ждать. Нет, пустяки, никаких особых дел у меня нет.

То, что Йенсен вызвал такси, чтобы поехать к Марлоу, ясно свидетельствовало о его душевном состоянии. Студенты с годовым доходом в две тысячи долларов в такси обычно не разъезжают. Это в особенности касалось Йенсена. Ему нужно было беречь деньги, потому что до возвращения в Норвегию он хотел побывать в различных обсерваториях Соединенных Штатов и, кроме того, купить подарки домой. Но сейчас ему и в голову не пришло подумать о деньгах. Он ехал в Пасадену, сжимая в руках коробку с пластинками и размышляя о том, не свалил ли он дурака, не сделал ли какой-нибудь нелепой ошибки.

Марлоу ждал его.

— Входите, — сказал он. — Выпейте чего-нибудь, у вас в Норвегии много пьют, не правда ли?

Кнут улыбнулся.

— Не так много, как вы думаете, доктор Марлоу.

Марлоу указал Йенсену на кресло у горящего камина, столь дорогого сердцу всех, кто живет в домах с централь-

ным отоплением, и, согнав большого кота с другого кресла, сел сам.

— Хорошо, что вы позвонили, Кнут. Жены сегодня нет дома, и я не знал, куда себя девать.

Затем, как обычно, он перешел прямо к делу — тонкости дипломатии были ему чужды.

— Ну, что у вас там? — сказал он, кивнув на желтую коробку, которую принес Йенсен.

Чувствуя некоторую неловкость, Кнут вынул первую из двух пластинок, ту, что была заснята 9 декабря 1963 года, и молча протянул ее Марлоу. Реакция собеседника его обрадовала.

— Боже, — воскликнул Марлоу. — Сделано на 18-дюймовом. Ага, вот и отметка на краю пластинки.

— Вы думаете, здесь какая-нибудь ошибка?

— Насколько я вижу, нет. — Марлоу вынул лупу из кармана и внимательно осмотрел пластинку. — Все выглядит совершенно нормально. Никаких дефектов на пластинке не видно.

— Скажите, почему вы так удивились, доктор Марлоу?

— Именно это вы и хотели мне показать?

— Не совсем. Странное явление становится очевидным, лишь когда сравниваешь ее со второй пластинкой, которую я снял месяцем позже.

— Но эта и сама по себе достаточно удивительна, — сказал Марлоу. — И вы целый месяц держали ее у себя в столе! Жаль, что вы не показали мне ее раньше. Но, конечно, откуда вам было знать.

— Но я не понимаю, почему вас так удивляет одна эта пластинка?

— Посмотрите-ка на это темное круглое пятно. Очевидно, это темное облако, не пропускающее свет звезд, расположенных позади него. Такие глобулы нередки в Млечном Пути, но обычно они имеют очень маленькие размеры. Боже мой, а взгляните на эту! Громадина! Чуть ли не два с половиной градуса в поперечнике!

— Но, доктор Марлоу, существует много облаков, больших, чем это; особенно в созвездии Стрельца.

— Если вы внимательно посмотрите на такие очень большие облака, вы обнаружите, что они состоят из огромного числа гораздо более мелких. А эта штука, на вашей пластинке, напоминает отдельное сферическое облако. Что

мне действительно непонятно, так это то, как я мог ее проглядеть.

Марлоу снова осмотрел пометки на пластинке.

— Правда, это на юге, и мы не особенно много занимались зимним небом. Но все равно, я не могу понять, как я мог его не заметить, когда работал над Трапецией Ориона. Это было всего три или четыре года тому назад, и я бы такого не забыл.

То, что облако оказалось для Марлоу незнакомым, а это несомненно было так, очень удивило Йенсена. Марлоу знал небо и все необычные объекты, которые могут встретиться там, не хуже, чем улицы Пасадены.

Марлоу подошел к буфету наполнить бокалы. Когда он вернулся, Йенсен сказал:

— Меня удивила вторая пластинка.

Марлоу смотрел на нее несколько секунд, а затем снова взглянул на первую пластинку. Его опытному глазу не нужно было мигалки, чтобы увидеть на первой пластинке кольцо звезд вокруг облака, которое полностью или частично отсутствовало на второй. Он продолжал задумчиво смотреть на эти две пластинки.

— Не было ли чего-нибудь необычного в способе, которым вы получили эти снимки?

— По-моему, нет.

— Они действительно выглядят нормально, но никогда нельзя быть полностью уверенным.

Марлоу резко вскочил. Теперь, как всегда, когда он был возбужден или взволнован, он выпускал огромные клубы пахнущего анисом табачного дыма. Он курил табак какого-то южно-африканского сорта. Йенсен удивлялся, почему его трубка не загорается.

— Иногда происходят самые дикие вещи. Лучше всего нам заснять как можно быстрее новую пластинку. Хотел бы я знать, кто сегодня на горе.

— Вы имеете в виду Маунт Уилсон или Паломар?

— Маунт Уилсон. Паломар слишком далеко.

— Да, насколько я помню, один из приезжих астрономов работает со 100-дюймовым. На 60-дюймовом, кажется, Харви Смит.

— Послушайте, пожалуй, лучше будет, если я поеду сам. Харви разрешит мне немного поработать с его приборами. Я не смогу, конечно, исследовать всю туманность,

но заснять некоторые звезды у ее края смогу. Вы знаете точные координаты?

— Нет. Ведь я позвонил вам сразу, как только проверил на мигалке. У меня не было времени установить их.

— Пустяки, мы можем сделать это по дороге. Но, по моему, вам нет необходимости проводить эту ночь без сна. Подвезти вас домой? А Мэри я оставлю записку, что не вернусь до завтра.

Йенсен был еще очень возбужден, когда Марлоу высадил его около дома. Прежде чем лечь спать, он написал письма домой. Одно — родителям, в котором упомянул о своем необычайном открытии, и другое — Грете, где рассказал, что, по-видимому, натолкнулся на какое-то интересное явление.

Марлоу поехал в управление обсерватории. Прежде всего он позвонил в Маунт Уилсон Харви Смиту. Услышав голос Смита с мягким южным акцентом, он сказал:

— Говорит Джефф Марлоу. Послушай, Харви, произошло нечто удивительное, настолько удивительное, что я хотел бы попросить у тебя 60-дюймовый на эту ночь. Что? Я и сам не знаю и хочу выяснить. Касается работы молодого Йенсена. Приходи сюда завтра в десять часов, и я смогу рассказать побольше. Если тебе будет скучно, поставлю бутылку виски. Идет? Прекрасно! Скажи ночному ассистенту, что я буду около часа, ладно?

Затем Марлоу позвонил Биллу Барнету из Калифорнийского технологического.

— Билл, это я, Джефф Марлоу, звоню из управления. Хочу сообщить, что завтра в десять утра здесь будет довольно важное собрание. Я хотел бы, чтобы ты приехал и захватил с собой нескольких теоретиков. Не обязательно астрономов. Захвати несколько способных ребят... Нет, я не могу сейчас ничего объяснить. Завтра я буду знать гораздо больше. Я собираюсь сейчас на 60-дюймовый. Но обещаю тебе, если завтра будет скучно, или ты подумаешь, что это розыгрыш — ставлю тебе ящик виски. Договорились!

Возбужденно напевая что-то, он сбежал по лестнице в подвал, где этим вечером работал Йенсен. Около часа он измерял пластинки Йенсена. Точно определив место, в которое следовало направить телескоп, он вышел, сел в машину и поехал на Маунт Уилсон.

На следующее утро, придя в семь тридцать в управление, доктор Геррик, директор обсерватории, поразился, что его уже поджидает Марлоу. У директора была привычка приходить на работу часа за два до начала рабочего дня «сделать кое-что», как он говорил. Марлоу, напротив, обычно появлялся не раньше половины одиннадцатого, а то и позже. На этот раз, однако, Марлоу сидел за столом и внимательно разглядывал пачку снимков. То, что Геррик услышал от Марлоу, отнюдь не уменьшило его удивления. Они горячо о чем-то разговаривали в течение следующих полутора часов. Около девяти они наспех позавтракали и вернулись как раз вовремя, чтобы успеть подготовить все к собранию, которое должно было состояться в десять часов в библиотеке.

Когда пришел Билл Барнет со своей компанией из пяти человек, в зале собралось уже с десяток сотрудников обсерватории, среди них Йенсен, Роджерс, Эмерсон и Харви Смит. Доска, экран и проектор для диапозитивов были подготовлены. Среди вновь прибывших собравшиеся видели впервые только Дэйва Вейхарта. Об этом блестящем молодом физике Марлоу уже много слышал и был рад, что Барнет привел его.

— Будет лучше, — начал Марлоу, — если я объясню все по порядку и начну с пластинок, которые Кнут Йенсен принес ко мне домой вчера вечером. Когда я их покажу, вы поймете, почему было созвано это экстренное совещание.

Эмерсон, сидевший у проектора, поставил диапозитив, который Марлоу сделал с первой пластинки Йенсена, снятой ночью 9 декабря 1963 года.

— Центр темного пятна, — продолжал Марлоу, — имеет прямое восхождение 5 часов 49 минут, склонение минус 30 градусов 16 минут.

— Прекрасный образец глобулы Бока, — сказал Барнет.

— Каковы ее размеры?

— Около двух с половиной градусов в поперечнике.

У астрономов захватило дух.

— Джефф, оставь мою бутылку виски себе, — сказал Харви Смит.

— И мой ящик тоже, — добавил Билл Барнет среди общего смеха.

— Я думаю, вам все же понадобится глоточек, когда вы увидите следующий снимок. Берт, подвигай их взад-вперед

так, чтобы можно было сравнить, — продолжал Марлоу.

— Невероятно! — воскликнул Роджерс. — Выглядит так, будто целое кольцо переменных звезд окружает облако. Но разве это возможно?

— Нет, — ответил Марлоу, — это я понял сразу. Если даже мы примем невероятную гипотезу, что облако окружено кольцом переменных звезд, все равно совершенно немыслимо, чтобы они осциллировали в фазе друг с другом — все одновременно вспыхивали, как на первой картинке, и все одновременно гасли, как на второй.

— Нет, это абсурд, — отрезал Барнет. — Если предположить, что на снимке все верно, то остается, очевидно, одно объяснение. Облако движется к нам. На второй картинке оно ближе к нам и поэтому закрывает больше звезд. Каков интервал времени между этими двумя снимками?

— Чуть меньше месяца.

— Тогда наверняка дефект на снимке.

— Точно так же я рассуждал вчера вечером. Но поскольку я не увидел ничего ненормального на пластинках, самым естественным было сделать новые снимки. Если за месяц произошли такие изменения, как на пластинках Йенсена, тогда эффект должен быть легко замечен и за неделю. Последняя пластинка Йенсена была заснята 7 января. Вчера было 14 января. Я помчался на Маунт Уилсон, отнял у Харви 60-дюймовый и всю ночь фотографировал края облака. Вот все мои новые снимки. Они сняты, конечно, не в том же масштабе, что у Йенсена, но довольно хорошо видно, что за это время произошло. Покажи их одну за другой, Берт, а потом снова йенсеновский снимок от 7 января.

Следующие несколько минут в мертвой тишине астрономы сравнивали звезды, расположенные у края облака. Наконец Барнет сказал:

— Сдаюсь. Насколько я понимаю, нет ни тени сомнения — это облако движется к нам.

И было ясно, что все собравшиеся с ним согласны. Облако по мере того, как приближалось к солнечной системе, постепенно закрывало звезды.

— Да, действительно, нет никаких сомнений. Когда я обсуждал это сегодня утром с доктором Герриком, он напомнил мне, что эту часть неба у нас фотографировали двадцать лет назад.

Геррик вынул фотографию.

— Мы не успели сделать с нее диапозитив,— сказал он,— так что придется передавать ее из рук в руки. Вы видите темное облачко, но оно на этом снимке совсем маленькое — обыкновенная маленькая глобула. Я отметил ее стрелкой.

Он протянул снимок Эмерсону, который, передав его Харви Смиту, сказал:

— Оно невероятно выросло за двадцать лет. Трудно представить себе, что произойдет в следующие двадцать лет. Похоже, оно закроет все созвездие Ориона. Этак астрономы скоро останутся без дела.

И тут впервые заговорил Дэйв Вейхарт:

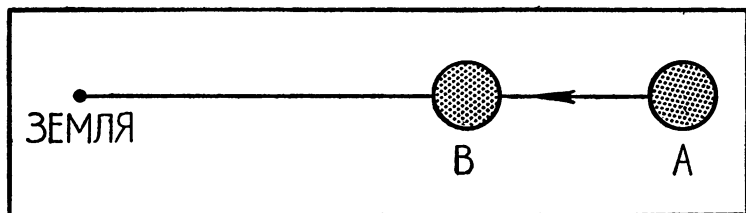
— Я хотел бы задать два вопроса. Первый относительно положения облака. Как я понял из ваших слов, кажущийся размер облака увеличивается из-за того, что оно приближается к нам. Это совершенно ясно. Но я хотел бы узнать, остается ли центр облака на месте или он сдвигается по отношению к окружающим его звездам?

— Дельный вопрос. За последние двадцать лет центр сместился очень незначительно относительно звезд,— ответил Геррик.

— Это значит, что облако летит точно на солнечную систему.

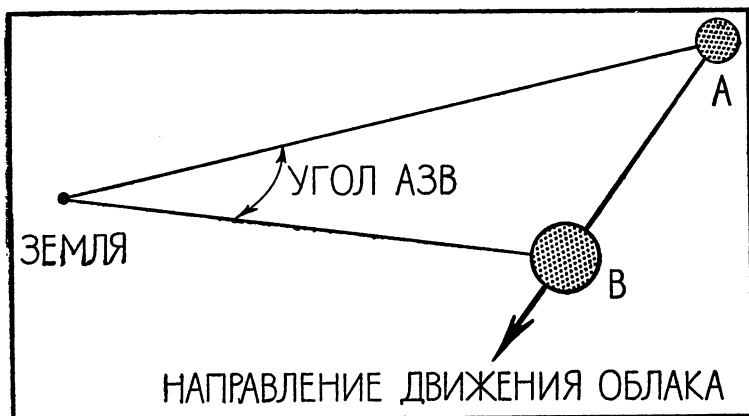
Вейхарт соображал значительно быстрее, чем обычные люди, поэтому, увидев, что его не все сразу поняли, он вышел к доске.

— Я могу пояснить это на рисунке. Вот Земля. Предположим сначала, что облако движется прямо на нас, как здесь из *А* в *В*. Тогда в *В* облако будет казаться больше, но центр его будет находиться там же. Это соответствует тому, что мы увидели на снимках.



Все согласились, и Вейхарт продолжал:

— Теперь предположим, что облако, двигаясь к нам, одновременно движется в сторону, и предположим, что скорости этих движений одного порядка. Тогда облако будет двигаться вот так. Если вы теперь рассмотрите движение из A в B , то обнаружите два эффекта: облако будет казаться больше в B , чем в A , точно так же, как в предыдущем случае, но теперь центр будет двигаться. И он переместится на угол $A\hat{B}V$, который должен быть порядка 30° .



— Я не думаю, чтобы центр переместился больше, чем на четверть градуса, — заметил Марлоу.

— Тогда боковое движение не должно составлять больше одного процента от движения к нам. Такое впечатление, будто облако летит на солнечную систему, как пуля в мишень.

— Вы хотите сказать, Дэйв, что нет шансов, что облако пролетит мимо солнечной системы или, скажем, лишь чуть ее заденет?

— Судя по фактам, которыми мы сейчас располагаем, облако летит прямо в цель, в самый центр мишени. Помните, оно уже два с половиной градуса в диаметре. Чтобы оно пролетело мимо, необходима поперечная скорость, по крайней мере равная десяти процентам от радиальной. А это вызвало бы гораздо большее угловое смещение

центра, чем то, которое, по словам доктора Марлоу, наблюдается сейчас. Другой вопрос, который я хотел задать: почему облако не было замечено раньше? Не хочу никого обидеть, но, по-моему, удивительно, как его не зарегистрировали раньше, скажем, лет десять назад.

— Это, было, конечно, первое, о чем я подумал, — ответил Марлоу, — и было это столь удивительно, что я с трудом поверил в открытие Йенсена. Но потом мне в голову пришло много объяснений. Если бы в небе произошла вспышка Новой или Сверхновой, она немедленно была бы замечена тысячами простых людей, не только астрономами. Но ведь это не свет, а нечто темное, а темное пятно не так-то просто заметить: оно очень хорошо маскируется на небе. Конечно, если бы облако закрыло яркую, ранее хорошо видную звезду, такое не прошло бы незамеченным. Хотя исчезновение яркой звезды не так легко засечь, как появление новой яркой, все же тысячи астрономов, профессионалов и любителей заметили бы это. Случилось так, однако, что все звезды вокруг облака имеют яркость не выше восьмой величины. Это первое объяснение. Далее, вам должно быть известно, что для того, чтобы иметь хорошие условия видимости, мы вынуждены работать с объектами, расположенными близко к зениту, а наше облако лежит очень низко над горизонтом. И мы, естественно, избегаем наблюдений над этой частью неба, если она не содержит чего-нибудь особенно интересного. Действительно, до того, как мы узнали об облаке, так оно и было. Это вторая причина. Правда, для обсерваторий южного полушария облако высоко над горизонтом, но этим обсерваториям было бы трудно обнаружить его вследствие малочисленности персонала, загруженного к тому же решением таких важных проблем, как Магеллановы Облака и ядро Галактики. Раньше или позже облако должны были заметить. Это случилось позже, но могло случиться и раньше. Вот все, что я могу сказать.

— Не стоит из-за этого волноваться, — сказал директор. — Наша следующая задача — измерить скорость, с которой облако приближается. Мы с Марлоу долго обсуждали этот вопрос и думаем, что это возможно. Как показывают снимки, полученные Марлоу этой ночью, звезды, находящиеся на каемке облака, уже частично затемнены. На их спектре можно найти линии поглощения облака, и их доплеровское смещение даст нам скорость.

— Тогда можно будет вычислить, когда облако достигнет нас, — подхватил Барнет. — Должен сказать, мне не очень все это нравится. То, как увеличился угловой диаметр облака за последние двадцать лет, показывает, что оно будет здесь лет через пятьдесят или шестьдесят. Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы замерить доплеровское смещение?

— Около недели. Это не очень сложная работа.

— Извините, но я не совсем понимаю, зачем это, — сказал вдруг Вейхарт. — Для чего вам понадобилась скорость облака? Вы можете прямо вычислить время, за которое облако достигнет нас. Позвольте, я сделаю это. По моему подсчету, потребуется не пятьдесят лет, а гораздо меньше.

Вейхарт опять поднялся с места, вышел к доске и стер свои предыдущие рисунки.

— Покажите, пожалуйста, еще раз снимки Йенсена.

Когда Эмерсон показал их по очереди, Вейхарт спросил:

— Можете вы определить, насколько облако больше на втором диапозитиве?

— Мне кажется, процентов на пять. Может быть, несколько больше или меньше, но около того, — ответил Марлоу.

— Правильно, — сказал Вейхарт. — Введем сначала некоторые обозначения.

Далее последовали относительно длинные вычисления, в конце которых Вейхарт провозгласил:

— Итак, мы видим, что черное облако будет здесь к августу 1965 года, или, возможно, раньше, если некоторые из принятых в расчете предположений не совсем точны.

Он отошел от доски, исписанной его математическими выкладками.

— Похоже, что это правильно. В самом деле, все весьма несложно, — сказал Марлоу, выпуская огромные клубы дыма *.

* Вот более подробно замечания Вейхарта и то, что он делал на доске.

Обозначим через α теперешний угловой диаметр облака, выраженный в радианах,

d — линейный диаметр облака,

D — расстояние от него до нас,

V — скорость, с которой оно к нам приближается,

T — промежуток времени, через который оно достигнет солнечной системы.

— Да, это безусловно верно, — ответил Вейхарт.

Когда Вейхарт закончил свое необычайное сообщение, директор счел необходимым предупредить всех, что обсуждение было секретным. Верны эти вычисления или нет, не следует говорить о них вне обсерватории даже дома. Малейшая искра может превратиться в бушующее пламя, если эта история попадет в газеты. У директора никогда не было причин придерживаться высокого мнения о репортерах, в особенности об их точности при изложении научных фактов.

От полудня до двух часов он сидел один в своем кабинете, переживая самую острую в своей жизни внутреннюю борьбу. Только проверив и тщательно продумав результаты исследований, он считал возможным их оглашать. Однако вправе он молчать еще полмесяца, а то и больше? Пройдет по крайней мере две или три недели, прежде чем какая-либо сторона вопроса будет полностью исследована. Могут ли они себе это позволить? В десятый раз он проверял выкладки Вейхарта. Он не видел в них никаких ошибок. В конце концов он вызвал секретаря.

— Пожалуйста, закажите для меня через Калифорнийский технологический место в ночном самолете на Вашингтон. В том, который вылетает около девяти. И потом соедините меня с доктором Фергюсоном.

В начальный момент, очевидно, имеем $\alpha = \frac{d}{D}$. Продифференцировав это уравнение по времени t , получим $\frac{d\alpha}{dt} = -\frac{d}{D^2} \frac{dD}{dt}$.

Но $V = -\frac{dD}{dt}$, так что мы можем написать $\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d}{D^2} V$.

Мы также имеем $\frac{D}{V} = T$. Следовательно, мы можем исключить V , после чего приходим к $\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d}{DT}$. Получается даже проще, чем я думал. Ответ следующий: $T = \alpha \frac{dt}{d\alpha}$.

Последнее, что надо сделать — это представить $\frac{dt}{d\alpha}$ в виде отношения конечных интервалов $\frac{\Delta t}{\Delta \alpha}$, где $\Delta t = 1$ месяц, что соответствует интервалу времени между двумя снимками доктора Йенсена; и так как доктор Марлоу установил, что $\Delta \alpha$ порядка 5%, то есть $\frac{\alpha}{\Delta \alpha} = 20$, то мы получаем $T = 20\Delta t = 20$ месяцев.

Джеймс Фергюсон был важной шишкой в Национальном научном фонде: он ведал вопросами физики, астрономии и математики. Его немало удивил вчерашний телефонный разговор с Герриком. Было совсем непохоже на Геррика извещать о своем приезде всего лишь за день.

— Не понимаю, какая муха укусила Геррика, — сказал он жене на следующее утро за завтраком. — Помчаться в Вашингтон ни с того ни с сего. Он очень настаивал на этом. Слышно было, что он очень взволнован, и я сказал, что приеду за ним в аэропорт.

— Не надо принимать это так близко к сердцу, — ответила жена. — Скоро все узнаешь.

По дороге из аэропорта в столицу Геррик отделивался ничего не значащими фразами. Лишь когда они вошли в кабинет Фергюсона, он заговорил о деле.

На вопрос Геррика:

— Надеюсь, нас здесь никто не подслушает?

Фергюсон ответил:

— А что, это так серьезно? Подождите минутку! — он взял телефонную трубку. — Эми, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы меня не отрывали... Нет-нет, никаких телефонных разговоров... Ну, может, час, а может два, не знаю.

Спокойно и последовательно Геррик объяснил, что происходит. Пока Фергюсон разглядывал фотографии, Геррик говорил:

— Вы видите предварительные данные. Если мы огласим их и потом окажется, что это ошибка, мы будем выглядеть последними дураками. Если же мы потратим месяц на проверку и окажется, что мы правы, нам влетит за трусость и медлительность.

— Конечно, влетит, как старой опытной курице, высиживающей тухлое яйцо.

— Джеймс, мне всегда казалось, что у вас огромный опыт общения с людьми. Вы для меня человек, к которому можно обратиться за советом. Что я должен делать?

Некоторое время Фергюсон молчал. Затем он сказал:

— Я думаю, это может оказаться делом серьезным. А принимать серьезные решения экспромтом я люблю ничуть не больше вашего, Дик. Вот что я предлагаю сейчас. Возвращайтесь в гостиницу и спите весь день — этой ночью вы, наверное, не особенно выспались. Мы можем встретиться с вами снова за обедом, к тому времени я все обдумаю. Попытаюсь прийти к какому-нибудь решению.

Фергюсон оказался верен своему слову. Когда он и Геррик приступили к обеду в одном тихом ресторане, Фергюсон начал:

— По-моему, я во всем разобрался. Мне кажется, не следует тратить еще целый месяц на проверку ваших данных. Картина и так достаточно ясная, а полной уверенности все равно никогда не будет. Разве что вместо девяноста девяти процентов уверенности — девяносто девять целых и девяносто девять сотых. Ради этого не стоит терять времени. С другой стороны, вы недостаточно подготовились, чтобы идти в Белый дом прямо сейчас. По вашим собственным словам, вы и ваши сотрудники пока что потратили на эту работу меньше дня. Наверняка есть еще многое, что вам надо обдумать. Именно: сколько времени пройдет, пока облако приблизится к нам? Что произойдет при этом? Вот вопросы, которые встают перед нами.

Мой совет — возвращайтесь немедленно в Пасадену, запрягайте всех в работу, напишите за неделю доклад, изложите в нем ситуацию, какой она вам представляется. Пусть все ваши сотрудники под ним подпишутся, чтобы не возникло разговоров о спятившем директоре. А потом возвращайтесь в Вашингтон. Тем временем я постараюсь подготовить почву здесь. В подобных случаях мало толку начинать снизу, шептать на ушко какому-нибудь члену конгресса. Единственное разумное — это идти прямо к президенту. Я постараюсь пробить вам к нему дорогу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СОБРАНИЕ В ЛОНДОНЕ

За четыре дня до этого в Лондоне, в помещении Королевского астрономического общества, состоялось весьма примечательное собрание Британской астрономической ассоциации, объединяющей в основном астрономов-любителей.

Крис Кингсли, профессор астрономии Кембриджского университета, приехал поездом в Лондон специально на это собрание. Присутствие этого чистейшего теоретика на

сборище астрономов-любителей было случаем из ряда вон выходящим. Однако он прослышал, что обнаружены необъяснимые отклонения от расчетных значений в положении Юпитера и Сатурна. Кингсли не верил этому, но, считая, что всякие сомнения должны быть обоснованными, решил все же послушать, о чем будет речь.

По прибытии в Берлингтон-хаус он с удивлением обнаружил там многих своих коллег и среди них Королевского астронома. «Никогда ничего подобного не видел. Похоже, распространением слухов занялся какой-то личной рекламный агент», — подумал Кингсли.

Через полчаса он вошел в зал заседаний и увидел свободное место в первом ряду возле Королевского астронома. Как только он сел, доктор Олдройд, председатель, открыл собрание такими словами:

— Леди и джентльмены, мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить некоторые новые и необычные данные. Но прежде чем предоставить слово первому докладчику, я хотел бы сказать, как приятно нам видеть здесь так много выдающихся ученых. Я уверен, что время, которое они проведут с нами, не будет для них потерянным, и я надеюсь, что важная роль любителей в астрономии будет продемонстрирована еще раз.

Тут Кингсли усмехнулся про себя, а некоторые из его коллег заерзали на стульях. Доктор Олдройд продолжал:

— Я имею удовольствие предоставить слово мистеру Джорджу Грину.

Мистер Джордж Грин вскочил со своего места в середине зала и поспешил к трибуне, сжимая в правой руке большую кипу бумаг.

Первые десять минут Кингсли смотрел с вежливым вниманием, как мистер Грин показывает диапозитивы, на которых было изображено оборудование его частной обсерватории. Но когда десять минут перешли в четверть часа, он начал ерзать на стуле; следующие полчаса он тоже промучился: вытягивал ноги, убирал их под стул, клал ногу на ногу, поминутно оборачиваясь, чтобы взглянуть на стенные часы. Все было напрасно — мистер Джордж Грин неся, закусив удила. Королевский астроном с довольной улыбкой посматривал на Кингсли. Другие астрономы не спускали с него глаз, предвкушая удовольствие. С минуты на минуту они ожидали взрыва.

Однако взрыва не последовало, ибо мистер Грин, казалось, внезапно вспомнил о цели своего выступления. Закончив с описанием своего возлюбленного детища, он быстро выпалил полученные результаты, точно пес, который спешит отряхнуться после купания. Он наблюдал Юпитер и Сатурн, тщательно измерял их положение и обнаружил расхождения с Морским альманахом. Затем он подбежал к доске, выписал величины расхождений и сел.

Расхождение в долготе Расхождение в склонении

Юпитер	+ 1 мин. 29 сек.	— 49 сек.
Сатурн	+ 42 сек.	— 17 сек.

Кингсли был так взбешен, что даже не слышал громких аплодисментов, которыми наградили мистера Грина. Идя на собрание, Кингсли был уверен, что речь будет о расхождениях, во всяком случае не превышающих десятых долей секунды. Такие расхождения он мог отнести за счет неточности или некомпетентности наблюдателя. Могла вкратце также и ошибка статистического характера. Но числа, написанные на доске мистером Грином, были нелепы, фантастичны; они были так велики, что даже слепой мог бы увидеть их. Мистер Грин должен был сделать совершенно нелепую ошибку, чтобы получить такие числа.

Не следует думать, что Кингсли был интеллектуальный сноб и относился к любителям с предубеждением. Менее двух лет назад он слушал в этом же зале доклад совершенно неизвестного автора. Кингсли сразу же почувствовал высокий уровень и грамотность работы и первым публично похвалил ее. Но он не выносил неграмотности, когда ее обнаруживали не в частном разговоре, а выставляли на показ. Она раздражала его не только в науке, но и в живописи и в музыке. Поэтому теперь он кипел от ярости. Столько негодующих мыслей теснилось у него в голове, что он никак не мог выбрать из них главную: так жаль было отказываться от всех остальных. Но прежде чем он успел излить свой гнев, доктор Олдройд преподнес следующий сюрприз:

— Я имею честь предоставить слово следующему оратору — Королевскому астроному, — сказал он.

Королевский астроном собирался говорить кратко и по существу. Но теперь он не мог противиться искушению растянуть речь, просто чтобы насладиться бешенством

Кингсли. Ничто не могло вывести последнего из себя больше, чем второе выступление в дуже мистера Джорджа Грина, и Королевский астроном начал именно так. Он показывал диапозитивы, на которых было сфотографировано оборудование Королевской обсерватории, наблюдатели, работающие с этим оборудованием, отдельные его детали; затем он приступил к подробному объяснению работы телескопов в терминах, вполне пригодных для беседы с умственно отсталыми детьми. Все это говорилось спокойным уверенным тоном в отличие от нерешительной манеры мистера Грина. Минут через тридцать он почувствовал, что все это может пагубно отразиться на состоянии Кингсли, и решил прекратить болтовню.

— Наши результаты в общих чертах подтверждают то, что мистер Грин уже доложил вам. В положении Юпитера и Сатурна наблюдаются отклонения, величины которых приводил мистер Грин. Между его результатами и нашими имеются небольшие расхождения, но в основном они одинаковы. В Королевской обсерватории наблюдались также отклонения в положении Урана и Нептуна, правда, не такие значительные, как для Юпитера и Сатурна, но все же весьма заметные.

Кроме того, ко мне пришло письмо из Гейдельберга от Гротвальда, в котором он сообщает, что в Гейдельбергской обсерватории получены результаты, хорошо согласующиеся с данными Королевской обсерватории.

Королевский астроном вернулся на свое место. Доктор Олдройд тут же обратился к собравшимся:

— Джентльмены, теперь вы слышали то, что я осмелюсь назвать результатами самой первостепенной важности. Сегодняшнее собрание может стать поворотным пунктом в истории астрономии. Я не хочу более занимать ваше время, так как полагаю, вам самим есть что сказать. В особенности многое, я думаю, могут сообщить нам теоретики. Разрешите начать дискуссию и попросить профессора Кингсли поделиться с нами своими соображениями.

— Сейчас мы получим хорошую порцию злословия, — прошептал один из астрономов другому.

— Господин председатель, — начал Кингсли. — Пока выступали предыдущие ораторы, я имел возможность сделать довольно длинный расчет.

Астрономы-профессионалы обменялись улыбками, Королевский астроном усмехнулся.

— Собравшимся, возможно, будет небезынтересно узнать результат этого расчета. Я пришел к выводу, что если данные, которые были доложены нам сегодня, правильны, если, повторяю, эти данные правильны, то это говорит о наличии в окрестностях солнечной системы какого-то никогда ранее не наблюдавшегося тела. Причем масса этого неизвестного тела примерно равна или даже больше массы Юпитера. Совершенно невероятно, чтобы результаты, которые были здесь доложены сегодня, являлись следствием простой ошибки наблюдения, повторяю, простой ошибки наблюдения, но так же невероятно, чтобы тело, обладающее столь большой массой и находящееся в пределах солнечной системы или вблизи от нее, оставалось так долго незамеченным.

Кингсли сел. Специалисты уловили ход его рассуждений и поняли, что он изложил свою точку зрения до конца.

В вагоне поезда, отходившего в 8.56 вечера от станции Ливерпуль-стрит в Кембридж, Кингсли так свирепо взглянул на железнодорожного служащего, который попросил у него билет, что тот поспешно отступил в сторону. Раздражение Кингсли отнюдь не улеглось после того, как его накормили скверным обедом в претенциозном, но грязном ресторане с высокомерными официантами. На должном уровне там были только цены. Кингсли шел по вагонам, отыскивая свободное купе, где он мог бы, наконец, остаться в одиночестве. Когда он быстро проходил через вагон первого класса, один из мелькнувших перед его глазами затылков показался Кингсли знакомым. Проскользнув в купе, он плюхнулся на диван рядом с Королевским астрономом.

— Первый класс, приятно и комфортабельно. Что может сравниться с государственной службой!

— Нет, что вы, Кингсли. Я еду в Кембридж на банкет в Тринити-колледж.

Кингсли соорудил гримасу. Он еще ощущал во рту вкус отвратительного обеда.

— Меня всегда поражает, откуда эти нищие в Тринити берут столько еды,— сказал он.— Банкеты по понедельникам, средам и пятницам и четырехразовое питание в остальные дни!

— Это не так уж плохо. Вы сегодня не в духе, Кингсли. Что случилось?

Можно добавить, что при этом Королевский астроном внутренне ликовал.

— Не в духе! Хотел бы я посмотреть, кто на моем месте был бы в духе. Послушайте, сэр, что это за водевиль разыграли сегодня?

— Все, что было сказано сегодня,— просто-напросто трезвые факты.

— Трезвые факты! Было бы значительно трезвее, если бы вы вскочили на стол и сплясали джигу. Отклонение положений планет на полтора градуса! Чепуха!

Королевский астроном снял с багажной сетки портфель и вынул из него большую папку с бумагами, где было собрано огромное количество наблюдений.

— Вот факты,— сказал он.— На первых, примерно, пятидесяти страницах приведены необработанные данные наблюдений всех планет за каждый день в течение последних нескольких месяцев. Во второй части содержатся те же данные, пересчитанные к гелиоцентрическим координатам.

Кингсли почти на целый час погрузился в изучение бумаг. Наконец, он сказал:

— Вы понимаете, сэр, что у вас нет ни малейшего шанса протащить такое жульничество? Здесь столько материала, что я легко могу проверить его подлинность. Не дадите ли вы мне эти таблицы на денек-другой?

— Кингсли, если вы думаете, что я устраивал все это представление или, как вы выражаетесь, жульничество только для того, чтобы обмануть или подразнить вас, то уверяю вас, вы себе льстите.

— Ладно,— сказал Кингсли,— в таком случае я могу предложить две гипотезы. Обе на первый взгляд кажутся невероятными, но одна из них должна быть правильной. Согласно первой гипотезе, неизвестное тело с массой порядка массы Юпитера вторглось в солнечную систему. Согласно второй — Королевский астроном спятил. Я не хочу вас обидеть, но, откровенно говоря, вторая гипотеза кажется мне более вероятной.

— Что меня в вас восхищает, Кингсли, это привычка резать правду в глаза.— Королевский астроном задумался ненадолго.— Вам следовало бы заняться политикой.

Кингсли ухмыльнулся:

— Так вы дадите мне эти таблицы дня на два?

— Что вы собираетесь делать?

— Во-первых, я проверю согласованность данных, во-вторых, определю местонахождение неизвестного тела.

— Как вы это сделаете?

— Сначала, исходя из данных об отклонении одной из планет, скажем, Сатурна, я определю расположение вторгшегося в солнечную систему тела или массы вещества, если это не отдельное тело. Это будет сделано примерно так же, как Адамс и Леверье определили положение Нептуна. Затем, зная характеристики вторгшегося тела, я смогу вычислить вызываемые им возмущения в движении Юпитера, Урана, Нептуна, Марса и так далее. И тогда я сравню полученные результаты с вашими наблюдениями этих планет. Если у меня получится то же, что у вас — значит это не жульничество. Если же результаты не сойдутся, то...

— Все это прекрасно, — сказал Королевский астроном. — Но как вы собираетесь сделать столько расчетов за несколько дней?

— О, с помощью электронной машины. К счастью, у меня уже есть соответствующая программа для кембриджской машины, за завтрашний день я немного ее изменю и напишу несколько дополнительных подпрограмм для этой задачи. Завтра вечером можно будет начать расчеты. Послушайте, сэр, почему бы вам не прийти в лабораторию после вашего банкета? Если мы поработаем всю ночь, мы быстро управимся.

На следующий день в Кембридже было холодно, город затянуло мелкой сеткой дождя. С утра до середины дня Кингсли упорно работал, сидя перед камином в своем кабинете в колледже. Он выписывал на бумаге каракулями различные символы, составляя программу, в соответствии с которой машина должна выполнять всевозможные арифметические и логические операции. Вот краткий пример такой записи:

0	23
1	11
2	2
3	13

Около половины четвертого он вышел из колледжа, закутавшись по уши в шарф, пряча под зонтом объемистую пачку бумаг. Кратчайшим путем он прошел на Корн-Экс-

чейндж-стрит к зданию, где помещалась счетная машина, машина, способная сделать за одну ночь расчет, на который человеку потребовалось бы пять лет. В этом здании некогда размещался анатомический театр, и говорили, что в нем водятся привидения, но Кингсли думал совсем о другом, сворачивая с узкой улицы в боковую дверь дома.

Сначала он пошел не в то помещение, где находилась машина, которая все равно была еще занята решением другой задачи. Кингсли должен был прежде всего превратить написанные им буквы и цифры в знаки, которые могли быть введены в машину. Это он сделал с помощью перфоратора — устройства, напоминающего пишущую машинку; при нажатии клавиш, соответствующих различным буквам и цифрам, на бумажной ленте, протягивающейся через это устройство, пробиваются в определенном порядке отверстия. Каждое из многих тысяч отверстий должно быть пробито точно на своем месте, иначе расчет будет неправильный. Работать на перфораторе приходится весьма тщательно, так как должна быть достигнута буквально стопроцентная точность.

Было уже около шести, когда, дважды проверив свои перфолисты, Кингсли убедился, что все сделано как следует, проверено и перепроверено. Тогда он направился к машине на верхний этаж здания. В холодный и сырой январский день было особенно приятно попасть в комнату, где было сухо и тепло от тысяч электронных ламп. В помещении стоял приглушенный шум электромоторов и раздавался стук печатающего устройства.

...Королевский астроном приятно провел день в гостях у старых друзей и вечер на банкете. Теперь, около полуночи, он размышлял о том, что ему гораздо больше хотелось бы провести ночь в постели, чем в математической лаборатории. Тем не менее, видимо, пора было пойти посмотреть, как там этот сумасшедший. Один из друзей подвез его к лаборатории на автомобиле, и вот теперь он стоял под дождем и ждал, когда ему откроют. Наконец Кингсли появился.

— Привет, вы как раз вовремя, — сказал он.

Они поднялись по лестнице к счетной машине.

— Ну как, есть какие-нибудь результаты?

— Пока нет, но, кажется, я все подготовил, и можно приступить к работе. В программах, которые я написал сегодня утром, были ошибки, и мне пришлось потратить

несколько часов, вылавливая их. Теперь, надеюсь, все верно. Так, во всяком случае, мне кажется. Если с машиной ничего не случится, через час или два мы должны получить правильные результаты. Ну, как. Банкет?

Около двух часов ночи Кингсли сказал:

— Теперь уже скоро. Через несколько минут мы получим первые результаты.

Не прошло и пяти минут, как раздался шум скоростного перфоратора, и из него выползла длинная бумажная лента. Пробитые в ней отверстия содержали решение задачи, которую без помощи машины один человек решал бы целый год.

— Посмотрим, что получилось,— сказал Кингсли и вставил ленту в печатающее устройство. Вместе с Королевским астрономом они смотрели, как машина печатает один за другим ряды цифр.

— Боюсь, я выбрал довольно неудачный порядок выдачи результатов. Вероятно, их следовало привести к более удобному для понимания виду. Первые три ряда дают значения серии параметров, которые я ввел в расчеты, исходя из данных ваших наблюдений.

— А как насчет положения вторгшегося тела? — спросил Королевский астроном.

— Его положение и масса даны в следующих четырех рядах. Но они записаны в довольно неудобной форме — как я уже говорил, порядок выдачи результатов неудачен. Я собираюсь использовать эти результаты для того, чтобы рассчитать, какое влияние должно оказывать вторгшееся тело на Юпитер. Для этой цели такая запись как раз вполне пригодна.— Кингсли указал на бумажную ленту.— Чтобы привести эти данные к действительно удобному виду, мне еще придется сделать самому кое-какие расчеты. Но прежде всего давайте рассчитаем положение Юпитера. Кингсли нажал несколько кнопок, затем вставил катушку с бумажной лентой в читающее устройство машин.

Как только он нажал другую кнопку, катушка начала вертеться, разматывая ленту.

— Посмотрите, что происходит,— сказал Кингсли,— когда лента сматывается с катушки, через пробитые в ленте отверстия проходят пучки света, которые затем попадают на расположенные в этом ящике фотоэлементы. В результате в машину поступают серии электрических импульсов. Лента, которую я сейчас поставил, содержит

инструкцию для машины о том, как рассчитывать отклонения в положении Юпитера. Но это еще не все. Машина должна также знать положение вторгшегося тела, его массу, скорость его движения. Пока мы не введем эти данные, машина не начнет расчета.

Кингсли был прав. Машина остановилась, как только размоталась вся длинная бумажная лента. Одновременно на пульте зажглась маленькая красная лампочка. Кингсли показал на нее:

— Машина остановилась, потому что введенная в нее информация недостаточна. Где тот кусок ленты, на котором отперфорированы результаты предыдущего расчета? А, вот он, на столе около вас.

Королевский астроном передал ему длинную полоску бумаги.

— Здесь содержится недостающая информация. Когда мы введем ее, машина будет знать все о вторгшемся теле.

Кингсли нажал кнопку. После того как этот кусок ленты прошел через читающее устройство точно так же, как предыдущий, по электронно-лучевым трубкам начали пробегать огоньки.

— Ну вот, она заработала. Теперь в течение часа машина будет умножать за каждую минуту сотни тысяч десятизначных чисел. Давайте пока выпьем кофе. Я ничего не ел с четырех часов дня и очень проголодался.

Так они работали всю ночь. Уже занимался холодный рассвет январского дня, когда Кингсли сказал:

— Ну, все в порядке. Все результаты получены, но их надо еще обработать, прежде чем мы сможем сравнить их с вашими наблюдениями. Это сделает сегодня лаборантка. Давайте пообедаем вместе сегодня вечером, и потом обсудим все как следует. А сейчас идите скорее спать. Я подожду, пока народ придет на работу.

Вечером после обеда Королевский астроном и Кингсли встретились и пошли к Кингсли в его квартиру в колледже Эразма. Обед был очень хорош, и теперь они оба уютно устроились у пылающего камина.

— Болтают всякую ерунду об этих закрытых печках, — сказал Королевский астроном, кивая на огонь. — Предполагается, что все это высоконечно, однако на самом деле ничего нет в них научного. Самое приятное тепло —

излучение открытого огня. Закрытая печка дает лишь много горячего воздуха, а он крайне неприятен для дыхания. Душит, но не согревает.

— Совершенно верно,— согласился Кингсли.— Никогда не пользуюсь такими приборами. Может, выпьем по рюмочке, прежде чем заняться делами? Мадеры, кларета, бургундского?

— Чудесно. Мне, пожалуй, бургундского.

— Прекрасно, у меня есть очень недурной поммар пятьдесят седьмого года.

Кингсли наполнил два больших бокала, вернулся на свое место и продолжал:

— Так вот. Я получил рассчитанные нами ночью величины отклонений Марса, Юпитера, Урана и Нептуна. Согласие с вашими наблюдениями фантастически точное. На каждом из этих четырех листков я выписал основные данные по каждой из четырех планет. Вот, посмотрите сами.

Королевский астроном несколько минут рассматривал листки.

— Да, здорово, Кингсли. Эта ваша машина — совершенно потрясающий инструмент. Ну, теперь вы удовлетворены? Все соответствует гипотезе о вторгшемся в солнечную систему постороннем теле. Кстати, вы получили подробные данные о его массе, положении и скорости? Здесь они не приведены.

— Да, эти данные тоже есть,— ответил Кингсли и взял еще один лист бумаги из толстой папки.— Они-то и беспокоят меня. Получается, что масса тела равна примерно двум третям массы Юпитера.

Королевский астроном улыбнулся:

— Помнится, на собрании вы говорили, что она по крайней мере равна массе Юпитера.

Кингсли проворчал:

— Если вспомнить, как меня отвлекали, то это неплохая оценка. Но посмотрите на расстояние тела от Солнца: 21,3 астрономической единицы, всего в 21,3 раза больше расстояния от Земли до Солнца. Это же невозможно!

— Почему вы так думаете?

— На таком расстоянии его можно было бы легко увидеть невооруженным глазом. Тысячи людей видели бы его.

Королевский астроном покачал головой.

— Ни из чего не следует, что это обязательно планета,

вроде Юпитера или Сатурна. Может быть, у этого тела гораздо бóльшая плотность и меньшая отражательная способность. Это должно сильно затруднить визуальное наблюдение.

— Все равно, его должны были бы обнаружить с помощью телескопа. Видите, оно находится на ночной стороне неба где-то к югу от Ориона. Вот его координаты: прямое восхождение 5 часов 46 минут, склонение минус 30 градусов 12 минут. Я не очень-то хорошо знаю небо, но это где-то южнее Ориона, не правда ли?

Королевский астроном опять усмехнулся:

— Когда вы последний раз смотрели в телескоп, Кингсли?

— Да, наверное, лет пятнадцать назад.

— По какому случаю?

— Показывал обсерваторию группе посетителей.

— Так вот, не кажется ли вам, что хватит нам спорить — лучше пойти в обсерваторию и посмотреть самим, можно ли что-нибудь разглядеть. Может случиться, что это вторгшееся тело, как мы с вами его называем, вовсе не твердое.

— Вы хотите сказать, что это облако газа? Да, это уже лучше. Такое облако было бы не столь легко увидеть, как конденсированное тело. Но облако должно быть довольно компактным, с диаметром не намного больше диаметра земной орбиты. Выходит, оно должно иметь плотность около 10^{-10} г/см³. Может, это очень маленькая звезда в процессе образования?

Королевский астроном кивнул.

— Мы знаем, что очень большие газовые облака, вроде туманности Ориона, имеют плотность около 10^{-21} г/см³. С другой стороны, внутри таких газовых туманностей постоянно образуются звезды типа Солнца с плотностью порядка 1 г/см³. Это, очевидно, значит, что должны быть сгустки газа со всевозможными плотностями от, скажем, 10^{-21} г/см³ до плотности звездного вещества. Ваши 10^{-10} г/см³ попали как раз в середину этого интервала, что кажется мне весьма правдоподобным.

— Да, похоже на правду. Я считаю, что облака с такой плотностью должны существовать. Но вы совершенно правы, нам надо съездить в обсерваторию. Пойду позвоню Адамсу и схвачу такси, а вы пока кончайте свое вино.

Однако когда они приехали в университетскую обсерваторию, небо было покрыто облаками, и хотя они про-

ждали несколько часов, сырая холодная ночь так и не прояснилась, и звезды были скрыты за облаками. То же повторилось и в следующие две ночи. Так Кембридж потерял честь первооткрытия черного облака, как он потерял честь открытия планеты Нептун более ста лет назад.

17 января, на следующий день после того, как Геррик побывал в Вашингтоне, Кингсли и Королевский астроном снова пообедали вместе и отправились к Кингсли домой. Снова они сидели перед огнем, попивая поммар пятьдесят седьмого года.

— Слава богу, не придется опять сидеть там всю ночь. Я думаю, на Адамса можно положиться, он позвонит нам, если небо очистится.

— Пожалуй, мне надо ехать завтра к себе в обсерваторию,— сказал Королевский астроном.— В конце концов там тоже есть телескопы.

— Я вижу, эта проклятая погода опротивела вам так же, как и мне. Послушайте, сэр, надо браться за дело. Я составил телеграмму Марлоу в Пасадену. Вот она. Там им не помешает облачность.

Королевский астроном посмотрел на листок бумаги в руке Кингсли.

«Пожалуйста, сообщите, есть ли необычный объект в точке прямое восхождение пять часов сорок шесть минут, склонение минус тридцать градусов двенадцать минут. Масса объекта две трети массы Юпитера, скорость семьдесят километров в секунду прямо по направлению к Земле. Расстояние от Солнца 21,3 астрономической единицы».

— Как вы думаете, отправить? — спросил Кингсли озабоченно.

— Отправляйте. Я хочу спать,— благодушно ответил Королевский астроном, подавляя зевок.

На следующий день в девять утра у Кингсли была лекция, поэтому к восьми он уже умылся, оделся и побрился. Его слуга накрыл стол к завтраку.

— Вам телеграмма, сэр,— сказал он.

Не может быть, подумал Кингсли, чтобы так быстро пришел ответ от Марлоу.

Распечатав телеграмму, он изумился еще больше.

НАСТОЯТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ВАМ И КОРОЛЕВСКОМУ АСТРОНОМУ НЕМЕДЛЕННО, ПОВТОРЯЮ,

НЕМЕДЛЕННО ПРИБЫТЬ В ПАСАДЕНУ. САМОЛЕТ В НЬЮ-ЙОРК ВЫЛЕТАЕТ В 15.00. БИЛЕТЫ ЗАКАЗАНЫ. ВИЗЫ ПРИГОТОВЛЕНЫ В АМЕРИКАНСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ. В АЭРОПОРТУ ЛОС-АНЖЕЛОСА ЖДЕТ АВТОМАШИНА. ГЕРРИК.

Самолет медленно набирал высоту, держа курс на запад. Кингсли и Королевский астроном расположились в своих креслах, и Кингсли смог, наконец, спокойно вздохнуть впервые с того момента, как он утром прочел телеграмму. Сначала ему пришлось перенести лекцию, затем обсудить тысячу вопросов с секретарем факультета. Нелегко было все устроить, уж очень внезапно пришлось уезжать, но в конце концов все уладилось. Было уже, однако, одиннадцать часов. Оставалось всего три часа, а нужно было еще долететь до Лондона, оформить визу, получить билеты и успеть на автобус до аэропорта. Спешка была невероятная. Королевский астроном находился в лучшем положении: он так часто ездил за границу, что его паспорта и визы всегда были на всякий случай оформлены.

Теперь они оба достали взятые в дорогу книжки. Кингсли взглянул на книгу Королевского астронома и увидел яркую обложку с изображением группы головорезов, паливших друг в друга из револьверов. Бог знает, до какого чтива можно так дойти, подумал Кингсли.

Королевский астроном посмотрел на книгу Кингсли и увидел «Истории» Геродота. Господи, этак он скоро до Фукидида дойдет, подумал Королевский астроном.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В КАЛИФОРНИИ

Теперь нужно рассказать, как встретили телеграмму Кингсли в Пасадене. Вернувшись из Вашингтона, Геррик собрал всех в своем кабинете. Присутствовали Марлоу, Вейхарт и Барнет. Геррик объяснил, что необходимо срочно выработать определенную точку зрения на возможные последствия сближения с черным облаком.

— Положение таково: наши данные показывают, что облако достигнет Земли примерно через восемнадцать месяцев; во всяком случае, такая оценка кажется вероятной. Но что мы можем сказать о самом облаке? Сильно ли оно будет поглощать солнечное излучение, если окажется между нами и Солнцем?

— Пока у нас слишком мало данных, чтобы ответить на этот вопрос,— проговорил Марлоу, выпуская клубы дыма.— Сейчас мы не знаем, является ли облако чем-то очень маленьким и близким, или, наоборот, чем-то огромным, но весьма удаленным. Мы не имеем также ни малейшего представления о плотности вещества внутри облака.

— Если бы мы получили скорость облака, мы узнали бы его размеры и расстояние от Земли,— заметил Вейхарт.

— Да, я думал об этом,— продолжал Марлоу.— Такую информацию можно получить у ребят с австралийского радиотелескопа. Весьма вероятно, что облако состоит в основном из водорода, и тогда можно получить доплеровское смещение на линии 21 сантиметр.

— Прекрасная мысль,— сказал Барнет.— Надо прямо послать телеграмму Лестеру в Сидней.

— По-моему, это не наше дело, Билл,— вмешался Геррик.— Давайте заниматься тем, что касается нас самих. Мы пишем доклад, а Вашингтон уже сам договорится с австралийцами насчет радиоизмерений.

— Но ведь мы должны указать, что следует подключить группу Лестера к этой проблеме?

— Конечно, мы можем это сделать и, пожалуй, должны. Но я хотел сказать, что не наше дело проявлять инициативу в таких вопросах. Вся эта история может принять политическую окраску. Я думаю, нам лучше держаться подальше от таких вещей.

— Правильно,— вмешался Марлоу.— Не хватало еще впутываться в политику. Но, очевидно, для определения скорости нам нужны радиоастрономы. Что касается определения массы облака — это труднее. Насколько я могу судить, лучший и, вероятно, единственный путь для этого — наблюдение возмущений движения планет.

— Довольно архаическая штука, не правда ли? — спросил Барнет.— Кто же занимается этим? Разве что англичане.

— Да, хм,— проворчал Геррик,— вероятно, не стоит особенно углубляться в эту сторону дела. Правда, самый

подходящий у них человек, по-моему, Королевский астроном. Я укажу на это в докладе, за который мне нужно браться как можно скорее. Ну, по основным пунктам мы как будто согласны. Еще кто-нибудь хочет высказаться?

— Нет, мы обсудили все достаточно основательно, вернее, настолько основательно, насколько могли, — ответил Марлоу. — Мне хотелось бы вернуться к работе; я, по правде говоря, совсем ее забросил за последние дни. А вам, я полагаю, нужно закончить доклад. Рад, что не мне его писать.

Они вышли из кабинета Геррика, оставив его работать над докладом, к чему он немедленно и приступил. Барнет и Вейхарт уехали к себе в институт, а Марлоу отправился в свой кабинет. Но оказалось, что работать он не в состоянии, поэтому он решил прогуляться до библиотеки, где оказалось несколько его коллег. Время до обеда они провели в оживленном обсуждении диаграммы цвет—светимость для звезд галактического ядра.

Когда Марлоу вернулся с обеда, его разыскал секретарь.

— Вам телеграмма, доктор Марлоу.

Слова, напечатанные на листке бумаги, показались ему выросшими до гигантских размеров:

ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ, ЕСТЬ ЛИ НЕОБЫЧНЫЙ
ОБЪЕКТ В ТОЧКЕ ПРЯМОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ПЯТЬ
ЧАСОВ Сорок шесть минут, СКЛОНЕНИЕ МИНУС
ТРИДЦАТЬ ГРАДУСОВ ДВЕНАДЦАТЬ МИНУТ. МАССА
ОБЪЕКТА ДВЕ ТРЕТИ МАССЫ ЮПИТЕРА, СКОРОСТЬ
СЕМЬДЕСЯТ КИЛОМЕТРОВ В СЕКУНДУ ПРЯМО ПО
НАПРАВЛЕНИЮ К ЗЕМЛЕ. РАССТОЯНИЕ ОТ СОЛНЦА
21,3 АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ.

Вскрикнув от изумления, Марлоу кинулся к кабинету Геррика и ворвался в него без стука.

— Вот они, — вскричал он, — все данные, которые нам нужны!

Геррик внимательно читал телеграмму. Затем он довольно криво улыбнулся и сказал:

— Это значительно меняет дело. Похоже, что теперь мы должны консультироваться с Кингсли и Королевским астрономом.

Марлоу еще не оправился от волнения.

— Нетрудно догадаться, как это произошло. Королевский астроном получил наблюдательный материал о движении планет, а Кингсли сделал расчеты. Насколько я знаю этих парней, весьма маловероятно, чтобы они ошиблись.

— Мы легко можем проверить их результат. Если объект находится на расстоянии 21,3 астрономической единицы и приближается к нам со скоростью семьдесят километров в секунду, мы можем быстро подсчитать, через сколько времени он достигнет Земли, и сравнить ответ с теми восемнадцатью месяцами, которые получились у Вейхарта.

— Ваша правда,— сказал Марлоу.

Затем он набросал на листке бумаги следующее:

«Расстояние 21,3 астр. ед.— $3 \cdot 10^{14}$ см приблизительно. Время, нужное для того, чтобы преодолеть это расстояние при скорости 70 км/сек:

$$\frac{3 \cdot 10^{14}}{7 \cdot 10^6} = 4,3 \cdot 10^7 \text{ секунд} = 1,4 \text{ года} = 17 \text{ месяцев при-}$$

близительно».

— Великолепное совпадение! — воскликнул Марлоу.— Более того, положение, которое они указали, почти точно совпадает с нашим. Все сходится.

— Это делает мой доклад гораздо более трудным делом,— сказал Геррик, нахмурившись.— Его, действительно, нельзя писать без Королевского астронома. Я думаю, мы должны вызвать их с Кингсли сюда как можно скорее.

— Совершенно верно,— сказал Марлоу.— Пусть секретарь этим немедленно займется. Я думаю, они смогут здесь быть через тридцать шесть часов, то есть к утру послезавтра. Лучше всего устроить это через ваших друзей в Вашингтоне. Что же касается доклада, то почему бы не написать его в трех частях? Первая часть может содержать наблюдения нашей обсерватории. Вторую часть напишут Кингсли и Королевский астроном. Наконец, третья часть— это будут выводы, которые мы сделаем совместно с англичанами после их приезда.

— Вы говорите дело, Джефф. Я смогу закончить первую часть к приезду наших друзей. Вторую часть мы оставляем им и в заключение тщательно обсуждаем выводы.

— Ну, прекрасно. Вы, наверное, управитесь к завтрашнему дню.

Марлоу поднялся и уже выходил из кабинета, тогда Геррик обратился к нему:

— Все это довольно серьезно, не правда ли?

— Конечно. У меня было что-то вроде предчувствия, когда я увидел в первый раз снимки Кнута Йенсена. Но я не мог себе представить, до чего это скверно, пока мы не получили телеграмму. Получается, что плотность облака порядка 10^{-9} — 10^{-10} г/см³. Значит, солнечный свет сквозь него не проходит.

Кингсли и Королевский астроном прибыли в Лос-Анжелос рано утром 20 января. Марлоу ждал их в аэропорту. Они быстро позавтракали в аптеке, сели в машину и помчались по автострате в Пасадену.

— Боже мой, до чего не похоже на Кембридж, — проворчал Кингсли. — Шестьдесят миль в час вместо пятнадцати, вместо бесконечно моросящего дождя — голубое небо, такая рань, а температура уже под двадцать градусов.

Он очень устал: сначала долгий перелет через Атлантику, затем несколько часов ожидания в Нью-Йорке — слишком мало, чтобы успеть сделать что-либо интересное, но достаточно, чтобы вконец утомить путешественника и, наконец, ночной полет через Соединенные Штаты. Правда, это было много лучше годовичного морского путешествия вокруг мыса Горн, которое пришлось бы совершить сто лет назад в подобном случае. Он хотел лечь и хорошенько выспаться, но так как Королевский астроном намеревался сразу же пойти в обсерваторию, Кингсли решил, что должен присоединиться к нему.

После того, как Королевскому астроному и Кингсли представили сотрудников обсерватории, с которыми они раньше не встречались, и после обмена приветствиями со старыми знакомыми, в помещении библиотеки началось совещание. Кроме гостей из Англии, в нем участвовали те же, кто обсуждал открытие Йенсена на прошлой неделе.

Марлоу сделал краткий отчет об открытии Йенсена, о своих собственных наблюдениях и о том, как Вейхарт пришел к своим поразительным выводам.

— Итак, вы видите, — сказал он в заключение, — почему ваша телеграмма вызвала у нас такой интерес.

— Да, конечно,— ответил Королевский астроном.— Фотографии необычайно интересны. Вы рассчитали, что центр облака находится в точке прямое восхождение 5 часов 49 минут, склонение минус 30 градусов 16 минут. Это прекрасно согласуется с расчетами Кингсли.

— Не расскажете ли вы нам теперь коротко о своих исследованиях? — сказал Геррик.— Видимо, Королевский астроном сможет сообщить нам все, что касается наблюдений, а затем доктор Кингсли мог бы информировать нас о своих расчетах.

Королевский астроном описал отклонения в положениях планет, особенно тех, которые находятся на периферии солнечной системы. Он подчеркнул, что результаты наблюдений тщательно проверялись с целью выявить возможные ошибки. Королевский астроном не преминул также воздать должное мистеру Джорджу Грину.

О небо, опять он за свое, подумал Кингсли.

Остальные, однако, слушали с интересом.

— Итак,— закончил Королевский астроном,— я уступаю место доктору Кингсли, который ознакомит вас в общих чертах со своими расчетами.

— Тут не о чем особенно говорить,— начал Кингсли.— Если допустить правильность данных наблюдений, о которых только что рассказал нам Королевский астроном,— а я должен признаться, что поначалу мне было трудно в них поверить,— становится ясно, что на планеты действует возмущающая гравитационная сила от какого-то тела или массы вещества, вторгшегося в солнечную систему. Проблема заключалась в том, чтобы, исходя из имеющихся данных об отклонениях планет, вычислить положение, массу и скорость вторгшегося вещества.

— При расчетах вы предполагали, что это тело ведет себя, как точечная масса? — спросил Вейхарт.

— Да, мне казалось, что такое предположение наиболее удобно, во всяком случае для начала. Королевский астроном указал, что мы, возможно, имеем дело с протяженным облаком. Однако, должен сознаться, размышляя над этой задачей, я, по привычке, представил себе конденсированное тело сравнительно малых размеров. Только теперь, когда я увидел эти фотографии, я стал воспринимать это явление как облако.

— Как вы думаете, сильно ли повлияло это неправильное

предположение на результаты расчета?—спросили у Кингсли.

— Едва ли оно вообще на них повлияло. Поскольку речь идет о влиянии данного объекта на положения планет, разница между вашим облаком и гораздо более конденсированным телом совершенно ничтожна. Возможно, этим и объясняются незначительные различия между моими результатами и вашими наблюдениями.

— Да, это совершенно ясно,— вмешался Марлоу, окруженный клубами пахнущего анисом дыма.— Какое количество информации понадобилось вам для получения этих результатов? Вы использовали возмущения всех планет?

— Одной планеты оказалось достаточно. Я использовал наблюдения Сатурна для получения данных об облаке. Затем, зная положение, массу и другие характеристики облака, вычислил, каковы должны быть возмущения Юпитера, Марса, Урана и Нептуна.

— И тогда вы могли сравнить ваши результаты с наблюдениями?

— Совершенно верно. Вот, посмотрите, на этих таблицах произведено сравнение. Вы видите, совпадение достаточно близкое. Поэтому у нас появилась уверенность в полученных результатах, и мы решили послать вам телеграмму.

— Теперь мне хотелось бы знать, как ваши оценки согласуются с моими. У меня получилось, что облако должно достигнуть Земли примерно через восемнадцать месяцев. А у вас? — спросил Вейхарт.

— Я уже проверял это, Дэйв,— заметил Марлоу.— Совпадение очень хорошее. Данные доктора Кингсли дают около семнадцати месяцев.

— Вероятно, несколько меньше,— сказал Кингсли.— Семнадцать месяцев получается, если не учитывать ускорения облака по мере его приближения к Солнцу. В данный момент оно движется со скоростью около семидесяти километров в секунду, однако когда оно подойдет к Земле, скорость возрастет до восьмидесяти. В результате облако достигнет Земли примерно через шестнадцать месяцев.

Геррик незаметно стал направлять разговор в нужное ему русло.

— Итак, теперь мы поняли точку зрения друг друга. Какие напрашиваются выводы? По-моему, до сих пор все мы представляли себе ситуацию несколько неверно. Что касается нашей группы, мы представляли себе большое

облако, находящееся далеко за пределами солнечной системы, в то время как, судя по тому, что говорит доктор Кингсли, он думал о конденсированном теле внутри солнечной системы. Истина где-то посередине. Мы имеем дело с небольшим облаком, которое находится уже в пределах солнечной системы. Что можно о нем сказать?

— Не так уж мало,— ответил Марлоу.— Измеренное нами значение углового диаметра облака— два с половиной градуса и полученное доктором Кингсли расстояние около 21 астрономической единицы показывают, что диаметр облака равен примерно расстоянию от Земли до Солнца.

— Да, и зная диаметр облака, мы сразу можем оценить плотность вещества в нем,— продолжал Кингсли.— Получается, что объем облака равен, грубо говоря, 10^{40} см^3 , его масса равна примерно $1,3 \cdot 10^{30} \text{ г}$, что приводит к значению плотности $1,3 \cdot 10^{-10} \text{ г/см}^3$.

Последовало молчание. Его нарушил Эмерсон:

— Исключительно высокая плотность. Если пространство между нами и Солнцем будет заполнено этим газом, он полностью поглотит солнечный свет. В результате на Земле наступит адский холод.

— Нет, не обязательно,— возразил Барнет.— Газ может разогреться и станет пропускать через себя тепло.

— Это зависит от того, сколько потребуется энергии, чтобы нагреть облако,— заметил Вейхарт.

— А также от прозрачности газа и еще от ста одного фактора,— добавил Кингсли.— Должен сказать, мне кажется весьма маловероятным, что газ будет пропускать заметное количество тепла. Давайте вычислим энергию, необходимую, чтобы нагреть облако до обычной температуры. Он подошел к доске и написал:

$$\text{Масса облака } 1,3 \cdot 10^{30} \text{ г.}$$

Состав облака: вероятно, газообразный водород, в основном нейтральный.

Энергия, которая потребуется для того, чтобы поднять температуру газа на T градусов, равна:

$$1,5 \cdot 1,3 \cdot 10^{30} RT \text{ эрг,}$$

где R —газовая постоянная. Обозначим через L полную энергию, испускаемую Солнцем за одну секунду. Тогда время, нужное для нагрева облака, есть:

$$1,5 \cdot 1,3 \cdot 10^{30} RT/L \text{ секунд.}$$

Возьмем $R=8,3 \cdot 10^7$, $T=300^\circ$, $L=4 \cdot 10^{33}$ эрг/сек.

Тогда получим, что время равно $1,2 \cdot 10^7$ секунд, то есть около 5 месяцев.

— Это выглядит вполне правдоподобно, — заметил Вейхарт. — Время нагрева облака во всяком случае не меньше этой величины.

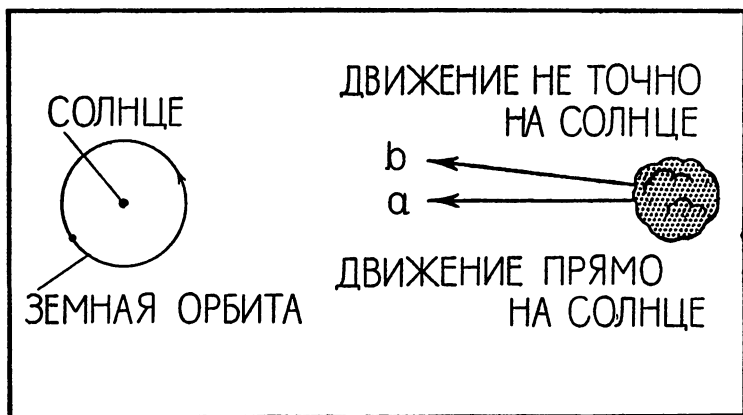
— Верно, — кивнул Кингсли. — И эта минимальная оценка уже гораздо больше, чем время, за которое облако пройдет мимо нас. При скорости восемьдесят километров в секунду оно будет находиться в пределах земной орбиты примерно месяц. Поэтому мне представляется несомненным, что если облако окажется между нами и Солнцем, оно полностью прекратит доступ тепла от Солнца.

— Вы сказали, если облако окажется между нами и Солнцем. Вы думаете, есть вероятность, что оно может пролететь мимо, не вторгаясь в земную орбиту? — спросил Геррик.

— Да, такая возможность несомненно существует. Вот, посмотрите.

Кингсли опять подошел к доске.

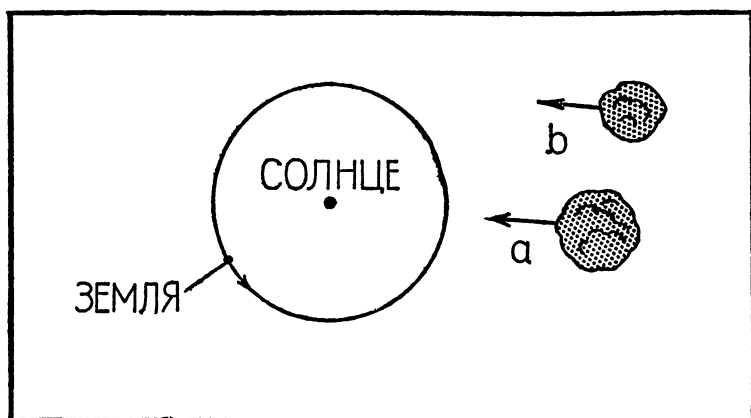
— Вот орбита Земли вокруг Солнца. В настоящий момент мы находимся здесь. А облако, нарисуем его в масштабе, находится здесь. Если оно движется, как показано в случае *a*, прямо к Солнцу, оно, несомненно, закроет его



Нынешнее положение. Рисунок Кингсли.

от нас. Если же оно движется так, как показано в случае б, то весьма вероятно, что оно пролетит мимо, за пределами орбиты Земли.

— Мне кажется, нам еще повезло, — Барнет невесело рассмеялся. — Так как Земля движется вокруг Солнца, через шестнадцать месяцев она будет находиться на противоположной стороне орбиты по отношению к облаку.



Положение спустя шестнадцать месяцев. Рисунок Кингсли.

— Это означает лишь, что облако достигнет Солнца раньше, чем Земли. При этом солнечный свет все равно не будет попадать на Землю, если облако закроет Солнце, как в случае а на рисунке Кингсли, — возразил Марлоу.

— Что же можно сказать относительно движения облака: летит оно точно по направлению к Солнцу или нет? — спросил Геррик.

— Наши наблюдения не могут дать ответа на этот вопрос, — ответил Марлоу. — Взгляните на первый рисунок Кингсли. Облако может попасть между Солнцем и Землей или пролететь мимо в зависимости от ничтожной разницы в направлении его движения. Мы сможем определить это направление со столь высокой точностью, лишь когда облако подойдет ближе к Земле.

— И сделать это чрезвычайно важно, — заметил Геррик.

— Может ли теория помочь нам еще в чем-нибудь? — обратился он к Кингсли.

— Думаю, что нет. Расчеты недостаточно точны для этого.

— Странно слышать, Кингсли, вы — и вдруг сомневаетесь в своих расчетах, — заметил Королевский астроном.

— Так ведь мои расчеты основаны на ваших наблюдениях! Во всяком случае, я согласен с Марлоу. Надо проводить тщательные наблюдения за облаком. В конце концов мы разберемся, суждено ли ему угодить прямо в нас, или оно пролетит мимо, не причинив особых неприятностей. Я полагаю, это должно выясниться через один-два месяца.

— Что до наблюдений, — сказал Марлоу, — можете положиться на нас: мы будем следить за облаком так пристально, как если бы оно было из чистого золота.

После ленча Марлоу, Кингсли и Королевский астроном сидели в кабинете Геррика. Геррик изложил им свои соображения о необходимости написания совместного отчета.

— По-моему, выводы наши совершенно ясны. Я сформулировал бы их так:

1. В солнечную систему вторглось облако газа.

2. Оно движется почти прямо на нас.

3. Оно появится у земной орбиты примерно через 16 месяцев.

4. Оно будет находиться вблизи Земли в течение времени порядка одного месяца.

Если облако окажется между Солнцем и Землей, Земля погрузится в темноту. Сейчас еще неясно, произойдет ли это, но дальнейшие наблюдения позволят определенно ответить на этот вопрос.

— Я думаю, нам следует остановиться также на дальнейших наблюдениях, — продолжал Геррик. — Оптические наблюдения будут продолжаться. Было бы полезно дополнить их наблюдениями австралийских радиоастрономов, особенно при определении пути движения облака.

— По-моему, вы прекрасно обрисовали сложившуюся обстановку, — согласился Королевский астроном.

— Предлагаю закончить отчет как можно скорее, затем мы четверо подпишем его и немедленно направим правительствам наших стран. Я думаю, излишне говорить о том, что все это совершенно секретно; во всяком случае, мы обязаны этого не разглашать. К сожалению, получи-

лось так, что много людей уже в курсе дела, но я надеюсь, мы можем положиться на их благоразумие.

В этом Кингсли был не согласен с Герриком. Кроме того, он очень устал, и это, несомненно, усилило его раздражение.

— Сожалею, доктор Геррик, но тут я не могу вас понять. Почему мы, ученые, должны идти к политикам и вилять перед ними хвостом, как собачонки: «Пожалуйста, сэр, вот наш доклад. Пожалуйста, похлопайте нас по спине: может быть, мы заслужили даже кусочек сахара?» Зачем нам связываться с людьми, не умеющими навести порядок в обществе даже в обычных условиях, когда все идет нормально. Они что, могут издать закон, по которому облако не должно больше к нам приближаться? Или предотвратить катастрофу? Если да, мы должны во что бы то ни стало уведомить их, а если нет, то зачем вообще с ними связываться.

Доктор Геррик оставался тверд.

— Простите, Кингсли, но, насколько я понимаю, правительство Соединенных Штатов и Британское правительство являются демократически избранными представителями наших народов. Я считаю, что наш прямой долг — представить этот отчет и сохранять молчание до тех пор, пока наши правительства не выскажутся на этот счет.

Кингсли встал.

— Прошу извинить, если я был резок, я устал. Мне надо пойти и выспаться. Посылайте ваш доклад, если хотите, но, пожалуйста, имейте в виду, если я и решил воздержаться на какое-то время от публичных высказываний, то лишь потому, что мне так захотелось, а не потому, что меня к этому обязывают, и не из чувства долга. А теперь, с вашего разрешения, я хотел бы вернуться к себе в отель.

Когда Кингсли вышел, Геррик взглянул на Королевского астронома:

— Да, Кингсли, кажется, несколько...э-э...

— Несколько ненадежен? — Королевский астроном улыбнулся и продолжал: — Трудно сказать. Если правильно воспринимать суждения Кингсли, они всегда абсолютно логичны, убедительны и нередко блестящи. Я думаю, что он кажется странным только потому, что исходит из необычных предпосылок, а не потому, что ход его мысли нелогичен. Кингсли, вероятно, смотрит на общество совершенно иначе, чем мы.

— Тем не менее, я думаю, неплохо, если бы Марлоу при-
сматривал за ним, пока мы будем работать над этим докла-
дом,— заметил Геррик.

— Прекрасно,— согласился Марлоу, который в это
время возился со своей трубкой,— у нас с ним есть о чем
поговорить.

Когда на следующее утро Кингсли спустился к завтраку,
Марлоу уже ждал его.

— Хотите прокатиться на денек в пустыню?

— Великолепно! Что может быть лучше! Через несколь-
ко минут я буду готов.

Они выехали из Пасадены, резко свернули вправо с глав-
ного шоссе, пересекли холмы, минуя поворот на Маунт
Уилсон, и помчались прямо к пустыне Мохаве. Через три
часа они были у горной стены Сьерра-Невады, откуда была
видна покрытая снегом вершина Уитни. Пустынные дали,
простирающиеся к Долине смерти, были окутаны голубо-
ватой дымкой.

— Сколько ходит рассказов и историй,— сказал Кинг-
сли,— о том, что переживает человек, когда узнает, что
ему остался год жизни — болезнь неизлечима и прочее.
Да, странно подумать, что каждому из нас осталось, ве-
роятно, жить немногим больше года. Пройдет несколько
лет, горы и пустыни останутся точно такими же, как те-
перь, но уже не будет ни вас, ни меня, ни одного человека
вообще, и никогда уже никто здесь не проедет.

— Боже мой, вы слишком пессимистичны,— проворчал
Марлоу.— Вы же сами считали вполне возможным, что
облако пролетит мимо нас.

— Послушайте, Марлоу, я не хотел слишком нажимать
на вас вчера, но если у вас есть старая фотография облака,
вы должны четко представлять себе, как оно движется.
Можете ли вы сказать, с какой стороны от Солнца пролетит
облако?

— Нет, во всяком случае, поручиться не могу.

— Так вот, одно это является достаточно веским осно-
ванием считать, что облако летит прямо на нас или во
всяком случае прямо на Солнце.

— Я все-таки не уверен в этом.

— То есть вы согласны, что облако скорее всего попадет
в нас, но есть еще надежда, что оно пролетит мимо.

— Все равно, я думаю, вы слишком мрачно настроены. Посмотрим, что покажут ближайшие один-два месяца. Но пусть даже Солнце будет заслонено от нас, разве мы не сумеем пережить это время? В конце концов это будет продолжаться всего около месяца.

— Что же, давайте продумаем, как это пойдет с самого начала,— сказал Кингсли.— После обычного заката Солнца температура начинает падать. При этом охлаждение ограничивается двумя факторами. Первый из них — наличие атмосферы, огромного резервуара, накапливающего для нас тепло. Однако, по моим подсчетам, этот резервуар будет исчерпан менее чем за неделю. Вспомните хотя бы, как холодно становится здесь, в пустыне, ночью.

— Почему же тогда поверхность Земли не так уж сильно охлаждается полярной ночью, когда Солнце исчезает на месяц и более? — возразил Марлоу, но затем добавил: — Хотя, наверное, в Арктику постоянно поступает нагретый Солнцем воздух из более низких широт.

— Конечно. Арктику все время обогревает воздух из тропических и умеренных областей.

— А какой же второй фактор?

— Вторая причина, замедляющая потерю тепла поверхностью Земли,— пары воды в атмосфере. В пустыне очень мало водяных паров, и температура падает ночью очень резко. Наоборот, в местах с большой влажностью, как в Нью-Йорке летом, ночью воздух почти не охлаждается.

— И какой же вы делаете вывод?

— Произойдет следующее,— продолжал Кингсли.— Предположим, что Солнце скроется. В течение одного или двух дней после этого охлаждение пойдет не очень быстро — отчасти из-за того, что воздух еще теплый, отчасти из-за водяных паров. Однако по мере охлаждения воздуха пары начнут выпадать на Землю в виде осадков — сначала в виде дождя, потом — снега. И дней через пять, а может быть даже через неделю или десять дней, водяные пары полностью исчезнут из атмосферы. После этого начнется резкое падение температуры, и за месяц мороз дойдет по крайней мере градусов до ста пятидесяти — ста шестидесяти.

— Выходит, здесь будет такой же холодина, как на Луне?

— Да, как известно, на Луне после заката Солнца температура падает примерно на сто пятьдесят градусов за

час. Из-за атмосферы на Земле охлаждение будет происходить гораздо медленнее, но конечный результат будет примерно таким же. Нет, Марлоу, хоть месяц и не такой уж долгий срок, нам все-таки его не выдержать.

— Вы считаете, интенсивное центральное отопление зданий, как, например, в холодных районах Канады, не поможет?

— Вряд ли есть здания, которые достаточно хорошо теплоизолированы, чтобы выдержать такие громадные перепады температур. Во всяком случае, их должно быть очень мало, ведь при строительстве домов никогда не рассчитывают на такую низкую температуру. Я все же допускаю: некоторые люди, те, которые живут в зданиях, приспособленных к условиям сурового климата, могут выжить. Однако у остальных, я думаю, никаких шансов нет. Население тропиков окажется в совершенно безнадежном положении — вспомните, какие там домишки.

— Да, все это не очень-то весело.

— По-моему, самое лучшее, что можно сделать — это найти глубокую пещеру и отсидеться под землей.

— А воздух для дыхания? Как же быть, когда он охладится до такой степени?

— Построить энергетическую установку и нагревать идущий в пещеру воздух. Вряд ли это так уж сложно. Вот чем займутся все эти правительства, о которых так пекутся Геррик и Королевский астроном. Они будут отсиживаться в уютных теплых пещерах, а мы с вами, мой друг Марлоу, тем временем превратимся в сосульки.

— Ну, не такие уж они плохие, — засмеялся Марлоу.

— Ну, конечно, кричать об этом на всех углах они не будут. Они всегда найдут тысячу веских доводов себе в оправдание. Когда станет ясно, что спасти можно лишь ничтожную горстку людей, они сумеют доказать, что этими счастливыми должны быть те, кто крайне необходим обществу; затем, после ряда манипуляций, окажется — а ведь это не кто иной, как политические деятели, фельд-маршалы, короли, архиепископы и так далее. Разве они не самые необходимые для общества?

Марлоу решил, пока не поздно, менять тему разговора.

— Ладно, оставим пока людей в покое. Что же будет с животными и растениями?

— Сами растения, конечно, погибнут, но с семенами, вероятно, все будет в порядке. Они могут переносить очень

низкие температуры и сохранять способность к прорастанию в подходящих условиях. Поэтому можно с уверенностью сказать: флора планеты в сущности не пострадает. С животными дело обстоит гораздо хуже. Не представляю себе, как сумеет выжить какое-либо из обитающих на суше крупных живых существ, кроме небольшого числа людей и, быть может, нескольких животных, которых люди возьмут с собой в убежище. Правда, маленькие пушные зверьки смогут укрыться от холода в своих глубоких норках и тоже выживут. В гораздо лучшем положении будут представители морской фауны. Моря и океаны сохраняют тепло значительно лучше, чем атмосфера. Температура воды в них понизится не очень сильно, так что рыбы, вероятно, уцелеют.

— Подождите, получается непонятно! — возбужденно воскликнул Марлоу. — Раз моря остаются теплыми, воздух над ними тоже будет согреваться. И на сушу должен все время поступать теплый воздух с моря!

— Нет, не согласен, — ответил Кингсли. — Нет никакой уверенности, что воздух над морями будет нагреваться. Поверхностные слои воды замерзнут, хотя в глубине вода останется теплой. А как только моря замерзнут, не будет уже большой разницы в температуре воздуха над ними и над землей. Всюду будет лютый холод.

— Печально, но вы, видимо, правы. Выходит, неплохо было бы укрыться на это время в подводной лодке.

— Ну, как сказать, ведь лед не позволит ей подниматься на поверхность, а создать в лодке запас кислорода на такой долгий срок совсем нелегко. И корабли не смогут двигаться из-за льда. И еще одно возражение против ваших доводов. Даже если бы воздух над морем оставался сравнительно теплым, он бы практически не поступал на материк, где скопление холодного плотного воздуха вызовет устойчивый антициклон. В результате воздух над сушей остался бы холодным, а над морем — теплым.

— Послушайте, Кингсли, — засмеялся Марлоу, — вам не удастся испортить мне настроение своими мрачными прогнозами. Вы не подумали, что внутри самого облака может существовать тепловое излучение с довольно высокой температурой? Ведь облако может содержать заметное количество тепла, и оно будет компенсировать нам потерю солнечного света, если предположить, что мы окажемся внутри облака — а я все еще в этом не уверен.

— Но я считал, что температура в облаках межзвездного газа всегда очень низкая.

— В обычных облаках — да, но это облако значительно плотнее и меньше, и его температура, насколько я понимаю, может быть вообще какой угодно. Конечно, она не может быть очень высокой — тогда бы облако ярко светилося, но может быть вполне достаточной, чтобы обеспечить нас теплом.

— И вы еще считаете себя оптимистом? А откуда вы знаете, вдруг облако такое горячее, что мы сваримся заживо? Ведь вы сами говорите, температура его может быть какая угодно. Откровенно говоря, такая возможность нравится мне даже меньше. Если облако слишком горячее, это уже верная гибель для всего живого.

— Тогда мы залезем в пещеры и будем охлаждать поступающий снаружи воздух!

— Но семена растений хорошо переносят только охлаждение, они не выдержат сильного перегрева. Что толку, если человечество уцелеет, а вся растительность на Земле погибнет.

— Семена можно сохранить в пещерах вместе с людьми, животными и холодильными установками. Смотрите-ка, пожалуй, мы посрамим старика Ноя!

— Да, и, может быть, эта тема вдохновит будущего Сен-Санса.

— Ну, Кингсли, даже если эта беседа не была особенно утешительной, по крайней мере выявилась одна важная деталь: мы должны выяснить температуру облака, и как можно скорее. Вот еще работка для радиоастрономов.

— Двадцать один сантиметр? — спросил Кингсли.

— Верно! Кажется, у вас в Кембридже есть группа, которая может делать такие измерения?

— Да, совсем недавно у нас начали заниматься этим. Надеюсь, они смогут достаточно быстро получить что нужно. Я свяжусь с ними, как только вернусь.

— И, пожалуйста, дайте мне поскорее знать, что случилось. Видите ли, Кингсли, хоть я и не совсем согласен с вашими взглядами на политику, мне не очень-то по душе полное отсутствие контроля с нашей стороны. Но один я ничего сделать не могу. Геррик просил держать все в секрете, он мой хозяин — я должен подчиняться. Но к вам это не относится, особенно после того, что вы сказали вчера. Поэтому вы можете спокойно заниматься

этим делом, и я посоветовал бы вам времени не терять.

— Не беспокойтесь, тянуть я не собираюсь.

Ехать пришлось долго. Только к вечеру они спустились через перевал к Сан-Бернардино. Марлоу подвел машину к одному ресторану в западной части городка, и они отлично пообедали.

— Вообще-то я не любитель ходить по гостям, но, мне кажется, нам обоим не помешало бы сегодня провести вечер подальше от ученых. Один мой приятель, здешний бизнесмен, приглашал меня заехать вечером.

— Но ведь я не могу врываться без приглашения.

— Ерунда, вам будут рады — гость из Англии! Вы будете гвоздем вечера. Вероятно, с полдюжины киномагнатов из Голливуда тут же захотят подписать с вами контракт.

— Тем более нечего идти, — сказал Кингсли, но все-таки пошел.

Дом мистера Сайласа У. Крукшенка, крупного агента по продаже недвижимости, оказался большим, просторным и хорошо обставленным. Марлоу не ошибся. Кингсли встретили с восторгом. Ему налили огромный бокал крепкого виски.

— Ну вот, замечательно, — сказал мистер Крукшенк. — Теперь все в порядке.

Кингсли так и не понял, почему именно теперь все было в порядке.

После обмена любезностями с вице-президентом авиационной компании, директором большой фруктовой компании и другими почтенными людьми Кингсли разговорился с хорошенькой темноволосой девушкой. Их беседа была прервана появлением красивой блондинки.

Подойдя, она обняла их за плечи и сказала хрипловатым низким голосом:

— Пойдемте с нами. Мы собираемся к Джиму Холиди, потанцевать.

Увидев, что темноволосая девушка склонна принять это предложение, Кингсли тоже решил пойти.

— Зачем мне беспокоить Марлоу, — подумал он. — Доберусь как-нибудь сам до отеля.

Жилище Джима было значительно меньше резиденции мистера С. У. Крукшенка, тем не менее удалось освободить

небольшой пятачок, на котором две или три пары начали танцевать под сиплую мелодию проигрывателя. Опять появилось множество напитков. Кингсли это вполне устраивало, так как в мире танца он отнюдь не был светилом. Темноволосую девушку приглашали два раза какие-то мужчины, к которым Кингсли, несмотря на виски, проникся сразу глубокой антипатией. Он решил немного погодя вырвать ее из рук этих грубиянов, а пока что поразмыслить над судьбами мира. Но это ему не удалось. Низкий голос обратился к нему:

— Милый, станцуем, — сказала она.

Кингсли изо всех сил старался войти в ленивый ритм танца, но, по-видимому, угодить партнерше не смог.

— Почему вы танцуете так напряженно, дорогой? — прошептала она.

Замечание это совсем обескуражило Кингсли — по-другому танцевать в такой толкучке он бы все равно не сумел. Совсем упав духом, Кингсли вывел ее из гущи танцующих и, добравшись до своего стакана, хватил хороший глоток. Бормоча что-то невнятное, он ринулся в вестибюль, где, как ему помнилось, был телефон.

— Ищите что-нибудь? — сказал кто-то позади.

Эта была темноволосая девушка.

— Вызываю такси. Как говорится в старой песенке, «я устал и хочу в постельку».

— Разве можно так разговаривать с порядочной молодой женщиной? Нет, правда, я сама уезжаю. У меня машина, я вас подвезу. Такси не понадобится.

Девушка лихо катила по окраинам Пасадены.

— Ездить медленно опасно, — объяснила она. — В это время ночи полицейские вылавливают пьяных и тех, кто возвращается домой из гостей. И они останавливают не только машины, которые гонят во-всю, медленная езда тоже вызывает у них подозрения.

Она включила свет на приборной доске, чтобы проверить скорость. Затем увидела уровень горючего.

— Черт возьми, мы остались почти без бензина. Придется задержаться у следующей колонки.

Когда она стала платить за заправку, то увидела, что ее сумочки нет в машине. Кингсли заплатил за бензин.

— Не пойму, где я могла ее оставить, — сказала она. — Я думала, она сзади, в машине.

— И много там было?

— Не очень. Но вот беда — я не знаю, как теперь попасть домой. Ключ от двери в сумке.

— Да, действительно, неудачно. К сожалению, я не особый мастер взламывать замки. Можно туда как-нибудь еще забраться?

— Можно, но только нужна помощь. Там есть окно, оно довольно высоко, я всегда оставляю его открытым. Одна через него влезть не смогу, но если бы вы посадили меня?.. Вас это не затруднит? Я живу совсем недалеко.

— Нисколько, — сказал Кингсли. — Интересно вообразить себя на минутку квартирным воров.

Девушка не преувеличивала: окно было высоко. Туда можно было влезть, только забравшись сперва к кому-нибудь на плечи. Предприятие было не из легких.

— Давайте, я полезу, — сказала девушка. — Я легче вас.

— Итак, вместо блестящей роли грабителя, мне суждена скромная доля подставки.

— Именно, — сказала девушка, снимая туфли. — Теперь пригнитесь, а то мне не взобраться к вам на плечи. Не так низко, вы не сможете выпрямиться.

Сначала девушка чуть не свалилась, но удержала равновесие, вцепившись Кингсли в волосы.

— Не оторвите мне голову, — проворчал он.

— Простите, знаю, не надо бы мне пить столько джина.

Наконец операция была завершена. Окно было открыто, и девушка полезла внутрь: сначала в окне исчезли голова и плечи, потом — ноги. Кингсли подобрал туфли и пошел к двери. Девушка открыла.

— Заходите, — сказала она. — У меня все чулки поехали. Заходите, не стесняйтесь.

— А я и не стесняюсь. Хочу получить обратно свой скальп, если он вам больше не нужен.

Было около двух часов, когда Кингсли явился в обсерваторию на следующий день. Он пришел прямо в кабинет директора, где застал Геррика, Марлоу и Королевского астронома.

Ого, похоже, он вчера здорово перебрал, подумал Королевский астроном.

Ну и ну, до чего может довести человека непомерная доза виски, подумал Марлоу.

Да, вид у него такой же дикий, как всегда, даже еще похуже, подумал Геррик.

— Ну как, все доклады закончены? — спросил Кингсли.

— Все закончено и ждут вашей подписи, — ответил Королевский астроном. — Мы не могли понять, куда вы запропастились. Нам заказаны билеты на вечерний самолет сегодня.

— Билет на самолет обратно? Глупость какая! Сначала несемся как угорелые через весь земной шар по всем этим чортовым аэропортам, а теперь, когда мы уже здесь и можно хоть погреться на солнышке, надо мчаться обратно. Смешно, Королевский астроном. Почему бы вам не дать себе передышки?

— Вы что ж, забыли, какое у нас серьезное дело?

— Дело серьезное, я с вами согласен. Но я говорю вам со всей ответственностью: с этим делом ни вы, ни я и никто другой справиться не может. Черное облако на пути к нам, и ни вы, ни вся королевская конница, ни все королевское войско, ни сам король не в силах его остановить. Мой совет — бросить всю эту чепуху с докладом. Надо греться на солнышке, пока оно еще нам светит.

— Мы были уже знакомы с вашей точкой зрения, доктор Кингсли, когда Королевский астроном и я решили лететь на восток сегодня вечером, — заявил Геррик размеренным тоном.

— Должен ли я понять вас так, что вы направляетесь в Вашингтон, доктор Геррик?

— Я уже договорился о встрече с секретарем президента.

— Если так, то, я думаю, лучше будет нам с Королевским астрономом отправиться без задержки в Англию.

— Кингсли, как раз это мы и пытаемся вам втолковать, — проворчал Королевский астроном, думая, что в некоторых отношениях Кингсли самый бестолковый человек, какого он когда-либо встречал.

— Это не совсем то, что вы пытаетесь мне втолковать, сэр, хотя, может быть, так вам кажется. Ну, теперь насчет подписей. В трех экземплярах, наверное.

— Нет, здесь только два экземпляра, один для меня и один для Королевского астронома, — сказал Геррик. — Будьте любезны подписать здесь.

Кингсли вынул авторучку, нацарапал свою фамилию в обоих документах и сказал:

— Вы точно знаете, сэр, что нам заказаны билеты на самолет в Лондон?

— Да, конечно.

— Тогда все в порядке. Господа, я к вашим услугам у себя в номере, начиная с пяти часов. Но до этого времени есть кое-какие неотложные дела, я должен ими заняться.

И с этими словами Кингсли ушел из обсерватории. Астрономы в кабинете Геррика посмотрели друг на друга с изумлением.

— Какие неотложные дела? — спросил Марлоу.

— Один бог ведает, — ответил Королевский астроном. — Образ мышления и поведение Кингсли выходят за пределы моего понимания.

Геррик сошел с самолета в Вашингтоне. Кингсли и Королевский астроном полетели дальше, в Нью-Йорк, где они должны были три часа ждать самолета на Лондон. В аэропорту из-за тумана не знали, полетит ли самолет вовремя. Кингсли очень волновался, пока, наконец, им не предложили пройти в ворота № 13 и приготовить билеты. Через полчаса они были в воздухе.

— Слава богу, — сказал Кингсли, когда самолет взял курс на северо-восток.

— Я могу согласиться, что есть много вещей, за которые вам следует благодарить бога, но не понимаю, за что вы ему так благодарны сейчас, — заметил Королевский астроном.

— Я рад бы вам объяснить, но едва ли мое объяснение вас устроит. Давайте лучше выпьем. Чего вы хотите?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРИНИМАЮТСЯ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Правительство США было первым, узнавшим о приближении Черного облака.

Геррику понадобилось несколько дней, чтобы добраться до высших правительственных инстанций США, но после этого дело пошло довольно быстро. Вечером 24 января он

получил приглашение явиться на следующее утро к половине десятого на прием к президенту.

— Вы ознакомили нас с очень странным явлением, доктор Геррик, очень странным,— сказал президент.— Но у вас и ваших сотрудников такая блестящая репутация, что я ни на минуту не усомнился в справедливости ваших утверждений. Напротив, я пригласил некоторых официальных лиц, чтобы мы могли обсудить дальнейшие действия.

Результаты двухчасового обсуждения суммировал министр финансов:

— Наши выводы кажутся мне совершенно ясными, господин президент. Нет оснований опасаться серьезных экономических потрясений по двум причинам. Доктор Геррик заверил нас, что этот э...э... визит не будет продолжаться много больше месяца. Это настолько короткий срок, что даже если расход горючего сильно возрастет, общее требуемое количество его все равно останется весьма умеренным. Следовательно, нет особой необходимости создавать для этого специальные запасы горючего. Возможно даже хватит тех, что есть. Более серьезный вопрос: сможем ли мы достаточно быстро доставлять горючее к жилым массивам и индустриальным объектам? Могут ли нефте- и газопроводы функционировать достаточно эффективно? Эту проблему нужно обязательно изучить, однако за оставшиеся полтора года все трудности, конечно, будут преодолены.

Вторым благоприятным фактором является время визита. К середине июля, когда, по мнению доктора Геррика, должны начаться события, мы соберем уже большую часть урожая. И повсюду урожай будет уже почти собран. Так что недостаток продуктов, который мог бы оказаться действительно угрожающим, если бы похолодание пришлось на май или июнь, будет на самом деле вполне терпимым.

— Я думаю, мы все согласны, какие шаги нужно предпринять,— добавил президент.— Когда мы решим вопрос о нашей подготовке к этому периоду, возникнет более трудная проблема о помощи, которую мы сможем предложить другим народам. Так что сначала давайте наведем порядок в своем собственном доме. А теперь, я полагаю, все вы, джентльмены, хотели бы вернуться к своим разнообразным и важным делам, а у меня есть несколько

вопросов, которые я хотел бы задать лично доктору Геррику.

Когда все разошлись и они остались одни, президент обратился к Геррику:

— Итак, доктор Геррик, вы понимаете, пока все это нужно держать в строжайшей тайне. Я видел в докладе, кроме вашей собственной, еще три другие подписи. Эти джентльмены, по-видимому, работают у вас? Не можете ли вы назвать имена других сотрудников, знакомых с докладом.

Отвечая на этот вопрос, Геррик кратко изложил обстоятельства, приведшие к открытию, подчеркнув, что до того, как стала очевидной исключительная важность новых данных, о них уже знала вся обсерватория — иначе и быть не могло.

— Конечно, это вполне естественно, — заметил президент. — Хорошо еще, что информация не пошла дальше обсерватории. Я убежден, я искренне убежден, доктор Геррик, что вы можете заверить меня в этом.

Геррик заметил, что четыре человека вне обсерватории располагают всеми имеющимися сведениями о Черном облаке: Барнет и Вейхарт из Калифорнийского технологического, но это одна компания, и двое английских ученых: доктор Кристофер Кингсли из Кембриджа и сам Королевский астроном. Подписи двух последних и стоят под докладом.

— Двое англичан! — воскликнул президент. — Скверное дело! Как это случилось?

Геррик понял, что президент прочитал только резюме его доклада, и рассказал, как Кингсли и Королевский астроном независимо от американцев сделали вывод о существовании Облака, как в Пасадену пришла телеграмма от Кингсли и как два англичанина были приглашены в Калифорнию. Президент успокоился.

— А-а, они оба в Калифорнии, не так ли? Вы правильно сделали, пригласив их. Это, по-видимому, самое разумное, что вы могли сделать, доктор Геррик.

И только сейчас Геррик по-настоящему понял, зачем Кингсли так внезапно понадобилось возвратиться в Англию.

Спустя несколько часов Геррик летел на запад, вспоминая все подробности своего визита в Вашингтон. Он не рас-

считывал получить от президента сдержанный, но суровый выговор, не ожидал он и того, что его так скоро отправят назад в Пасадену. Как ни странно, но выговор беспокоил его гораздо меньше, чем он мог бы ожидать. Он знал, что выполнил свой долг, а строжайшим судьей для Геррика был он сам.

Королевскому астроному тоже понадобилось несколько дней, чтобы проникнуть в высшие правительственные сферы. Его путь к вершине шел через первого лорда Адмиралтейства. Восхождение на вершину прошло бы значительно быстрее, если бы ученый пожелал объяснить суть дела. Однако Королевский астроном не хотел пускаться в объяснения, он лишь требовал аудиенции у премьер-министра. В конце концов он добрался до личного секретаря премьера, молодого человека по имени Фрэнсис Паркинсон. Паркинсон был откровенен: премьер-министр чрезвычайно занят. Как должно быть известно самому Королевскому астроному, кроме обычных государственных дел, премьеру в ближайшее время предстоит одна весьма сложная международная конференция, весной ожидается визит в Лондон мистера Неру и, кроме того, намечается визит самого премьер-министра в Вашингтон. Если Королевский астроном не изложит сути своего дела, то, очевидно, рассчитывать на аудиенцию нечего. Конечно, дело должно быть исключительной важности, иначе, как это ни прискорбно, он, секретарь, не станет оказывать никакого содействия. Королевский астроном капитулировал и сообщил секретарю самые краткие сведения о Черном облаке. Через два часа он давал объяснения, на этот раз со всеми деталями, премьер-министру.

На следующий день премьер-министр созвал экстренное совещание узкого кабинета, на которое был приглашен также министр внутренних дел. Паркинсон присутствовал здесь в качестве секретаря. Дав точное изложение доклада Геррика, премьер-министр обвел собравшихся глазами и сказал:

— Цель этого совещания ознакомить вас с фактами, могущими привести к серьезным последствиям. Обсуждать безотлагательные действия, которые следует предпринять, мы пока не будем. В первую очередь нам нужно, видно, проверить точность данных этого доклада.

— А как мы можем это сделать? — спросил министр иностранных дел.

— Ну, прежде всего я попросил Паркинсона осторожно навести справку об э...э... научной репутации джентльменов, подписавших доклад. Наверное, вы хотели бы услышать, что он скажет?

Собравшиеся выразили такое желание.

— Было не очень легко получить нужную информацию, особенно о двух американцах. Но самое главное, я узнал от своих друзей в Королевском обществе, что любой доклад, подписанный Королевским астрономом или обсерваторией Маунт Уилсон, является абсолютно достоверным с точки зрения наблюдения. Они были, однако, значительно менее уверены в дедуктивных способностях подписавших. Я понял, что только Кингсли из этих четверых может претендовать на компетентность в данном вопросе.

— Что вы подразумеваете под «может претендовать»? — спросил лорд-канцлер.

— Говорят, что Кингсли блестящий ученый, но не все считают его вполне нормальным человеком.

— Как же это получается? Выходит, что дедуктивная часть доклада зависит только от одного лица, одновременно и блестящего ученого и не совсем нормального человека, — сказал премьер-министр.

— То, что мне удалось узнать, сводится именно к этому. Хотя, пожалуй, это резко сказано, — ответил Паркинсон.

— Возможно, — продолжал премьер-министр, — но в всяком случае за нами остается право сомневаться. Наша обязанность всесторонне разобраться в этом вопросе. Что именно мы можем сделать для получения дополнительной информации — вот, о чем я хотел бы поговорить с вами сейчас. Можно поручить совету Королевского общества создать комиссию, которая выполняла бы все необходимые исследования. Вторая и последняя возможность, осуществление которой зависит уже от меня лично, — это связаться с правительством США. Ведь оно тоже заинтересовано в достоверности или, вернее сказать, в точности выводов профессора Кингсли и его коллег.

После дискуссии, продолжавшейся несколько часов, было решено немедленно обратиться к правительству США. Это решение было принято под сильным нажимом министра иностранных дел. Он не пожалел красноречия, добиваясь решения, которое передавало этот вопрос в его ведомство.

— Решающим,— сказал он,— является то, что хотя передача дела Королевскому обществу и желательна со многих точек зрения, но в этом случае неминуемо очень много людей узнает о фактах, которые на теперешней стадии лучше было бы держать в тайне. Я думаю, все мы согласимся с этим.

Все согласились. Конечно, министр обороны хотел знать, «какие шаги следует предпринять, чтобы знать с уверенностью, что ни Королевский астроном, ни доктор Кингсли не смогут сеять повсюду панику, излагая свою точку зрения на предполагаемые факты».

— Это тонкий и серьезный вопрос,— ответил премьер-министр.— Об этом я уже подумал. Потому, собственно, я и попросил министра внутренних дел присутствовать на совещании. Я намеревался обсудить с ним этот вопрос после совещания.

Все согласились, что последний вопрос должен быть рассмотрен премьером и министром внутренних дел, и совещание было закрыто.

В глубокой задумчивости министр финансов вернулся к себе в кабинет. Из всех присутствовавших на совещании он единственный был серьезно встревожен, так как он один знал, сколь неустойчива национальная экономика и как мало нужно, чтобы вконец ее развалить. Напротив, министр иностранных дел был очень доволен собой. Он думал о том, как прекрасно он держался на совещании. Министру обороны все это казалось бурей в стакане воды, и, во всяком случае, его ведомства это не касалось. Непонятно, зачем его пригласили на это совещание. Министр внутренних дел был очень доволен и с радостью остался для дальнейшего обсуждения в премьер-министром.

— Я уверен,— сказал он,— что мы отыщем закон, который даст нам право взять под стражу этих двоих: Королевского астронома и ученого из Кембриджа.

— Я тоже в этом уверен,— ответил премьер.— Ведь не зря свод законов существует столько веков. Но гораздо лучше действовать как можно тактичнее. Я уже имел случай поговорить с Королевским астрономом. Я наметил ему насчет соблюдения государственной тайны и из ответа понял, что мы можем быть совершенно уверены в его осторожности. Но по некоторым его замечаниям можно сделать вывод, что с доктором Кингсли дело обстоит

совсем иначе. Ясно, что мы должны без промедления связаться с доктором Кингсли.

— Я пошлю кого-нибудь в Кембридж немедленно.

— Не кто-нибудь, а вы сами должны поехать. Доктор Кингсли будет э...э... можно сказать, польщен, если вы посетите его лично. Позвоните ему и скажите, что вы будете в Кембридже завтра утром и вы хотели бы получить консультацию по одному важному вопросу. Я думаю, это самый действенный путь и в то же время самый простой.

Кингсли чрезвычайно много работал с тех пор, как вернулся в Кембридж. Он хорошо использовал те несколько дней, которые потребовались, чтобы колеса политической машины пришли в движение. Им было отправлено за границу множество заказных писем. Сторонний наблюдатель отметил бы, вероятно, два письма, адресованных Грете Йохансен в Осло и мадемуазель Иветте Хедельфорд в Клермонферранский университет. Только эти два письма были адресованы женщинам.

Больше всего дела он имел с радиоастрономами. Он уговорил Джона Мальборо и его сотрудников заняться интенсивными наблюдениями приближающегося Облака к югу от Ориона. Было нелегко убедить их в необходимости взяться за эту работу. Радиотелескоп для наблюдений на волне 21 сантиметр в Кембридже только что вступил в строй, и Мальборо хотел вести на нем другие исследования. Но в конце концов Кингсли удалось, не раскрывая своей действительной цели, переубедить Мальборо. И как только радиоастрономы направили свой телескоп на Облако, были получены столь удивительные результаты, что уже не было необходимости уговаривать Мальборо продолжать работу. Вскоре его группа уже работала круглосуточно. Кингсли едва успевал обрабатывать результаты и извлекать из них самое существенное. На четвертый день Кингсли завтракал с Мальборо, который был в приподнятом настроении.

Сочтя момент наиболее подходящим, Кингсли заметил:

— Ясно, что мы могли бы в ближайшее время опубликовать эти новые результаты. Но, по-моему, хорошо бы получить независимое подтверждение. Почему бы кому-нибудь из нас не написать Лестеру?

Мальборо попался на удочку.

— Хорошая мысль, — сказал он. — Я напишу. Я и так собирался написать ему письмо в связи с другими делами.

Как Кингсли хорошо знал, дело было в том, что Лестер ранее претендовал на первенство в открытии одного или двух явлений, и Мальборо хотел воспользоваться случаем, чтобы показать Лестеру, мол, и другие тоже не лыком шиты. Мальборо действительно написал Лестеру в Сиднейский университет в Австралию. И то же самое сделал для верности (не сказав об этом Мальборо) сам Кингсли. Оба письма содержали один и тот же фактический материал, но Кингсли добавил несколько косвенных намеков, которые многое могли сказать человеку, знающему, чем грозит Черное облако, но не Лестеру, который об этом ничего не знал.

Когда на следующее утро Кингсли вернулся в колледж после лекции, его окликнул взволнованный привратник.

— Доктор Кингсли, сэр, вам тут очень важное письмо!

Это была записка от министра внутренних дел о том, что он был бы рад, если бы профессор Кингсли согласился принять его в три часа дня.

Для ленча слишком поздно, для чая слишком рано, ну да он, видно, сам приготовил мне хорошенькое угощение, подумал Кингсли.

Министр внутренних дел был точен, чрезвычайно точен. Часы били три, когда тот же самый, все еще взволнованный привратник проводил его в комнату Кингсли.

— Министр внутренних дел, сэр, — провозгласил он торжественно.

Министр был одновременно и резок и тактичен. Он прямо перешел к делу.

Правительство, естественно, удивлено и, возможно, несколько встревожено докладом, полученным от Королевского астронома. Правительство высоко оценило замечательные дедуктивные способности доктора Кингсли, которые проявились в этом докладе. Он, министр внутренних дел, специально приехал в Кембридж с целью, во-первых, поздравить профессора Кингсли с блестящим научным успехом и, во-вторых, сообщить, что правительство очень хотело бы поддерживать постоянную связь с профессором Кингсли и иметь возможность советоваться с ним.

Кингсли понял, что ему остается лишь принять с должной скромностью хвалебную речь и обещать сделать все, что в его силах.

Министр выразил свое восхищение деятельностью ученых и добавил так, как будто он сейчас только вспомнил, что премьер лично заинтересовался вопросом, который профессору Кингсли может показаться незначительным, но который он, министр внутренних дел, считает весьма деликатным: число лиц, посвященных в суть дела, должно быть строго ограничено. По сути дела об этом должны знать только профессор Кингсли, Королевский астроном, премьер министр и узкий кабинет, в который на этот случай включен и он, министр внутренних дел.

Хитрый дьявол, подумал Кингсли, хочет заставить меня делать как раз то, чего я не хочу. Я могу избежать этого только, если буду чертовски груб, хоть он и мой гость. Попытаюсь постепенно накалить атмосферу.

Вслух он сказал:

— Можете быть уверены, я понимаю и полностью разделяю ваше естественное стремление держать это дело в тайне. Но здесь имеются трудности, о которых, по-моему, не следует забывать. Во-первых, мало времени: шестнадцать месяцев — это срок небольшой. Во-вторых, нам нужно получить об Облаке слишком много сведений. В-третьих, эти сведения не могут быть получены при сохранении секретности. Королевский астроном и я не можем что-либо делать в одиночку. В-четвертых, тайна может сохраняться лишь некоторое время. Другие могут проделать то же, что изложено в докладе Королевского астронома. Вы можете рассчитывать самое большее на одно- или двухмесячную отсрочку. А к концу осени уже и каждому, кто посмотрит на небо, все будет ясно.

— Вы меня не так поняли, профессор Кингсли. Я имею в виду лишь настоящее время, лишь данный момент. Как только наша политика в этом вопросе будет выработана, мы намереваемся развить самую активную деятельность. Все, кому надо знать об Облаке, будут о нем знать. Мы просим лишь об одном — строгое соблюдение секретности в промежуточный период, пока вырабатываются наши планы. Мы, естественно, не хотим, чтобы этот вопрос стал предметом сплетен до тех пор, пока мы, так сказать, не приведем в боевую готовность наши силы.

— Я крайне сожалею, сэр, но все это не кажется мне достаточно убедительным. Вы говорите, что сначала вырабатываете нужный курс, а потом займетесь этим делом вплотную. Это очень сильно напоминает телегу впереди лошади.

Невозможно, уверяю вас, выработать хоть мало-мальски стоящую политику, пока не будут получены новые данные. Мы не знаем, например, столкнется ли вообще Облако с Землей. Мы не знаем, ядовито ли вещество, из которого состоит Облако, или нет. Прежде всего приходит в голову мысль, что из-за Облака на Земле станет чрезвычайно холодно, но может случиться и обратное, может стать очень жарко. Пока мы не получим необходимые научные данные, выработать какую-нибудь политику совершенно невозможно. Единственная разумная политика — это сбор всех относящихся к делу сведений, причем без промедления, что, повторяю, невозможно при соблюдении строгой секретности.

Когда же, наконец, думал Кингсли, кончится эта беседа, которой скорей надлежало бы происходить в восемнадцатом веке. Может быть, поставить чайник?

Развязка, однако, быстро приближалась. Эти два человека слишком сильно отличались друг от друга образом мыслей, чтобы разговор между ними мог продолжаться более получаса. Когда говорил министр внутренних дел, его целью было добиться от собеседника той реакции, которая была предусмотрена заранее разработанным планом. При этом ему было совершенно все равно, как он достигал успеха, лишь бы его достигнуть. Любые средства хороши для достижения цели: лесть, обращение к здравому смыслу, политическое давление, игра на честолюбии собеседника и даже откровенное запугивание. В большинстве случаев, как и другие администраторы, он удачнее всего использовал эмоции собеседника, облекая, однако, свои доводы в кажущуюся логической форму. Он никогда не обращался к истинной логике. Для Кингсли, напротив, логика была всем или почти всем.

И тут министр допустил ошибку:

— Дорогой профессор Кингсли, боюсь, что вы нас недооцениваете. Можете быть уверены, при составлении планов мы будем предусматривать самые худшие возможности.

Кингсли так и подпрыгнул.

— Тогда, я боюсь, вам придется предусмотреть такую возможность, когда все мужчины, женщины и дети погибнут и на Земле не останется ни животных, ни растений. Позвольте спросить, какую политику вы выработаете на этот случай?

Министр внутренних дел не принадлежал к разряду людей, которые защищаются в проигранном споре. Когда он заходил в тупик, он просто менял тему разговора и больше уже к старой не возвращался. Он счел, что пора взять новый тон в беседе, и таким образом совершил вторую, еще более грубую ошибку.

— Профессор Кингсли, я пытался представить дело в разумном виде, но, видимо, вы просто хотите сбить меня с толку, поэтому буду говорить прямо. Я должен заявить, что если это дело получит огласку по вашей вине, у вас будут очень большие неприятности.

Кингсли застонал.

— Мой дорогой друг, как ужасно! Очень большие неприятности! Как же, я тоже уверен, что больших неприятностей не избежать, особенно в тот день, когда Облако закроет Солнце. Каким образом ваше правительство собирается это предотвратить?

Министр с трудом сдерживал себя.

— Вы исходите из предпосылки, что Солнце непременно *будет* закрыто Облаком, как вы выражаетесь. Позвольте мне быть с вами откровенным и сказать, что правительство навело некоторые справки и правительство не уверено полностью в достоверности вашего доклада.

Удар попал в цель.

— Что?!

Министр внутренних дел продолжал атаку.

— Возможно, это и не относится к вам, профессор Кингсли. Предположим, я говорю, *предположим*, что все это окажется бурей в стакане воды, химерой. Представляете ли вы себе, профессор Кингсли, ваше положение — вы возмутили всеобщее спокойствие, а потом вдруг оказалось, что вы попали пальцем в небо? Я со всей ответственностью заявляю вам, что это могло бы иметь только один исход, очень неприятный исход.

Кингсли слегка оправился. Он чувствовал, что сейчас взорвется.

— Я не нахожу слов, чтобы выразить свою благодарность за ту заботу, которую вы обо мне проявляете. Я также весьма удивлен тем, как глубоко правительство изучило наш доклад. Говоря откровенно, я просто поражен. Жаль только, что вы не столь глубоко изучаете вопросы, в которых вы с гораздо большим основанием можете считать себя компетентным.

Министра больше ничто не сдерживало. Он поднялся, взял шляпу и трость и сказал:

— Любое ваше действие в том направлении, о котором здесь говорилось, будет рассматриваться правительством как серьезное нарушение закона о сохранении государственной тайны. В последние годы было много случаев, когда ученые ставили себя выше закона и выше общественных интересов. Вам следовало бы знать о том, что с ними случалось.

Впервые Кингсли заговорил резко и повелительно:

— Разрешите мне указать вам, господин министр внутренних дел, что любая попытка со стороны правительства лишить меня свободы передвижения уничтожит для вас последний шанс на сохранение секретности. Таким образом, пока этот вопрос не стал известен широкой публике — вы в моих руках.

Когда министр ушел, Кингсли посмотрел на себя в зеркало.

— Я, по-моему, прекрасно сыграл свою роль, но лучше бы он не был моим гостем.

Далее события развивались стремительно. Группа сотрудников МИ5* сделала обыск на квартире у Кингсли, пока он обедал в зале колледжа. Был найден длинный список лиц, с которыми он переписывался. С него сняли копию. Из почтового ведомства получили сведения о письмах, посланных Кингсли после его возвращения из США. Сделать это было очень просто, поскольку письма были заказные. Выяснилось, что, вероятно, только одно письмо, адресованное доктору Лестеру в Сиднейский университет, еще находилось в пути. Из Лондона полетели телеграммы. Через несколько часов письмо было перехвачено в Дарвине, в Австралии. Его содержание телеграфировали в Лондон в зашифрованном виде.

На следующее утро ровно в десять часов на Даунинг-стрит, 10** состоялось совещание. На нем присутствовали министр внутренних дел сэр Гарольд Стэндрд, начальник МИ5, Фрэнсис Паркинсон и сам премьер-министр.

* «Милитари интеллидженс» — английская военная разведка (Прим. ред.).

** Резиденция премьер-министра (Прим. ред.).

— Итак, джентльмены, — начал премьер-министр, — все вы имели возможность ознакомиться с относящимися к делу фактами, и я думаю, все мы согласны с тем, что надо принять какие-то меры в отношении этого Кингсли. Содержание перехваченного в Австралии письма заставляет нас действовать без промедления.

Остальные молча кивнули.

— Вопрос, который мы должны сейчас решить, — продолжал премьер-министр, — это, как нам конкретно действовать.

Министр внутренних дел не колебался в своем решении. Он настаивал на немедленном аресте.

— Я думаю, мы можем не принимать всерьез угрозу разглашения со стороны Кингсли. Мы можем перекрыть все явные каналы, по которым возможна утечка информации. И если это и причинит нам некоторый ущерб, он будет гораздо меньше, чем если мы пойдем на какой бы то ни было компромисс.

— Я согласен, все явные каналы можно перекрыть, сказал Паркинсон. — Что мне не ясно, это как мы перекроем скрытые. Могу я говорить откровенно, сэр?

— Почему бы нет? — ответил премьер-министр.

— Хорошо. Неловко получилось с моим докладом относительно Кингсли на предыдущем нашем совещании. Я сказал тогда, что многие ученые говорили о нем как о человеке талантливом, но в то же время не совсем нормальном. Это я изложил вам правильно. Я не сказал, однако, что нет ни одной области, в которой люди так завидовали бы успехам и таланту другого, как в области науки. А зависть не позволит никому признать другого одновременно и блестящим и нормальным. Откровенно говоря, сэр, я очень сомневаюсь, что в докладе Королевского астронома может содержаться сколько-нибудь существенная ошибка.

— И что отсюда следует?

— Сэр, я изучил доклад очень тщательно, и мне кажется, что я представляю себе характеры и способности людей, подписавших его. И я попросту не верю, что человек такого интеллекта, как Кингсли, затруднился бы найти способ предать все гласности, если бы он действительно этого хотел. Если бы мы могли медленно затягивать сеть вокруг него в течение нескольких недель, так медленно, чтобы он ничего не заподозрил, то, быть может, мы до-

стигли бы успеха. Но он, конечно, предвидел, что мы можем попытаться внезапно его схватить. Мне хотелось бы спросить сэра Гарольда вот о чем. Сможет ли Кингсли разгласить эти сведения, если мы его арестуем внезапно?

— Боюсь, мистер Паркинсон совершенно прав, — начал сэр Гарольд. — Мы можем перекрыть все явные каналы: прессу, радио — *наше радио*. Но можем ли мы предотвратить распространение информации через радио Люксембурга или предусмотреть десятки других возможностей? Несомненно, да, если бы у нас было время, но боюсь, что за одну ночь мы с этим не справимся. И кроме того, — продолжал он, — слух об этом будет распространяться, как лесной пожар, стоит только ему просочиться даже без помощи газет или радио. Слухи поползут, как цепные реакции, о которых мы столько теперь слышим. Очень трудно бороться с такими возможностями, они могут возникнуть где угодно. Кингсли, предположим, оставит в одном из тысячи возможных мест запечатанный конверт с тем, чтобы его вскрыли в определенный день, если не поступит других указаний. Вы же знаете, это обычная вещь.

— Это то же, о чем говорил Паркинсон, — прервал премьер. — Ну, Фрэнсис, мне кажется, у вас есть что-то еще про запас. Мы хотели бы услышать, что именно.

Паркинсон изложил план, который, по его мнению, мог себя оправдать. После некоторого обсуждения было решено его испробовать, тем более, что если этот план использовать вообще, то нужно действовать немедленно. Если же с ним ничего не выйдет, всегда останется возможность применить план министра внутренних дел. Соповещение закончилось. Последовал звонок по телефону в Кембридж. Не сможет ли профессор Кингсли принять мистера Фрэнсиса Паркинсона, секретаря премьер-министра, в три часа дня? Да, профессор Кингсли сможет. Паркинсон отправился в Кембридж. Он был всегда точен и появился на квартире у Кингсли, когда часы били три.

— Гм, — проворчал Кингсли, — для ленча слишком поздно, для чая слишком рано.

— Надеюсь, вы не вышвырнете меня так же быстро, как других, — парировал Паркинсон с улыбкой.

Кингсли оказался гораздо моложе, чем ожидал Паркинсон; вероятно, ему было лет тридцать семь — тридцать восемь. Паркинсон представлял себе его рослым стройным мужчиной. В этом он не ошибся, но он никак не ожидал

замечательного сочетания густых темных волос с удивительно синими глазами, которые были бы необычными даже у женщины. Кингсли несомненно был не таким человеком, которого легко забыть.

Паркинсон пододвинул кресло к огню, устроился поудобнее и сказал:

— Я слышал все о вашем вчерашнем разговоре с министром внутренних дел и разрешите мне сказать, что я категорически не одобряю вас обоих.

— По-другому он закончиться не мог, — ответил Кингсли.

— Может быть, но я все-таки жалею о случившемся. Я не одобряю таких дискуссий, в которых обе стороны занимают позиции, исключающие компромисс.

— По этому нетрудно угадать вашу профессию, мистер Паркинсон.

— Вполне возможно, что это и так. Но, откровенно говоря, я был поражен, узнав, что такой человек, как вы, занял столь непримиримую позицию.

— Я был бы рад узнать, какой компромисс мне предлагается.

— Это как раз то, зачем я сюда пришел. Давайте, я пойду на компромисс первым, чтобы показать, как это делается. Вот, кстати, вы упомянули о чае недавно. Не поставить ли нам чайник? Это напомнит мне дни, которые я провел в Оксфорде, и многое другое, о чем помнят всю жизнь. Вы — парни из университета, и не представляете себе, как вам повезло.

— Вы намекаете на финансовую поддержку, оказываемую правительством университетам? — проворчал Кингсли, возвращаясь на свое место.

— Я далек от того, чтобы быть столь неделикатным, хотя министр внутренних дел об этой самой поддержке упоминал.

— Еще бы! Но я все еще надеюсь услышать о компромиссе, которого от меня ждут. Уверены ли вы, что слова «компромисс» и «капитуляция» не являются синонимами в вашем понимании?

— Ни в коем случае. Позвольте мне доказать это, изложив условия компромисса.

— Кто их составлял, вы или министр внутренних дел?

— Премьер-министр.

— Понятно.

Кингсли занялся приготовлением чая. Когда он накрыл стол, Паркинсон начал:

— Итак, прежде всего я приношу извинения за все то, что министр внутренних дел сказал о вашем докладе. Во-вторых, я согласен: первый наш шаг — это собрать возможные научные данные. Я согласен, что мы должны взяться за дело как можно быстрее и что все ученые, которые потребуются для этого, должны быть полностью информированы о положении дел. Однако я не могу согласиться с тем, что остальные должны теперь уже все знать. Вот та уступка, которой я у вас прошу.

— Мистер Паркинсон, я восхищен вашей откровенностью, но не вашей логикой. Держу пари, вы не сможете назвать ни одного человека, который узнал о страшной угрозе со стороны Черного облака от меня. А сколько человек узнали об этом от вас или от премьер-министра? Я возражал против намерения Королевского астронома информировать вас, ведь я знал, по-настоящему держать что-нибудь в секрете вы не можете. Теперь я особенно жалею, что он меня не послушался.

Паркинсон так и подскочил.

— Но вы, конечно, не будете отрицать, что написали весьма многозначительное письмо доктору Лестеру из Сиднейского университета?

— Конечно, я не отрицаю этого. Зачем? Лестер ничего не знает об Облаке.

— Но он знал бы, если бы письмо дошло до него.

— Если бы да кабы — это дело политиков, мистер Паркинсон. Как ученый, я имею дело только с фактами, а не с мотивами, подозрениями и прочей бессмыслицей. Я утверждаю, что по сути дела никто от меня ничего не узнал. В действительности разболтал все премьер-министр. Я говорил Королевскому астроному, что так оно и будет, но он мне не поверил.

— Вы не очень высокого мнения о моей профессии, профессор Кингсли, не правда ли?

— Поскольку вы сами ратовали за откровенность, я откровенно скажу вам — нет. Для меня политики то же, что приборы на щитке моего автомобиля. Они мне говорят, в каком состоянии машина, но держать ее в исправности не могут.

Внезапно Паркинсона осенило, что Кингсли просто морочит ему голову. Он расхохотался. Кингсли тоже.

С этого момента между ними больше не возникало натянутых отношений.

После второй чашки чая и беседы на общие темы Паркинсон вернулся к основному вопросу.

— Позвольте мне изложить цель моего визита, без этого вам от меня не отделаться. Путь, который вы избрали для накопления научной информации, не является самым быстрым и не дает нам гарантированной безопасности в широком смысле этого слова.

— У меня нет иных возможностей, мистер Паркинсон, и не мне вам напоминать, как теперь нам дорого время.

— Может быть, у вас и нет иных возможностей сейчас, но они могут появиться.

— Я не понимаю.

— Правительство предполагает собрать вместе тех ученых, которых следует информировать обо всех фактах. Мне известно, что вы работали последнее время с группой радиоастрономов во главе с мистером Мальборо. Я верю вам, что вы не передали мистеру Мальборо сколько-нибудь существенной информации, но разве не лучше устроить так, чтобы можно было посвятить его в суть дела?

Кингсли вспомнил трудности, которые он испытывал сначала с радиоастрономами.

— Несомненно.

— Значит, договорились. Далее, нам представляется, что Кембридж или любой другой университет вряд ли является удобным местом для проведения исследований. Вы тесно связаны со всем университетом и трудно надеяться, чтобы вы смогли здесь одновременно и соблюдать секретность и свободно обсуждать интересующие вас вопросы. Невозможно создать замкнутую группу среди тех, кто работает вместе. Правильнее всего создать совершенно новую организацию, новую группу, специально занимающуюся этим вопросом, и предоставить ей неограниченные возможности.

— Как Лос-Аламос, например.

— Совершенно верно. Подумайте сами, и я уверен, вы согласитесь, что другого реального пути нет.

— Я, по-видимому, должен вам напомнить, что Лос-Аламос находится в пустыне.

— Никто не собирается загонять вас в пустыню. Я думаю, у вас не будет никаких оснований для недовольства. Правительство как раз заканчивает перестройку

удивительно живописного загородного дома восемнадцатого века в Нортонстоу.

— А где это?

— В Котсуолдзе, на возвышенности к северо-западу от Сайрэнсестера.

— Почему и как его переоборудуют?

— В нем должен был разместиться сельскохозяйственный колледж. В миле от дома построено совершенно новое здание для обслуживающего персонала: садовников, рабочих, машинисток и так далее. Я же вам сказал — у вас будут все необходимые условия для работы, и заверяю вас, что будут.

— А не станут эти люди возражать, ведь их выставят и вместо них въедем мы?

— В этом отношении не будет никаких трудностей. Не все относится к правительству так же пренебрежительно, как вы.

— И очень жаль. Но есть трудности, о которых вы не подумали. Потребуется научное оборудование, например радиотелескоп. Прошел целый год, пока смонтировали один такой телескоп здесь, в Кембридже. Сколько времени вам понадобится, чтобы его перенести?

— Сколько человек его монтировали?

— Человек двадцать.

— Мы сможем использовать тысячу, а если нужно — десять тысяч человек. Мы можем обеспечить перестановку и монтаж любого прибора, который вам необходим, в самые короткие сроки, скажем, в течение двух недель. Нужны еще какие-нибудь большие установки?

— Нам будет нужен хороший оптический телескоп, хотя и не обязательно очень большой. Новый Шмидт здесь, в Кембридже, подходит лучше всего, хотя я не знаю, как вы сумеете уговорить Адамса с ним расстаться. Он столько лет добивался этого телескопа!

— Ну, это будет не так уж трудно. Не пройдет полугода, и он получит новый телескоп, лучше прежнего.

Кингсли подбросил в огонь поленья и снова сел в кресло.

— Не будем спорить о вашем предложении, — сказал он. — Вы хотите, чтобы я позволил посадить себя в клетку, пусть она и позолоченная. Это уступка, которой вы от меня ждете, уступка весьма существенная. Теперь мы

должны поговорить о тех уступках, которые я хочу получить от вас.

— Но, по-моему, мы только тем и занимаемся, что идем вам на уступки.

— Да, но в весьма неясной форме. Я хочу, чтобы все было ясно до конца. Первое: я буду уполномочен комплектовать персонал этого дома в Нортонстоу, я буду уполномочен назначать заработную плату, которую сочту разумной, и использовать любые аргументы, которые не будут раскрывать истинное положение дел. Второе: *никаких*, я повторяю, *никаких* государственных служащих и никаких политических связей, кроме как через вас.

— Чему я обязан столь исключительной честью?

— Тому, что хотя мы мыслим по-разному и защищаем разные интересы, у нас достаточно много общего, чтобы столкнуться. Это редкий случай, который едва ли повторится.

— Вы мне льстите.

— Ошибаетесь. Я говорю совершенно искренне. Я торжественно заявляю: если я или кто-то из моих сотрудников обнаружит в Нортонстоу джентльменов вышеуказанной разновидности, мы просто-напросто вышвырнем их вон. Если в это вмешается полиция или если эти джентльмены будут столь упорны, что мы не сможем их выставить, то я столь же торжественно предупреждаю — какое бы то ни было сотрудничество станет невозможным. Если, по-вашему, я слишком упорствую в этом вопросе, то могу ответить: я поступаю так потому, что знаю, насколько неразумны бывают политики.

— Благодарю вас.

— Не за что. Теперь перейдем к третьему пункту. Для этого понадобятся бумага и карандаш. Я хочу, чтобы вы записали со всеми подробностями, чтобы не могло возникнуть никакой ошибки, все до единого предметы оборудования, которые должны быть на месте, прежде чем я перееду в Нортонстоу. Еще раз повторяю, оборудование должно прийти в Нортонстоу раньше, чем приеду я. Я не буду принимать никаких отговорок, что, дескать, произошли неизбежные задержки и что то или другое прибудет в течение нескольких дней. Вот, берите бумагу и пишите.

Паркинсон вернулся в Лондон с длинным списком. На следующее утро у него был серьезный разговор с премьер-министром.

— Все в порядке? — спросил премьер.

— И да, и нет, — отвечал Паркинсон. — Мне пришлось пообещать оборудовать это место как настоящее научное учреждение.

— Это делу не повредит. Кингсли совершенно прав: нам нужно больше фактов, и чем быстрее мы их получим, тем лучше.

— Я в этом не сомневаюсь, сэр. Но я бы предпочел, чтобы Кингсли не был столь важной фигурой в новом учреждении.

— Разве он для этого не подходит? Можно найти кого-нибудь лучше?

— О, как ученый он вполне подходит. Но не это беспокоит меня.

— Я понимаю, гораздо лучше работать с более сговорчивым человеком. Но его интересы в основном как будто бы совпадают с нашими. По крайней мере, пока он не разъярится, узнав, что не может выезжать из Нортонстоу.

— О, он не питает никаких иллюзий на этот счет. Он рассматривает это как основу для сделки.

— Каковы же его условия?

— Прежде всего он требует, чтобы не было никаких государственных служащих и никакой связи с политикой, кроме как через меня.

Премьер-министр засмеялся:

— Бедный Фрэнсис, теперь я понимаю, что вас беспокоит. Ну, ничего. Что касается государственных служащих, это не так уж серьезно, а насчет связей с политикой, там будет видно. Может быть, они рассчитывают, что мы будем платить им э... э... астрономические суммы.

— Вовсе нет. Кингсли только хочет воспользоваться высоким жалованьем как средством заманивать людей в Нортонстоу, пока он не сумеет объяснить им истинную причину.

— Что же тогда вас тревожит?

— Я не могу ясно выразить, но у меня какое-то беспокойное ощущение: тысячи мелочей, каждая в отдельности — пустяк, но все вместе они тревожат.

— Продолжайте, Фрэнсис, выкладывайте все.

— В общем, у меня такое чувство, что не мы ведем игру, а нас используют.

— Не понимаю.

— Я ведь тоже не совсем понимаю. С виду как будто все в порядке, но так ли это? Вот, например, такой вопрос: если учесть, что Кингсли отлично во всем разбирается, зачем ему надо было возиться, отправлять эти письма заказными — ведь нам за ними так легче проследить?

— Это мог сделать для него привратник колледжа.

— Возможно, но во всяком случае Кингсли должен был знать, если тот отправил их заказными. Потом это письмо к Лестеру. Похоже, Кингсли хотел, чтобы мы перехватили его, нарочно заставил нас это сделать. И не слишком ли он грубил бедному старику Гарри (так Фрэнсис называл министра внутренних дел)? Потом, взгляните на этот список. В нем такие подробности, словно его обдумали заранее. Насчет продуктов и горючего я еще могу понять, но зачем столько землеройного оборудования?

— Не имею ни малейшего понятия.

— Но Кингсли-то имеет, ведь он уже все тщательно продумал.

— Мой дорогой Фрэнсис, какое нам дело, тщательно он все продумал или нет? Мы хотим заполучить группу компетентных ученых, изолировать их, и пусть радуются жизни. Если Кингсли можно задобрить этим списком — дайте ему все, чего он хочет. Зачем нам попусту голову себе морочить?

— Дело в том, что в этом списке много электронного оборудования, невероятно много. Оно может быть использовано для радиосвязи.

— Тогда вычеркивайте его сразу. Этого он не получит.

— Минутку, сэр, это не все. У меня возникли подозрения насчет этой аппаратуры, и я проконсультировался со специалистами, и, по-моему, людьми очень сведущими. Дело вот в чем. При любой радиопередаче необходимо производить кодирование, а на принимающем конце дешифровку. У нас в Англии обычно используется кодирование, имеющее техническое название «амплитудная модуляция», хотя Би-би-си последнее время применяет также другую форму кодирования, называемую частотной модуляцией.

— А, это та самая частотная модуляция? Я часто о ней слышу.

— Да, сэр. В этом все дело. Передачи, которые Кингсли мог бы вести с помощью своего оборудования, были бы закодированы по-новому, так, что понадобилось бы специальное приемное устройство для их дешифровки. Таким образом, хотя он и посылал бы сообщения, никто их не смог бы принимать.

— За неимением специального устройства?

— Совершенно верно. Так как же, дадим мы Кингсли это электронное оборудование или нет?

— Как он объясняет, зачем оно ему нужно?

— Для радиоастрономии. Для исследования Облака с помощью радиоволн.

— Оно может быть использовано для этой цели?

— О, да.

— Тогда *что* же вас беспокоит, Фрэнсис?

— То, что его очень много. Я, конечно, не ученый, но мне трудно представить, зачем понадобилось столько приборов. Итак, позволим ему это или нет?

Премьер-министр задумался.

— Проверьте все хорошенько. Если то, что вы сказали о кодировании, окажется верным, дайте ему эту аппаратуру. Ведь она может оказаться весьма полезной. Фрэнсис, до сих пор вы подходили к делу с национальной точки зрения, с национальной в противоположность интернациональной, я хочу сказать, не так ли?

— Да, сэр.

— А теперь надо взглянуть на это шире. Американцы наверняка стоят сейчас перед теми же вопросами, что и мы. Почти наверняка они придут к мысли организовать учреждение, подобное Нортонстоу. Я думаю попробовать предложить им объединиться для обоюдной пользы.

— А не получится, что нам ехать туда, а не они сюда? — спросил Паркинсон, забыв о грамматике. — Ведь они считают, что их ученые лучше наших.

— Может быть, это не относится к этой области э... э... радиоастрономии, в которой мы и австралийцы, насколько я знаю, идем впереди? Так как в этой проблеме

самое важное, по-видимому, радиоастрономия, я хочу ее использовать как основу для сделки.

— Безопасность,— простонал Паркинсон.— Американцы говорят, что у нас пренебрегают государственной безопасностью, и порой мне кажется, они недалеко от истины.

— Это компенсируется тем, что англичане флегматичнее американцев. Я подозреваю, что американская администрация хочет держаться подальше ото всех ученых, работающих в этой области. Иначе они все время сидели бы на бочке с порохом. До сих пор мне было неясно, как мы будем поддерживать связь. Но теперь я вижу: проблема будет решена, если мы установим прямую связь между Нортонстоу и Вашингтоном, используя новый код. Я буду всячески на этом настаивать.

— Когда вы говорили о международных аспектах, вы имели в виду только англо-американские отношения?

— Я имел в виду международное сотрудничество и австралийских радиоастрономов в частности. И, по-моему, скоро сведения об Облаке перестанут быть достоянием только Америки и Англии. С главами других государств тоже нужно поговорить. Затем я постараюсь намекнуть, где следует, что доктор такой-то и доктор такой-то получали от Кингсли письма, касающиеся деталей этого вопроса, после чего мы вынуждены были ограничить свободу передвижения Кингсли пределами Нортонстоу. Я также скажу, что если доктор такой-то и доктор такой-то будут посланы в Нортонстоу, мы будем рады принять их и проследим, чтобы они не причинили никаких неприятностей своим правительствам.

— А согласятся они на это?

— Почему бы и нет? Мы ведь сами убедились, какие могут возникнуть затруднения, когда ученые ускользают из-под контроля правительства. Чего бы мы ни отдали вчера, чтобы избавиться от Кингсли? Может, вы и сейчас непрочь избавиться от него. Их ученые прибудут очень быстро, с первым же самолетом.

— Не исключено. Но к чему нам вся эта возня, сэр?

— А не бросилось ли вам в глаза, что Кингсли заранее подобрал себе сотрудников? Не для того ли он посылал все эти заказные письма? И я думаю, для нас очень важно собрать здесь самых толковых ученых. Сдается мне, что придет день, когда Нортонстоу станет важнее, чем Организация Объединенных Наций.

НОРТОНСТОУ

Усадьба Нортонстоу расположена среди большого парка на возвышенности Котсуолдз, недалеко от крутого западного склона, на плодородных землях. Когда здесь впервые предложили разместить правительственное учреждение, это встретило резкий отпор в газетах всего Глостершира. Однако, как всегда в таких случаях, правительство сделало по-своему. Местное население несколько успокоилось, когда стало известно, что новое учреждение имеет сельскохозяйственный уклон, и фермеры могут обращаться туда за советом.

На землях Нортонстоу построили большой поселок примерно в полутора милях от поместья. Он состоял в основном из двухквартирных домиков для рабочих; было построено также несколько отдельных домов для начальства.

Хелен и Джо Стоддард жили в одном из белых двухквартирных домиков. Джо устроился садовником; он был близок к земле как в прямом, так и в переносном смысле. Его отец тоже был садовник. Сейчас Джо было тридцать один год, из которых тридцать лет он занимался своим делом: он стал учиться у отца, едва начав ходить. Работу свою он любил, так как мог проводить круглый год на воздухе. Кроме того, ему не приходилось возиться с бумажками — редкий случай в наше время, время анкет и документов, а, надо признаться, Джо читал и писал с большим трудом. Просматривая каталоги семян, он ограничивался изучением картинок. Это, впрочем, не могло привести ни к каким недоразумениям, так как все семена заказывал старший садовник.

Несмотря на изрядную его тупость, товарищи любили Джо и вовсе не считали ничтожеством. Никогда он не выходил из себя и ни при каких обстоятельствах не падал духом. Если он бывал озадачен чем-нибудь, что случалось нередко, лицо его расплывалось в добродушной, беззлобной улыбке.

Насколько слабо Джо шевелил мозгами, настолько прекрасно управлял он мышцами своего могучего тела. Он отлично играл в кегли, лучше всех в округе, хотя и предпочитал, чтобы счет за него вели другие.

Хелен Стоддард совершенно не походила на своего мужа. Это была хорошенькая хрупкая молодая женщина лет двадцати восьми, очень умная, но без образования. Совершенно непостижимо, как Джо и Хелен умудрялись так хорошо ладить друг с другом. Возможно, это было потому, что Хелен верховодила в семье, а добродушный Джо подчинялся. Во всяком случае, двое их детей унаследовали лучшие качества родителей: природный ум матери и физическую силу отца.

Но сейчас Хелен была сердита на своего Джо. В большом доме творилось что-то странное. За последние две недели туда съехались сотни людей. Старые постройки были снесены, чтобы освободить место для новых; был расчищен большой участок земли, на котором протянули множество каких-то странных проводов. Джо не удосужился разузнать, что все это значит, а сразу поверил в смехотворное объяснение, будто провода нужны для подвязывания деревьев — додумался же кто-то до такой чепухи.

Что до самого Джо, он не понимал, чего ради поднимать такой шум. Ей кажется, это все очень чудно, да ведь мало ли на свете чудного. «Они»-то знают, что делают, и ладно.

Хелен сердилась, потому что теперь она могла узнавать все новости только от своей соперницы миссис Олсоп, дочь которой, Пегги, работала секретаршей в Нортонстоу. Пегги и сама была любопытна ничуть не меньше, чем ее мать или Хелен, поэтому семейство Олсоп было прекрасно осведомлено обо всем происходящем. Искусно пользуясь этим преимуществом, Агнес Олсоп сумела высоко поднять свой престиж среди соседей.

Нужно еще отметить склонность этой дамы к далеко идущим выводам. Ее авторитет утвердился в тот день, когда Пегги раскрыла тайну огромного количества ящиков с надписями «Стекло! Обращаться с осторожностью», доставленных в усадьбу.

— Там радиолампы, вот что, — сообщила миссис Олсоп многочисленной аудитории, собравшейся у нее во дворе. — Миллионы ламп.

— На что им столько? — спросила Хелен.

— Да, на что? А на что все эти башни да провода, ведь пятьсот акров земли отхватили? Если хотите знать, они делают лучи смерти, вот что, — ответила миссис Олсоп.

Дальнейшие события ничуть не поколебали ее уверенности в этом.

В день, когда «они» прибыли, волнение в Горном поместье достигло предела. Захлебываясь от возбуждения, Пегги рассказала матери, как высокий синеглазый мужчина разговаривал с важными шишками из правительства, «как с мальчиками на побегушках, мам». «Ну, точно, лучи смерти», — только и могла вымолвить миссис Олсон.

На долю Хелен Стоддард тоже все-таки выпала удача узнать интересную новость, и притом, видимо, самую важную с практической точки зрения. На следующий день после того, как «они» приехали, Хелен поехала рано утром на велосипеде в соседнюю деревню и обнаружила, что дорогу перекрыли шлагбаумом, который охранял полицейский сержант. Да, сейчас еще проехать можно, но в будущем въезд и выезд из Нортонстоу будет только по специальным пропускам. Пропуска должны быть готовы уже сегодня к концу дня. Пока они будут без фотографий, но до конца недели все должны сфотографироваться. Как быть с детьми, которым надо ходить в школу? Ну, он думает, что сюда уже послали учителя, так что детям вообще не надо будет ходить в деревню. К сожалению, больше ему ничего не известно.

Теория лучей смерти получила еще одно подтверждение.

Это было странное предложение. Энн Холси получила его через своего импрессарио. Согласна ли она сыграть две сонаты, Моцарта и Бетховена, 25 февраля в некоем месте в Глостершире? Гонорар был высокий, очень высокий даже для способной молодой пианистки. Кроме нее, в концерте будет участвовать квартет. Больше никаких подробностей не сообщалось, за исключением того, что ей надо прибыть в Бристоль в два часа дня падингтонским поездом; у вокзала будет ждать машина.

Что за квартет будет выступать с ней, выяснилось лишь в вагоне-ресторане поезда, куда Энн зашла выпить чашку чая: оказалось, это не кто иной, как Гарри Харгривс со своей компанией.

— Мы играем Шенберга, — сказал Гарри. — Малость обработаем их барабанные перепонки. Кстати, кто они такие?

— Насколько я понимаю, это прием в загородной вилле.

— Должно быть, богачи, судя по деньгам, которые они платят.

Поездка из Бристоля в Нортонстоу была очень приятной. Уже появились первые признаки ранней весны. По приезде шофер провел их в дом и по коридору к двери, которую он открыл.

— Гости из Бристоля, сэр!

Кингсли никого не ждал, однако он быстро сориентировался.

— Хэлло, Энн! Хэлло, Гарри! Рад вас видеть!

— Мы тоже рады вас видеть, Крис, но что все это значит? Почему это вы вдруг превратились в помещика? Или, вернее, в лорда, если учесть великолепие этого места — имение среди холмов и прочее.

— Да нет, мы тут на специальной работе для правительства. Они, видимо, решили позаботиться о нашем культурном росте и поэтому пригласили вас сюда, — объяснил Кингсли.

Вечер прошел весьма удачно — и обед, и концерт, и музыканты с сожалением покидали этот гостеприимный кров на следующее утро.

— Ну, прощайте, Крис, спасибо за хороший прием, — сказала Энн.

— Машина, должно быть, уже ждет вас. Жаль, что вам нужно уезжать так скоро.

Однако ни шофера, ни машины не оказалось.

— Ну, ничего, — сказал Кингсли. — Я уверен, что Дэйв Вейхарт охотно отвезет вас в Бристоль на своей машине, хотя вам будет нелегко втиснуться в нее со всеми инструментами.

Конечно, Вейхарт согласился подвезти их; они со смехом втиснулись в машину и отправились в путь. Однако не прошло и получаса, как вся компания возвратилась. Музыканты были в полном замешательстве, а Вейхарт просто рассвирепел. Он провел всех в кабинет Кингсли.

— Что тут творится, Кингсли? Когда мы доехали до охранника, он не пропустил нас за шлагбаум. Сказал, что ему приказано никого не выпускать.

— У нас у всех сегодня вечером выступления в Лондоне, — сказала Энн, — и если нас сейчас не выпустят, мы пропустим поезд.

— Ладно, если вы не можете выйти через главные ворота, надо попробовать другие пути,— ответил Кингсли.— Дайте-ка, я наведу справки.

Минут десять он провел у телефона; Вейхарт и музыканты совсем раскипятились. Наконец он положил трубку.

— Не одни вы здесь сейчас яритесь. Люди из поселка пытались пройти в деревню, и никого из них не выпустили. Охрана поставлена вокруг всего поместья. Я думаю, лучше прямо связаться с Лондоном.

Кингсли набрал номер.

— Хэлло, это сторожевой пост у передних ворот? Да, да, конечно, вы действовали в соответствии с приказами начальника полиции. Я это понимаю. Нужно, чтобы вы сделали следующее. Слушайте внимательно. Позвоните по номеру Уайтхолл 9700. Когда вам ответят, скажите следующие буквы: QUE, а затем попросите мистера Фрэнсиса Паркинсона, секретаря премьер-министра. Когда вас соединят с мистером Паркинсоном, скажите ему, что профессор Кингсли хочет говорить с ним. Затем соедините меня с ним. Пожалуйста, повторите все, что я сказал.

Через несколько минут их соединили. Кингсли начал:

— Хэлло, Паркинсон. Я вижу, вы захлопнули ловушку... Нет, нет, я не жалуясь. Я этого ожидал. Можете ставить сколько угодно охранников вокруг Нортонстоу, лишь бы их не было внутри. Я вам звоню, чтобы сказать, что связь с Нортонстоу теперь будет осуществляться по-другому. Мы собираемся обрезать все провода, ведущие к сторожевым постам. Если вы хотите связаться с нами, используйте радио... У вас еще не готов передатчик? Ну, это ваше личное дело. Вовсе незачем настаивать, чтобы министр внутренних дел вел всю радиосвязь... Не понимаете? А пора бы. Если ваши деятели в состоянии управлять страной во время кризиса, они должны быть в состоянии изготовить передатчик, особенно после того, как мы дали вам схему. Теперь я хочу обратить ваше внимание вот на что. Если вы не будете никого выпускать, мы не будем никого впускать в Нортонстоу. Или другой вариант: вы сами, Паркинсон, можете приехать, если захотите, но обратно мы вас не выпустим. Вот все, что я хотел сообщить.

Но ведь какая нелепость,— сказал Вейхарт.— В самом деле, выходит, нас засадили в тюрьму. Вот уж не думал, что в Англии такое возможно.

— В Англии возможно все, — ответил Кингсли, — нужно только уметь подобрать подходящую мотивировку. Если вы захотите запереть группу мужчин и женщин в загородном поместье в Англии, не следует говорить страже, что она охраняет тюрьму. Скажите ей лучше, что те, кого она охраняет, нуждаются в защите от преступников, рвущихся к ним снаружи. Защита — вот наилучшее объяснение в данном случае, а вовсе не тюрьма.

И действительно, начальник полиции полагал, что в Нортонстоу хранятся атомные секреты, которые совершат переворот в области промышленного использования ядерной энергии. Он не сомневался, что иностранная разведка сделает все возможное, чтобы выведать эти секреты. Он знал, что скорее всего информация может просочиться через кого-либо из работников Нортонстоу. Отсюда естественно вытекало, что самый верный способ сохранения секретности — запретить вход в поместье и выход из него. Это решение было утверждено самим министром внутренних дел. Последний даже готов был признать, что, возможно, следует придать в помощь полицейской охране воинское подразделение.

— Но я не понимаю, при чем тут мы? — спросила Энн Холси.

— Я мог бы сделать вид, что вы оказались здесь случайно, — сказал Кингсли. — Однако на самом деле это не так. Все делается по плану. Кроме вас, сюда послали еще кое-кого. Правительство поручило художнику Джорджу Фишеру сделать несколько зарисовок Нортонстоу. Еще здесь Джон Мак-Нейл, молодой врач, и Билл Прайс, историк, разбирает старую библиотеку. Я думаю, лучше всего попробовать собрать всех вместе, и я постараюсь объяснить вам, в чем дело.

После появления Фишера, Мак-Нейла и Прайса Кингсли обратился к ненаучной части населения усадьбы с популярным и весьма красочным докладом об открытии Черного облака и о событиях, которые привели к созданию научного центра в Нортонстоу.

— Теперь ясно, откуда здесь охрана и прочее. Но это не объясняет, почему мы оказались здесь. Вы говорите, это не случайность. Почему же именно мы, а не кто-нибудь другой? — спросила Энн Холси.

— Моя вина, — ответил Кингсли. — Наверное, произошло вот что. Правительственные агенты обнаружили

мою записную книжку. Там были фамилии ученых, с которыми я советовался о Черном облаке. Затем, видимо, правительство решило, что лучше обезопасить себя полностью, и они просто собрали здесь всех, чьи фамилии были у меня в записной книжке. Мне очень неловко перед вами.

— Вот ваша проклятая беззаботность, Крис! — воскликнул Фишер.

— Откровенно говоря, за последние полтора месяца у меня было слишком много всяческих забот. И в конце концов нечего вам особенно расстраиваться. Всем вам без исключения здесь понравилось. В то же время у вас здесь гораздо больше шансов выжить, если разразится катастрофа, чем в любом другом месте. Если будет вообще хоть какая-то возможность уцелеть, то мы здесь уцелеем. Так что в сущности можете считать, что вам повезло.

— Вся эта история с вашей записной книжкой, Кингсли, не имеет, по-моему, ни малейшего отношения ко мне, — сказал Мак-Нейл. — Насколько я помню, мы с вами впервые встретились всего несколько дней назад.

— В самом деле, Мак-Нейл, как вы здесь оказались, позвольте вас спросить?

— Меня тоже обманули. Я подыскивал место для санатория, и мне рекомендовали Нортонстоу. Министр здравоохранения предложил мне поехать сюда и осмотреть все самому. Почему именно мне — не имею представления.

— Видно, для того, чтобы у нас был свой доктор.

Кингсли встал и подошел к окну. По земле неслись, обгоняя друг друга, тени облаков.

Однажды, в середине апреля, вернувшись домой после прогулки, Кингсли обнаружил, что его комната наполнена клубами пахнущего анисом дыма.

— Что за...! — воскликнул он. — Клянусь чем угодно, это Джефф Марлоу. Я уже потерял надежду заполучить вас сюда. Как вам удалось к нам пролезть?

— С помощью обмана и вероломства, — ответил Марлоу, набивая рот поджаренным хлебом. — У вас тут очень мило. Не хотите ли чаю?

— Спасибо, вы очень любезны.

— Не за что. После того, как вы уехали, мы вернулись в Паломар, и я успел еще немного поработать. Затем нас

отправили в пустыню, всех, кроме Эмерсона, которого, я полагаю, послали сюда.

— Да, у нас тут Эмерсон, Барнет и Вейхарт. Я так и думал, что вас загнали в пустыню. Потому я и сбежал, как только Геррик сказал, что собирается в Вашингтон. Здорово ему досталось, когда он дал мне уехать из США?

— Думаю, да, хотя он особенно об этом не распространялся.

— Кстати, не к вам ли послали Королевского астронома?

— Да, сэр! Королевский астроном — Главный британский представитель при американском проекте.

— Тем лучше для него. Мне кажется, это ему очень подходит. Но вы не рассказали мне, как вам удалось улизнуть из пустыни и почему вы решили это сделать?

— Почему — объяснить легко. Потому что там все было до смерти заорганизовано.

Марлоу взял несколько кусочков сахара из сахарницы и положил один из них на стол.

— Вот парень, который делает дело.

— Как вы его называете?

— Кажется, у нас нет для него никакого общепринятого названия.

— Мы здесь называем его «роб».

— «Роб»?

— Да, сокращенное от «робот».

— Ну, что же, пусть будет «роб», хоть мы его так и не называем, — продолжал Марлоу. — Как вы скоро увидите, это роб что надо.

Затем он выложил в ряд остальные кусочки.

— Над роботом стоит начальник отдела. Я как раз и есть начальник отдела. Затем идет заместитель директора — у нас им стал Геррик, хотя его кабинет не больше собачьей конуры. Далее наш друг — сам директор. Над ним — помощник инспектора, потом, естественно, сам инспектор. Они, конечно, военные. Потом идет руководитель проекта. Этот уже из политиков. Так, шаг за шагом, мы доходим до заместителя президента. Потом, я полагаю, идет президент, хотя тут я не совсем уверен, никогда не забирался так высоко.

— Думаю, вам все это не очень-то по нраву?

— Нет, сэр, — продолжал Марлоу, с хрустом жуя кусок поджаренного хлеба. — Я был на слишком низкой ступеньке этой лестницы, чтобы мне могла нравиться вся

система. Кроме того, я никогда не мог узнать, что происходит вне моего отдела. Все было устроено так, чтобы держать нас совершенно изолированными друг от друга. В интересах безопасности, говорят они, но, я думаю, точнее было бы сказать в интересах волокиты. Так вот, мне это не нравилось, как легко понять. Такая организация дела не по мне. Поэтому я начал приставать, чтобы меня перевели сюда для участия в вашем спектакле. Я думал, здесь все делается много лучше. И я вижу, это так и есть,— добавил он, взяв еще один ломтик поджаренного хлеба.— Кроме того, меня внезапно охватило страстное желание взглянуть на зеленую травку. Когда такое находит, ничего с собой уже не поделаешь.

— Отлично, Джефф, но как же все-таки вы сумели вырваться из этого кошмарного заведения?

— Просто повезло,— ответил Марлоу.— Начальству в Вашингтоне пришла в голову мысль — а вдруг вы тут знаете больше, чем говорите. И так как они были уверены, что я с радостью соглашусь на перевод, меня послали сюда в качестве шпиона. Я же говорил вам — попал сюда благодаря вероломству.

— То есть предполагается, что вы будете докладывать обо всем, что мы тут, возможно, скрываем?

— Вот именно. Ну, и теперь, когда вы знаете, почему я здесь, разрешите вы мне остаться или выкинете вон?

— Всякий, кто попадает в Нортонстоу, остается здесь — такой у нас порядок. Мы никого не выпускаем.

— Значит, Мери тоже можно приехать? Она делает в Лондоне кое-какие покупки, но уж завтра обязательно придет.

— Вот и прекрасно. Дом тут большой, места много. Мы будем рады принять миссис Марлоу. Откровенно говоря, у нас полно работы и почти некому ее делать.

— Может быть, мне все-таки посылать время от времени в Вашингтон какие-нибудь крохи информации? Чтобы доставить им удовольствие.

— Вы можете им говорить, что угодно. Я пришел к выводу: чем больше скажешь политикам, тем больше они расстраиваются. Поэтому мы решили сообщать им обо всем. Вообще у нас тут нет никакой секретности. Вы можете посылать все, что захотите, по прямой радиолнии в Вашингтон. Мы наладили связь как раз с неделю назад.

— В таком случае, может быть, вы расскажете мне в общих чертах о положении дел. Ведь я в сущности знаю почти столько же, сколько в день нашего разговора в пустыне Мохаве. За это время я кое-что сделал, но ведь сейчас нам нужны не оптические наблюдения. К осени мы сумеем что-нибудь выяснить, но мы уже договорились — это дело радиоастрономов.

— Да, я помню. И я растолкал Джона Мальборо, как только вернулся в Кембридж в январе. Пришлось порядком потрудиться, чтобы убедить его начать работу, ведь сначала я не говорил ему, зачем это в действительности нужно — хотя теперь он, конечно, все знает. Так вот, мы узнали температуру облака. Она несколько больше ста двадцати градусов, градусов Кельвина*, конечно.

— Что же, это довольно хорошо. Почти так, как мы надеялись. Немного холодновато, но терпимо.

— На самом деле, это еще лучше, чем кажется на первый взгляд. Ведь когда Облако приблизится к Солнцу, в нем должно начаться внутреннее движение. Согласно моим первым расчетам, это приведет к увеличению температуры на пятьдесят—сто процентов, в результате чего температура станет немногим ниже нуля по Цельсию. Выходит, что некоторое время будет стоять морозная погода, и только.

— Лучше и быть не может.

— По-моему, тоже.

— Продолжайте.

— В то время, еще в январе, я думал, что всех, кого хочешь, проведу. Поэтому я решил попробовать обмануть власти. Я исходил из того, что политикам нужны во что бы то ни стало две вещи: научная информация и секретность. Я решил обеспечить им и то и другое, но на моих собственных условиях — на каких условиях, вы видите сами здесь, в Нортонстоу.

— Да уж вижу: местечко отличное, никакие военные вас не изводят, никакой секретности. А как вы набирали персонал?

— С помощью преднамеренных неосторожностей, как например заказные письма. Ведь совершенно естественно,

* В градусах Кельвина измеряется абсолютная температура, нуль которой лежит на 273° ниже нуля по Цельсию. Температура 120° Кельвина составляет около минус 150° Цельсия. (Прим. перев.).

что сюда доставляли каждого, кто мог знать что-либо от меня. При этом я сыграл одну нехорошую шутку. Это уж на моей совести. Вы тут встретите одну очаровательную девушку, она великолепно играет на рояле. Кроме нее, вы встретите других музыкантов, а также художника и историка. Мне казалось, что если тут будут одни ученые, то заточение в Нортонстоу на год станет совершенно невыносимо. Поэтому я устроил подходящую неосторожность — и они оказались здесь. Только смотрите, не проболтайтесь, Джефф. Я думаю, обстоятельства в какой-то степени меня оправдывают, но все-таки лучше пусть они не знают, что я сознательно их сюда заманил. Не будут знать, не будут и сердиться.

— А как насчет пещеры, о которой вы говорили прошлый раз? В этом вопросе, я полагаю, вы тоже все уже уладили?

— Конечно. Вы, вероятно, не видели ее; это здесь недалеко, пониже холма. Там у нас работает много землеройных машин.

— Кто же этим занимается?

— Парни из нового поселка.

— А кто убирает тут в доме, готовит еду и так далее?

— Женщины из того же поселка; секретаршами работают тоже здешние девушки.

— Что же с ними будет, когда заварится каша?

— Они тоже укроются в убежище, конечно. Поэтому пещеру придется делать гораздо больше, чем первоначально предполагалось. Вот почему мы начали работы так рано.

— Ну, что же, Крис, я вижу, вы неплохо устроились. Но я не понимаю, почему вы считаете, что обманули политиков. В конце концов, им удалось загнать вас сюда, и, насколько я вас понял, они получают всю информацию, какую только вы можете им дать. Выходит, и они устроились совсем неплохо.

— Давайте, я расскажу вам, как мне все представлялось в январе и феврале. В феврале я думал взять под свой контроль все мировые события.

Марлоу засмеялся.

— О, я знаю, это звучит до смешного мелодраматично. Но я говорю серьезно. И я не страдаю манией величия, во всяком случае так мне кажется. Это только на один-два месяца, а потом я великодушно отказался бы от своей

власти и вернулся бы к научной работе. Я не из тех, из кого получают диктаторы. Я чувствую себя по-настоящему хорошо, только когда я мелкая сошка. Но это уж дар небес, что мелкой сошке удалось урвать такой кусок у власти имущих.

— В этом поместье вы как раз похожи на мелкую сошку,— сказал Марлоу со смехом, принимаясь за свою трубку.

— За все это пришлось бороться. Иначе мы получили бы организацию вроде той, на которую вы так гневаетесь. Разрешите, я коснусь немного философии и социологии. Приходило вам когда-нибудь в голову, Джефф, что, несмотря на все изменения, которые внесла наука в жизнь общества, такие, скажем, как освоение новых видов энергии, древняя общественная структура остается неизменной? Наверху политики, затем — военные, а действительно умные люди — внизу. В этом отношении нет никакой разницы между нами, древним Римом и ранними цивилизациями Месопотамии. Мы живем в обществе с нелепыми противоречиями, современном в области техники, но архаичном по своей социальной организации. Годами политики сетуют на нехватку квалифицированных ученых, инженеров и так далее. Они, кажется, никак не могут понять, что дураков существует весьма ограниченное количество.

— Дураков?

— Да, людей вроде нас с вами, Джефф. Мы дураки. Мы предоставляем свои мыслительные способности в распоряжение толпы ничтожеств; допускаем, что они вовлекают нас в свои сделки.

— Ученые всех стран, соединяйтесь! Такова ваша мысль?

— Не совсем. Ученые против остальных — это не совсем то. Суть дела глубже. Это столкновение между двумя совершенно различными формами мышления. Современное общество зиждется в области техники на математическом мышлении. С другой стороны, по своей социальной организации оно основано на мышлении, облеченном в слова. Конфликт возникает, таким образом, между мышлением словесным и математическим. Вам нужно бы встретиться с министром внутренних дел. Вы бы тогда увидели, о чем я говорю.

— И вы представляете себе, как все это изменить?

— Я представляю себе, как помочь математическому мышлению. Но я не такой осел, чтобы воображать, будто какие-либо мои действия могут иметь важное значение. Я думал, в случае удачи я смогу показать хороший пример того, как накручивать политикам хвосты.

— Боже мой, Крис, вы говорите о числах и словах, но я никогда не видел человека, который употребляет столько слов. Можете вы попросту объяснить, что вы замыслили?

— Говоря «попросту», вы подразумеваете «с помощью чисел»? Что же, попробую. Предположим, что когда Облако окажется здесь, мы сможем уцелеть. Все равно, конечно, условия жизни будут отнюдь не из приятных. Мы будем либо мерзнуть, либо задыхаться от жары. Крайне маловероятно, что у людей при этом сохранится возможность нормального передвижения. Самое большее, на что можно надеяться, — это пещеры и подвалы, спрятавшись, мы как-нибудь продержимся. Другими словами, всякое нормальное передвижение из одного места в другое будет прекращено. Поэтому вся связь и человеческая деятельность будут целиком зависеть от радио.

— Вы говорите, что согласованность общества — та согласованность, благодаря которой оно не распадается на множество разобщенных индивидуумов, будет зависеть от радиосвязи?

— Совершенно верно. Газет не будет, так как все газетчики попрячутся.

— И тут появляется вы, Крис? Вы собираетесь устроить в Нортонстоу пиратскую радиостанцию? Ух, ты! Где моя накладная борода?

— Подождите. Когда радиосвязь приобретет такое громадное значение, жизненно важной станет проблема количества информации. Власть постепенно перейдет к людям, у которых будет возможность управлять наибольшими потоками информации. Согласно моим планам, Нортонстоу будет в состоянии оперировать количеством информации, по крайней мере, в сто раз большим, чем все остальные радиопередатчики на Земле, вместе взятые.

— Но это же немыслимо, Крис! Откуда вы, например, возьмете столько энергии?

— У нас есть собственный дизельный генератор и большой запас топлива.

— Но вы не в состоянии будете производить то колоссальное количество энергии, которое вам понадобится.

— А нам не нужно колоссальное количество энергии. Я не говорю, что у нас будет в сто раз большая мощность, чем у всех других передатчиков, вместе взятых. Я сказал, что мы будем передавать в сто раз больше информации, а это отнюдь не то же самое. Мы не будем передавать программы для отдельных людей. Мы будем вести передачи на очень малой мощности для правительств всего мира. Мы станем как бы международным центром по обмену информацией. Правительства будут сообщаться друг с другом через нас. Вскоре мы станем нервным центром всемирной связи и именно в этом смысле будем контролировать мировые события. Наверное, после моего вступления вы ожидали чего-нибудь более потрясающего, но я не склонен к мелодраматическим эффектам.

— Да, вижу. Но каким же образом вы предполагаете обеспечить передачу такого количества информации?

— Давайте, я сначала изложу вам теорию. На самом деле все это хорошо известные вещи. Причины, по которым они до сих пор не применялись, — частично инертность, капиталовложения в уже существующее оборудование, а частично некоторые неудобства: все программы записываются на магнитную ленту, а потом передаются в эфир.

Кингсли уселся в кресле поудобнее.

— Конечно, вы знаете, что вместо того, чтобы передавать радиоволны непрерывно, как это обычно делается, их можно передавать прерывисто, импульсами. Предположим, что мы можем передавать три сорта импульсов: короткие, средние и длинные. Практически длинный импульс может быть, вероятно, вдвое больше по продолжительности, чем короткий, а средний — соответственно в полтора раза больше. С помощью передатчика, работающего в диапазоне от семи до десяти метров — обычный диапазон при дальней радиосвязи, — при обычной ширине интервала частот можно было бы передавать около десяти тысяч импульсов в секунду. При этом три вида импульсов могут быть расположены в любом заданном порядке, и таких импульсов будет десять тысяч в секунду. Теперь предположим, что мы используем средние импульсы для обоз-

начения конца каждой буквы, слова и предложения. Один средний импульс обозначает конец буквы, два средних импульса, следующих друг за другом — конец слова, три средних импульса подряд — конец предложения. Для передачи букв остаются длинный и короткий импульсы. При этом можно использовать, например, азбуку Морзе. Тогда в среднем на каждую букву понадобится около трех импульсов. Положив в среднем по пять букв на каждое слово, получим, что для передачи одного слова нужно около пятнадцати длинных и коротких импульсов. Если учесть еще средние импульсы, обозначающие концы букв, получим около двадцати импульсов на каждое слово. При скорости в десять тысяч импульсов в секунду это дает скорость передачи порядка пятисот слов в секунду, в то время как при обычных радиопередачах скорость не достигает и трех слов в секунду. Итак, выигрыш в скорости по крайней мере в сто раз.

— Пятьсот слов в секунду. Боже мой, вот это скороговорка!

— В действительности мы, вероятно, расширим интервал частот и сможем посылать более миллиона импульсов в секунду. Мы полагаем, что можно передавать сто тысяч слов в секунду. Ограничения возникают только из-за необходимости предварительной обработки. Очевидно, никому не под силу произнести сто тысяч слов в секунду; даже, — слава тебе, господи! — политикам. Поэтому программы придется записывать на магнитную ленту и затем считывать с огромной скоростью на специальном магнитофоне. Однако скорость считывания при современном оборудовании ограничена.

— Может быть, тут все-таки дело не так просто? Что помешало правительствам обзавестись таким оборудованием?

— Тупость и инертность. Как обычно — ничего не делается, пока не наступает кризис. Единственное, чего я опасаясь, это, что политики со своей апатией не удосужатся изготовить даже по одному экземпляру приемника и передатчика, не говоря уже о целых радиостанциях. Мы нажимаем на них, как можем. Они ведь хотят получать

от нас информацию, и мы отказываемся передавать ее иначе, чем по радио. Но тут есть еще одна трудность: в ионосфере могут произойти такие изменения, что станет необходимо перейти на более короткие волны. Мы здесь готовим оборудование для работы на волнах до одного сантиметра и все время предупреждаем их об этом. Но ведь они дьявольски медлительны и еле-еле поворачиваются.

— Да, кстати, кто здесь всем этим занимается?

— Радиоастрономы. Вы, вероятно, знаете, что у нас тут их собралась целая орава из Манчестера, Кембриджа и Сиднея. Их стало слишком много, и они наступали друг другу на пятки. Так было, пока нас не заперли на замок. Эти ослы чуть не спятили от злости, словно не было ясно с самого начала, что мы окажемся за решеткой. Тогда я разъяснил им с присущим мне тактом, что единственное, что мы можем сделать, это причинить политикам как можно больше неприятностей, для чего часть радиоастрономов должна заняться вопросами радиосвязи. Выяснилось, что у нас имелось, конечно, гораздо больше всякого электронного оборудования, чем нужно для радиоастрономических целей. Итак, скоро у нас уже работала целая армия радиоинженеров. И если бы мы захотели, то могли бы переплюнуть даже Би-би-си по количеству передаваемой информации.

— Знаете, Кингсли, я совершенно ошеломлен тем, что вы мне рассказали об этом импульсном методе. Я никак не могу поверить, что наши радиостанции посылают всего два-три слова в секунду, когда они могли бы передавать пятьсот.

— Но ведь это очень просто, Джефф. Человеческий рот может произносить около двух слов в секунду. Человеческое ухо способно воспринимать информацию лишь со скоростью менее трех слов в секунду. Великие умы, которые вершат нашими судьбами, решили, что электронное оборудование также должно быть сконструировано в соответствии с этими ограничениями, хотя с точки зрения электроники таких ограничений не существует. Ведь я же все время говорю — наша социальная система архаична, люди знающие находятся внизу, а на вершине — толпа недоумков.

— Мне кажется, — засмеялся Марлоу, — вы все-таки слишком упрощаете действительное положение вещей.

ОБЛАКО ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Все следующее лето Облака не было видно, так как оно находилось на дневном небе, однако его весьма интенсивно исследовали с помощью радиотелескопа в Нортонстоу.

Положение было лучше, чем ожидал премьер-министр. Новости из Нортонстоу позволяли надеяться, что Облако не вызовет острой нехватки топлива, чем премьер был очень доволен. Пока что не грозила и паника. Кроме Королевского астронома, в котором он был полностью уверен, опасность исходила от ученых, в особенности от Кингсли, но все они были надежно закупорены в Нортонстоу. И уступки, на которые пришлось пойти, были поистине смехотворные. Хуже всего было то, что он лишился Паркинсона. Пришлось послать Паркинсона в Нортонстоу, чтобы там не выкинули какого-нибудь фокуса. Но там, судя по сообщениям, ничто не давало поводов для подозрений, и поэтому премьер-министр решил не трогать лиха, покуда оно спит, невзирая на возражения со стороны некоторых министров. Иногда премьер-министр колебался в своем решении, в особенности когда ему приходилось проглатывать весьма часто поступавшие от Кингсли послания, в которых тот призывал сохранять государственную тайну.

В действительности намеки Кингсли были вполне оправданы: правительство не проявляло должной осторожности. На каждом уровне политической иерархии вышестоящие считали допустимым передавать информацию своим непосредственным подчиненным. Информация об Облаке медленно спускалась по политической лестнице, и к началу осени она уже почти достигла уровня парламента. Вскоре она чуть не стала достоянием прессы. Но еще не настал подходящий момент, чтобы Облако сделалось сенсацией.

Всю осень погода стояла очень плохая и небо над Англией хмурилось. Поэтому, хоть Облако и закрыло часть созвездия Зайца, до ноября тревоги не возникло. Первые вести пришли оттуда, где было ясное небо, — с Арабского Востока. Инженеры большой нефтяной компании бурили

скважины в пустыне. Они заметили, что рабочие пристально вглядываются в небо. Арабы показывали на Облако, или, вернее, на темное пятно на небе, которое было теперь около семи градусов в поперечнике и походило на округлую зияющую яму. Они сказали, что такой ямы здесь не должно быть и что это небесное знамение. Что это знамение означает, никто не знал, но рабочие испугались. Конечно, никто из инженеров не видал до этого таких темных пятен, но они не достаточно хорошо знали расположение звезд и не могли с уверенностью определить, что это такое. У одного из них была, однако, звездная карта на базе. Закончив бурение и вернувшись на базу, он посмотрел звездную карту и понял — что-то в небе не так. Полетели письма в английские газеты.

Газеты не предприняли никаких немедленных действий. Но в течение недели поступило еще несколько подобных сообщений. Как часто бывает, за одним сообщением последовало множество других — так одна дождевая капля предвещает начало ливня. Лондонские газеты послали специальных корреспондентов с фотоаппаратами и звездными картами в Северную Африку. Репортеры выехали в отличном настроении, радуясь возможности удрать от ноябрьской непогоды. Они возвращались обескураженными. Оказалось, что с черной ямой в небе не так-то просто совладать. Ни одной фотографии не удалось сделать. Редакторы газет не знали, что фотографировать звезды обычными камерами дело не из легких.

Британское правительство не давало прессе никаких указаний о том, публиковать сообщение об Облаке или нет. Было решено ничего не предпринимать, так как любое давление лишь повысило бы интерес к этому делу.

Тон поступавших сообщений удивлял редакторов. Они отдали распоряжение сделать его более легким и беззаботным, и к концу ноября в газетах появились такие довольно банальные заголовки:

ПРИЗРАК В НЕБЕ.

**В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ ОБНАРУЖЕНО ЗВЕЗДНОЕ ЗАТМЕНИЕ,
ЗВЕЗД НА РОЖДЕСТВО НЕ БУДЕТ,
ГОВОРЯТ АСТРОНОМЫ.**

Лед тронулся. Фотографии поступали из многих обсерваторий и в Великобритании, и в других странах. Они

появлялись на первых страницах ежедневных газет (но, конечно, на последней странице газеты «Таймс»), иногда основательно отретушированными. Помещались статьи известных ученых.

Читателям сообщалось, что существует сильно разреженный газ, занимающий огромные пространства между звездами. Указывалось, что в этом газе взвешены мириады мельчайших частичек, вероятно, частичек льда, не более стотысячной дюйма в диаметре. Именно эти частички создают десятки темных заплат, которые можно наблюдать вдоль Млечного Пути. Помещались снимки этих темных заплат. Новое небесное явление — просто одна из заплат, которую нам видно с близкого расстояния. Такие скопления иногда подходят близко к солнечной системе или даже проходят через нее. Это давно известно астрономам. Встречи такого рода даже послужили основой для одной широко известной теории происхождения комет. Снимки комет также помещались.

Научные круги не были полностью удовлетворены такими объяснениями. Облако стало темой разговоров и размышлений в научных лабораториях всего мира. Сообщение, высказанное Вейхартом за год до этого, было снова выдвинуто. Вскоре стало ясно, что все зависит от того, какова плотность облака. Общей тенденцией было преуменьшать ее, но некоторые ученые вспомнили замечания, высказанные Кингсли на собрании Британской астрономической Ассоциации. Обратили внимание и на исчезновение из университетов группы ученых. Миром овладело вполне понятное беспокойство. Без сомнения, тревога росла бы день ото дня, если бы правительства всех стран не обратились за помощью к ученым.

Ученых призывали принять участие в работе, связанной с подготовкой запасов пищи, горючего и строительством убежищ.

Однако страх непрерывно рос. В течение первых двух недель декабря появились признаки нетерпения. Известные фельетонисты требовали от правительства разъяснений в таком же резком тоне, как в период дела Берджесса — Маклина несколько лет назад. Но эта первая волна тревоги схлынула весьма любопытным образом. Третья неделя декабря была морозной и ясной. Несмотря на холод, люди на машинах и автобусах устремились из городов, чтобы посмотреть на небо. И никакой ямы в

небе они не обнаружили. Всего-то из-за яркого лунного света было видно несколько звезд. Напрасно пресса пыталась втолковать, что Облако можно увидеть только на фоне звезд. Как газетная сенсация, на время по крайней мере, Облако умерло. К тому же до рождества осталось всего несколько дней.

У правительства были все основания радоваться, ибо в декабре оно получило весьма тревожный доклад из Нортонстоу. Но сначала нужно упомянуть о событиях, предшествовавших этому докладу.

В течение лета организация дел в Нортонстоу окончательно устоялась. Ученые разделились на две группы, одна из них занималась «изучением Облака», а другая — вопросами связи, о которых Кингсли рассказывал Марлоу. Специальный штат занимался хозяйственными делами и постройкой убежища. Каждая из этих трех групп еженедельно проводила совещания, на которых мог присутствовать любой сотрудник. Таким образом, можно было узнать, как идут дела каждой группы, не вдаваясь в детали ее работы.

Марлоу работал в группе «изучения Облака» на телескопе Шмидта, взятом из Кембриджа. К октябрю он и Роджер Эмерсон решили вопрос о направлении движения Облака. Доклад Марлоу на созванном по этому случаю совещании изобиловал, пожалуй, слишком большим числом малосущественных деталей. В заключение он сказал:

— Таким образом, момент количества движения Облака относительно Солнца, по-видимому, равен нулю.

— А что это значит на обычном языке? — спросил Мак-Нейл.

— Это значит, что как Солнце, так и Земля окажутся внутри Облака, очевидно. Если бы Облако имело хоть какой-то момент количества движения, оно могло бы отклониться в сторону. Но теперь совершенно ясно, что этого не будет. Облако движется прямо на Солнце.

— Не странно ли, что Облако движется так точно прямо на Солнце? — снова задал вопрос Мак-Нейл.

— Должно же оно куда-то двигаться, — ответил Билл Барнет. — В одну ли сторону, в другую ли, но должно.

— Но мне все же кажется странным, что Облако движется прямо на Солнце,— настаивал упорный ирландец.

Еще несколько минут прошло в таких непоследовательных пререканиях, а потом Иветта Хедельфорт встала и обратилась к собравшимся:

— У меня есть причины для беспокойства! — воскликнула она.

Кругом захихикали, и кто-то заметил: «Черт возьми, как странно, не правда ли?»

— Да я не об этом,— продолжала девушка.— Я о том, что действительно вызывает беспокойство. Доктор Марлоу говорит, что Облако состоит из водорода. Измерения показывают, что плотность газа внутри Облака больше, чем 10^{-10} граммов на кубический сантиметр. Я подсчитала, что если Земля будет двигаться через такое облако около месяца, то количество водорода, добавленное в нашу атмосферу, превысит сто граммов на каждый квадратный сантиметр земной поверхности. Это верно?

Стало тихо — собравшиеся, во всяком случае большинство ученых, поняли значение сказанного.

— Нужно проверить,— пробормотал Вейхарт.

Минут пять он писал что-то на клочке бумаги.

— Верно, по-моему,— заявил он.

Почти сразу же совещание было закрыто. Паркинсон подошел к Марлоу.

— Ну, доктор Марлоу, что все это значит?

— Боже мой, разве не ясно? Это значит, что водорода окажется достаточно, чтобы соединиться со всем атмосферным кислородом. Водород с кислородом образует взрывчатую смесь. Вся атмосфера взлетит к чертям. И уж, конечно, сообразила это женщина.

Кингсли и Вейхарт провели весь день в спорах. Вечером они вместе с Марлоу и Иветтой Хедельфорт собрались в комнате Паркинсона.

— Послушайте, Паркинсон,— начал Кингсли после того, как вино было налито.— Вам нужно решить, что сообщать Лондону, Вашингтону и всем другим греховным городам. Все оказалось совсем не так просто, как мы думали утром. И водород не так уж важен, как вы думали, Иветта.

— Я не говорила, что он важен, Крис. Я просто задала вопрос.

— И правильно сделали, мисс Хедельфорт,— прервал Вейхарт.— Мы чересчур много внимания уделяли температуре и забыли про влияние Облака на земную атмосферу. Первый вопрос — энергия. Каждый грамм водорода, проникший в атмосферу, может высвободить энергию двумя способами: во-первых, путем удара об атмосферу и, во-вторых, путем соединения с кислородом. В первом случае выделится больше энергии и, следовательно, этот фактор важнее.

— Господи, час от часу не легче,— воскликнул Марлоу.

— Почему? Подумайте, что будет, когда газ Облака столкнется с атмосферой. Самые верхние слои атмосферы сильно нагреются, так как там произойдет сжатие. Мы подсчитали, что температура внешних слоев атмосферы достигнет сотен тысяч градусов, может быть даже миллионов градусов. Следующий вопрос связан с тем, что Земля и атмосфера вращаются, и Облако будет налетать на атмосферу только с одной стороны.

— С какой стороны? — спросил Паркинсон.

— Положение Земли на орбите будет такое, что Облако будет двигаться на нас приблизительно от Солнца,— объяснила Иветта Хедельфорт.

— Хотя самого Солнца не будет видно,— добавил Марлоу.

— Таким образом, Облако будет налетать на атмосферу в то время, когда должен быть день?

— Правильно. И оно не будет налетать на атмосферу ночью.

— В этом все дело,— продолжал Вейхарт.— Из-за очень высокой температуры, о ней я уже говорил, внешние слои атмосферы будут стремиться улететь от Земли. Это не будет происходить в «дневное время», так как давление Облака будет удерживать их, но «ночью» верхние слои атмосферы устремятся в пространство.

— А, я понимаю, что вы хотите сказать,— прервала Иветта Хедельфорт.— Водород будет проникать в атмосферу в «дневное время», но будет снова улечиваться «ночью». Значит никакого накопления водорода в атмосфере не будет.

— Совершенно верно.

— Но можно ли быть уверенными, что весь водород будет так улечиваться, Дэйв? — спросил Марлоу.— Даже если малая часть его будет оставаться, скажем,

один процент или десятая процента, это вызовет пагубные последствия. Мы должны помнить, сколь малого возмущения — малого с астрономической точки зрения — может оказаться достаточно, чтобы мы перестали существовать.

— Я уверен, что практически весь водород будет уходить. Опасность совсем в другом, в том, что слишком много других газов также будет улетучиваться из атмосферы в космическое пространство.

— Как это? Вы же сказали, что только внешние слои атмосферы будут нагреты.

На это возражение ответил Кингсли:

— Дело вот в чем. Верхняя часть атмосферы станет горячей, чрезвычайно горячей. Нижние ее слои, та часть, где мы живем, будет сначала холодной. Но постепенно возникнет поток энергии сверху вниз, он будет стремиться нагреть нижние слои.

Кингсли поставил на стол свой стакан с виски.

— Все дело в том, чтобы оценить, насколько быстрым может быть этот перенос энергии. Как вы сказали, Джефф, незначительные эффекты могут привести к самым пагубным последствиям. Нижняя часть атмосферы может так нагреться, что мы изжаримся, в буквальном смысле слова — изжаримся на медленном огне, все, включая и политиков, Паркинсон!

— Вы забываете, мы — толстокожие, и нас придется поджаривать дольше.

— Здорово сказано. Один — ноль в вашу пользу! Конечно, вертикальный перенос может оказаться настолько сильным, что вся атмосфера улетит в пространство.

— Это можно выяснить?

— Да, имеется три способа переноса энергии, все они наши старые знакомые: теплопроводность, конвекция и излучение. Уже сейчас мы совершенно уверены, что теплопроводность не может играть существенной роли.

— И конвекция тоже, — прервал Вейхарт. — Атмосфера, в которой температура растет с высотой, будет устойчива. Следовательно, никакой конвекции не будет.

— Значит, остается излучение, — заключил Марлоу.

— И каково будет действие излучения?

— Не знаем, — сказал Вейхарт. — Это нужно подсчитать.

— Вы это можете сделать? — спросил настойчивый Паркинсон.

Кингсли кивнул.

Через три недели Кингсли попросил Паркинсона зайти к нему.

— Мы получили результаты со счетной машины, — сказал он. — Хорошо, я настоял на том, чтобы у нас была машина. Похоже, с излучением все в порядке. Мы имеем в запасе множитель порядка десяти и, следовательно, надежно защищены. По-видимому, сверху обрушится огромное количество смертоносных лучей — рентгеновские лучи, ультрафиолетовый свет. Но, видимо, в нижние слои атмосферы они не проникнут. На уровне моря мы будем прекрасно защищены. Но высоко в горах дело будет обстоять хуже. Я думаю, придется переселять людей вниз. В таких местах, как Тибет, никого оставлять нельзя.

— Но, вообще-то, по-видимому, все будет в порядке?

— Точно не знаю. Откровенно говоря, Паркинсон, я несколько обеспокоен. Это не относится к излучению. Здесь, я думаю, все в порядке. Но я не согласен с Дэйвом Вейхартом относительно конвекции и не думаю, что он говорит с полной уверенностью. Вы помните его точку зрения, что конвекция не может иметь места при возрастании температуры с высотой. В обычных условиях это верно, так называемые температурные инверсии хорошо известны, особенно в Южной Калифорнии, откуда сам Вейхарт родом. И совершенно правильно, что при температурной инверсии не происходит вертикального перемещения слоев воздуха.

— Тогда что же вас беспокоит?

— Самый верх атмосферы, с которым столкнется Облако. Из-за давления снаружи, со стороны Облака, в этой области должна будет возникнуть конвекция. Эта конвекция, конечно, не сможет проникнуть в нижние слои атмосферы. Тут Вейхарт прав. Но на небольшое расстояние вниз она проникнуть может. И в этой области возникнет огромный перенос тепла.

— Но если тепло не проникнет в нижние слои, чего же беспокоиться?

— Все-таки оно может туда проникнуть. Смотрите, как это будет развиваться во времени. В первый день потоки

слегка проникнут внутрь. Затем ночью мы потеряем не только водород, который просочится за день, но и ту часть атмосферы, куда проникнут потоки тепла. Таким образом, в первые сутки мы потеряем внешнюю оболочку нашей атмосферы. За следующие сутки мы потеряем другую оболочку. И так далее. День за днем атмосфера будет сбрасывать с себя одну оболочку за другой.

— На месяц ее хватит?

— В этом-то и вопрос. И я не могу вам на него ответить. Может быть, она улетучится за десять дней, может быть, за месяц, точно не знаю.

— А можете определить?

— Попытаюсь, но очень трудно учесть все важные факторы. Это посложнее, чем проблема излучения. Несомненно, мы дадим какой-то ответ, но я не знаю, насколько ему можно будет верить. Скажу вам прямо, все будет висеть, по-видимому, на волоске. Откровенно говоря, не думаю, что через шесть месяцев мы будем знать намного больше. Это, вероятно, одна из проблем, которые слишком сложны для расчетов. Боюсь, нам остается только ждать и наблюдать.

— Что же мне передать в Лондон?

— Это ваше дело. Конечно, вы должны сказать об эвакуации высокогорных районов, хотя в Англии нет таких уж высоких гор. А что еще передать, решайте сами.

— Хорошего мало, не правда ли?

— Да. Если вы уж очень падете духом, советую поговорить с одним из садовников, Стоддардом. Он такой тугодум, что его невозможно вывести из равновесия, хоть вся атмосфера взорвись.

С третьей недели января судьбу рода человеческого можно было уже прочесть на небе. Звезда Ригель в созвездии Ориона исчезла. В последующие недели то же произошло с мечом и поясом Ориона и яркой звездой Сириус. Исчезновение любого другого созвездия, кроме разве Большой Медведицы, могли бы и не заметить, но исчезновение Ориона и Сириуса заметили все.

Пресса снова заинтересовалась Облаком. Ежедневно публиковались сообщения о происшедших изменениях. Чрезвычайно возросла популярность «ночных путешествий

в погоне за тайной» на автобусах. Количество слушателей лекций Би-би-си по астрономии увеличилось втрое.

К концу января, наверное, уже каждый четвертый видел Облако. Но и всем остальным тоже захотелось увидеть его собственными глазами. Так как большинству горожан было трудно выезжать ночью за город, решили выключать в городах по ночам на некоторое время уличное освещение. Сначала это вызвало протест со стороны городских властей, но он только привел от вежливых просьб к студенческим демонстрациям. Первым городом в Англии, в котором стали каждую ночь тушить свет, был Вулвергемптон. За ним быстро последовали другие, а к концу второй недели февраля капитулировали и лондонские отцы города. Теперь наконец большинство населения могло само видеть, как Черное облако, подобно жадной руке, сжимало Орион — небесного охотника.

То же происходило в США и во всех других развитых странах. Соединенным Штатам пришлось, кроме того, заняться эвакуацией населения большинства западных штатов, так как значительная часть их территории лежит выше 1500 метров — предела, указанного в докладе Нортонстоу. Правительство США справилось, конечно, у своих собственных экспертов, но их заключения почти не отличались от полученных в Нортонстоу. США организовали также эвакуацию в высокогорных республиках Южной Америки.

Аграрные страны Азии были удивительно безразличны к тому, что сообщила им Организация Объединенных Наций. Их политика «жди и наблюдай» была в действительности, может быть, самой мудрой. За тысячи лет восточные народы привыкли к стихийным бедствиям — «божьей воле», как их называют на Западе. Жители Востока привыкли смиренно встречать и наводнения, и грабительские набеги, и налеты саранчи, и болезни, так же они отнеслись и к новой небесной напасти.

С приходом весны в северное полушарие Облако все больше и больше перемещалось с ночного неба на дневное. Поэтому хотя оно быстро затянуло часть неба уже вне созвездия Ориона, которое полностью скрылось, его присутствие стало менее заметным для случайного наблюдателя. Англичане все еще играли в крикет и копались у себя в садах; то же самое делали и американцы.

Широкий интерес к садоводству был вызван необычайно ранним летом — оно началось в середине мая. Мрачные предчувствия, конечно, жили повсюду, но они принимали с каждой неделей необычайно ясной, солнечной погоды все более смутные очертания. Овощи поспели к концу мая.

Правительства прекрасной погоде отнюдь не радовались — в ней таилась зловещая причина. С того времени, как его увидели в первый раз, Облако прошло около девяноста процентов своего пути до Солнца. Было ясно, что по мере приближения к Солнцу Облако должно отражать все больше и больше солнечных лучей, и это приведет к повышению температуры на Земле. Как и предсказывал Марлоу, количество видимого света не возросло. В течение всей чудесной весны и раннего лета заметного увеличения яркости неба не наблюдалось. Та часть света от Солнца, которая попадала в Облако, переизлучалась им в форме невидимых инфракрасных тепловых лучей. К счастью, не весь падающий на Облако свет переизлучался, иначе Земля стала бы необитаемой. И к счастью, значительная часть инфракрасных лучей не проникала внутрь нашей атмосферы. Она отражалась назад в космическое пространство.

К июню стало ясно, что температура повсюду на Земле поднимется приблизительно на пятнадцать градусов Цельсия. Мало кто представляет себе, как близко к предельно допустимой для жизни температуре живет большая часть человечества. При очень малой влажности воздуха человек может выдерживать температуру до 65° Цельсия. Температура достигает такого уровня летом в низколежащих областях Западно-Американской пустыни и в Северной Африке. Но в условиях большой влажности предельная температура снижается до 45° Цельсия, при очень высокой влажности — до 40°, и эта температура обычно держится летом на восточном берегу США и иногда на Среднем Западе. Как это ни странно, на экваторе, при наличии высокой влажности, температура редко бывает выше 35°. Этот парадокс вызван тем, что на экваторе очень плотный облачный покров отражает значительную часть солнечных лучей.

Таким образом, во многих областях земного шара температура ниже предельной лишь на 10°, а в некоторых местах и того меньше. Перспектива дополнительного увеличения температуры на 15° вызывала серьезнейшие опасения.

Нужно еще добавить, что неспособность тела избавиться от постоянно выделяемого в нем тепла может вызвать смерть. Выделение этого тепла необходимо, чтобы у человеческого тела была нормальная рабочая температура, около 37° Цельсия. Увеличение температуры тела до 39° приводит к болезненному состоянию, до 40° — к бредовому состоянию, а 42° или больше вызывает смерть. Может возникнуть вопрос, как тело избавляется от тепла в среде с большей температурой, скажем, при 43°. Это происходит благодаря испарению пота с кожи. Такое испарение возможно, однако, лишь при малой влажности окружающего воздуха. Вот почему человек может переносить большие температуры при низкой влажности и жаркую погоду всегда легче переносить в сухих местах.

Следовательно, многое зависело от влажности воздуха, и это порождало какую-то надежду. Инфракрасные лучи от Облака будут быстрее нагревать сушу, чем море, и температура воздуха будет быстро расти с ростом температуры суши, в то время как содержание влаги в воздухе будет повышаться медленнее, так как оно зависит от температуры моря. Следовательно, относительная влажность должна была падать, во всяком случае, сначала. Именно это падение относительной влажности явилось причиной невиданно ясной весны и раннего лета в Англии.

Вначале значение инфракрасных лучей недооценивали. Иначе американское правительство никогда не расположило бы свой вновь организованный научный центр в западной пустыне. Теперь они вынуждены были эвакуировать людей и оборудование. Они стали в большей мере зависеть от информации из Нортонстоу, и роль Нортонстоу возросла еще больше. Но и в Нортонстоу были свои затруднения.

Джон Мальборо получил новые результаты, которые показались всем невероятными, однако он уверял, что не ошибся. Чтобы не зайти в тупик, решили, что работа будет повторена Лестером, который занимался проблемой связи. Работа была проделана заново, и спустя десять дней Лестер докладывал на многолюдном собрании.

— Вернемся немного назад. Когда Облако было впервые обнаружено, мы выяснили, что оно движется по направлению к Солнцу со скоростью несколько меньшей, чем семьдесят километров в секунду. Было установлено, что скорость должна постепенно увеличиваться по мере при-

ближения к Солнцу и что конечная скорость должна быть порядка восьмидесяти километров в секунду. Наблюдения, сделанные Мальборо две недели назад, показали, что Облако ведет себя не так, как мы предполагали. Вместо того чтобы ускоряться по мере приближения к Солнцу, оно на самом деле замедляется. Как вы знаете, было решено повторить наблюдения Мальборо. Лучше всего показать несколько диапозитивов.

Единственный, кого эти снимки порадовали, был Мальборо. Его работа получила подтверждение.

— Но, черт побери, — сказал Вейхарт. — Облако должно ускоряться в гравитационном поле Солнца.

— Если оно не отдает каким-либо способом свой импульс, — возразил Лестер. — Взгляните еще раз на последний снимок. Видите эти маленькие зернышки вот здесь? Они так малы, что можно их принять за дефект на снимке. Но если они действительно существуют, то скорость их должна быть около пятисот километров в секунду.

— Интересно, — пробормотал Кингсли. — Вы хотите сказать, что Облако выстреливает маленькие сгустки вещества с очень большой скоростью и таким образом замедляется?

— Может быть и так, — ответил Лестер.

— По крайней мере такое объяснение согласуется с законами механики и является до некоторой степени разумным.

— Но почему Облако ведет себя таким чертовски странным образом? — спросил Вейхарт.

Паркинсон присоединился к Марлоу и Кингсли, когда они гуляли днем в саду.

— Интересно, изменится что-нибудь существенным образом из-за этого нового открытия? — сказал он.

— Трудно сказать, — ответил Марлоу, пуская клубы дыма. — Рано что-нибудь говорить. Теперь мы должны смотреть в оба.

— Наше расписание может измениться, — заметил Кингсли. — Мы считали, что Облако достигнет Солнца в начале июля, но если торможение будет продолжаться, это может отодвинуть сроки. Все начнется, может быть, в конце июля или даже в августе. И я теперь не уверен в наших оценках температуры внутри Облака. Изменение скорости изменит и температуру.

— Правильно я понял, что Облако замедляется таким же способом, как ракета — выбрасывает вещество с большой скоростью? — спросил Паркинсон.

— Похоже на то. Мы только что обсуждали возможные причины такого явления.

— Что же вы думаете на этот счет?

— Вполне вероятно, — продолжал Марлоу, — что внутри Облака действуют очень сильные магнитные поля. Уже наблюдались исключительно большие возмущения магнитного поля Земли. Может быть, конечно, они вызваны солнечными корпускулярными потоками, как обычная магнитная буря. Но мне кажется, мы испытываем влияние магнитного поля Облака.

— И по-вашему, все явления связаны с магнетизмом?

— Да, может быть. Целый ряд явлений может быть обусловлен взаимодействием магнитных полей Солнца и Облака. Сейчас еще не ясно, что именно происходит, но из всех объяснений, которые можно придумать, это выглядит самым вероятным.

Они завернули за угол дома и увидели коренастого человека, который снял перед ними кепку.

— Добрый день, джентльмены.

— Прекрасная погода, Стоддарт. Ну, как сад?

— Да, сэр, прекрасная погода. Помидоры уже поспевают. Никогда раньше такого не бывало, сэр.

Когда они отошли, Кингсли сказал:

— Откровенно говоря, если бы у меня была возможность поменяться с этим малым местами на ближайшие три месяца, честное слово, я бы ни минуты не колебался. Какое облегчение не видеть ничего вокруг, кроме зреющих помидоров!

Остаток июня и весь июль на всем земном шаре температура непрерывно поднималась. На Британских островах жара перевалила за 30° Цельсия и продолжала увеличиваться. Люди страдали от зноя, но серьезного беспокойства не возникало.

Количество жертв в США оставалось совсем небольшим, главным образом благодаря широкому использованию аппаратов для кондиционирования воздуха. По всей стране температура приближалась к летальному пределу, и люди были вынуждены неделями не выходить из дома.

Иногда аппараты для кондиционирования воздуха отказывали, и это приводило к самым плачевным последствиям.

Отчаянное положение сложилось в тропиках, это видно из того, что 7943 вида растений и животных полностью вымерли. Люди продолжали существовать лишь потому, что укрывались в пещерах и погребках. Не было никаких путей уменьшить непереносимый зной. Неизвестно, сколько людей погибло за это время. Можно только сказать, что всего за время нахождения Облака вблизи Солнца погибло более семисот миллионов человек. И если бы не различные благоприятные обстоятельства, о которых еще будет идти речь, число это было бы значительно больше.

Затем поднялась и температура воды на поверхности морей, не так, как температура воздуха, но достаточно, чтобы увеличение влажности приняло угрожающие размеры. Именно увеличение влажности привело к трагедии, которая была только что описана. Миллионы людей в широтах между Каиром и мысом Доброй Надежды жили в душной парильне, где температура и влажность неумолимо росли день ото дня. Всякие передвижения людей прекратились. Человеку ничего не оставалось, как только лежать, часто и тяжело дыша, как собака в жаркую погоду.

К четвертой неделе июля условия в тропиках колебались между жизнью и смертью всех обитателей. Затем внезапно надо всей землей стали собираться дождевые тучи. Через три дня уже нельзя было найти ни одного просвета. Земля окуталась толстым слоем облаков, как планета Венера. Жара немного спала — облака отражали больше солнечных лучей. Однако нельзя сказать, чтобы условия улучшились. По всей Земле прошли теплые дожди, даже на далеком Севере в Исландии. Необычайно возросло количество насекомых, так как для них жара настолько же полезна, насколько она губительна для человека и других млекопитающих.

Растения небывало разрослись. Пустыни зацвели, как они никогда не цвели за все время, пока человек существует на Земле. По иронии судьбы, однако, никакой пользы от неожиданного плодородия ранее бесплодных земель получить не удалось. Поля засеяны не были. Только на Северо-Западе Европы и на Крайнем Севере люди были в состоянии трудиться, во всех других местах они просто старались не умереть. Венец творения был поставлен на колени средой, в которой он жил, той самой средой, способностью

управлять которой он так кичился последние пятьдесят лет.

Но, хотя улучшений не было, хуже тоже не становилось. При частичном или полном отсутствии пищи, но теперь с избытком воды многие из тех, кто попал в эту страшную жару, умудрились выжить. Смертность достигла невероятных размеров, но она перестала увеличиваться.

За неделю до того, как облачный покров окутал Землю, в Нортонстоу было сделано открытие, представляющее определенный астрономический интерес. При столь драматических обстоятельствах было подтверждено существование на Луне пылевых вихрей.

Увеличение температуры сделало обычно прохладное английское лето тропически жарким, но не больше. Трава вскоре выгорела и цветы погибли. По сравнению с уровнем, существовавшим на всей Земле, можно было считать, что Англии просто повезло, несмотря на то, что температура днем поднималась до 38° , а ночью падала только до 32° . Морские курорты были переполнены и все побережье было забито прицепными домиками спасающихся от жары людей.

В Нортонстоу теперь было убежище с кондиционированным воздухом, и все большая часть обитателей замка располагалась в нем на ночь. В остальном все шло по-прежнему, только прогулки теперь совершались ночью, а не днем.

Однажды лунной ночью Марлоу, Эмерсон и Йенсен гуляли неподалеку от дома и вдруг заметили, что свет Луны изменился. Взглянув вверх, Эмерсон сказал:

— Знаете, Джефф, это чертовски странно. Я не вижу никаких облаков.

— Вероятно, это частички льда на большой высоте.

— В такую жару!

— Да, вряд ли.

— И кристаллики льда не могут дать такого странного желтого цвета,— добавил Йенсен.

— Тогда остается только одно. Сомневаешься — посмотри. Давайте пойдем на телескоп.

Они отправились к куполу Шмидта. Марлоу направил шестидюймовый поисковый телескоп на Луну.

— Боже,— воскликнул он,— она вся бурлит!

Эмерсон и Йенсен взглянули по очереди. Затем Марлоу сказал:

— Надо пойти в дом и всех позвать. Такое зрелище можно увидеть лишь раз в жизни. Я хочу получить снимки на самом Шмидте.

Энн Холси присоединилась к группе, поспешившей к телескопу в ответ на настойчивые приглашения Эмерсона и Йенсена. Когда до нее дошла очередь смотреть в поисковый телескоп, Энн не представляла себе, что она может там увидеть. Правда, у нее были самые общие представления о серой, изрытой безжизненной поверхности Луны, но она не была знакома с лунной топографией. Энн не улавливала смысла взволнованных восклицаний, которыми обменивались астрономы, и подошла к телескопу скорее из чувства долга. По мере того как Энн наводила на фокус, перед ее глазами предстал совершенно фантастический мир. Луна была лимонно-желтого цвета. Обычно четкие детали были размыты гигантским облаком, распространившимся за границы ее диска. В облако вливались потоки, исходящие из более темных участков, которые все время рвались на части и мерцали поразительным образом.

— Хватит, Энн. Мы хотим посмотреть, пока ночь не кончилась, — сказал кто-то. Она неохотно уступила место.

— Что это значит, Крис? — спросила Энн у Кингсли, когда они шли к убежищу.

— Вы помните, мы говорили, что Облако замедляется? Что оно замедляется по мере приближения к Солнцу, вместо того чтобы ускоряться?

— Помню, все еще беспокоились из-за этого.

— Так вот, Облако замедляется, выбрасывая сгустки газа с очень большой скоростью. Мы не знаем, почему и как это происходит, но данные Мальборо и Лестера определенно говорят об этом.

— Не хотите ли вы сказать, что один из этих сгустков попал в Луну?

— Именно это я и думаю. Темные участки — гигантские вихри пыли, вихри, возможно, в две или три мили высотой. Все дело в том, что давление газа, движущегося с большой скоростью, подняло пыль на сотни миль над поверхностью Луны.

— А может один из этих сгустков попасть в нас?

— Не думаю, что вероятность этого велика. Земля

слишком маленькая мишень. Но Луна еще меньше, и все же один из них в нее угодил.

— Что произойдет, если...?

— Если попадет в нас? Не хочется думать об этом. Мы беспокоились, что может случиться, если Облако ударится о нас, двигаясь со скоростью пятьдесят километров в секунду. Было бы гибельно, если бы один из этих сгустков столкнулся с нами, ведь его скорость чуть ли не тысяча километров в секунду. Боюсь, что вся земная атмосфера просто улетучилась бы в космическое пространство, подобно тому, как это произошло с лунной пылью.

— Чего я в вас не пойму, Крис, так это, как вы можете, зная такие вещи, уделять столько внимания политике и политикам. Это кажется таким незначительным и мелким.

— Энн, дорогая моя, если бы я все время думал о сложившейся ситуации, я бы сошел с ума за несколько дней. Одни сошли бы с ума. Другие спились бы. Я ухожу от этого кошмара, кидаясь на политиков. Старина Паркинсон прекрасно знает, что мы с ним просто участвуем в игре. Но, по правде сказать, теперь жизнь измеряется часами.

Она придвинулась ближе к нему.

— Или,— прошептал он,—говоря словами поэта:

Поцелуй меня нежно и крепко,
Наша жизнь ведь так коротка.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ОБЛАКО НАДВИНУЛОСЬ

С конца июля в Нортонстоу были введены ночные дежурства. Джо Стоддарт, естественно, участвовал в них, потому что его работа садовника к этому времени прекратилась. Садоводство — неподходящий вид деятельности в условиях тропической жары.

Случилось так, что в ночь на 27 августа была как раз его очередь дежурить. В течение ночи ничего не произошло. Тем не менее, в семь тридцать утра Джо робко постучался

в дверь комнаты Кингсли. Предыдущим вечером Кингсли в компании с другими изрядно выпил. Поэтому сначала он никак не мог понять, чего хочет от него садовник. Постепенно он начал осознать, что весельчак Джо на этот раз весьма озабочен.

— Нету, сэр, нету!

— Чего нет? Принесите мне, ради бога, чашку чаю. У меня во рту, как на дне клетки с попугаями.

— Чашку чаю, сэр! — Джо было заколебался, но потом опять принялся за свое: — Вы же сказали, сэр, я должен докладывать обо всем необычном, а его и вправду нету.

— Вот что, Джо, при всем моем к вам уважении, должен сказать вам совершенно серьезно, что я распотрошу вас сейчас на этом самом месте, если вы не скажете мне, чего это такого нет.

Затем Кингсли медленно и громко произнес: «ЧЕ-ГО НЕТ?»

— Дня, сэр! Нету Солнца!

Кингсли схватил часы. Было 7 часов 42 минуты утра, конец августа, когда рассвет наступает задолго до этого часа. Он выскочил из убежища наружу. Кромешная тьма, даже свет звезд не мог проникнуть через сплошной облачный покров. Казалось, повсюду воцарился какой-то бессмысленный первобытный страх. Свет покинул мир.

В Англии и других странах Запада ночь смягчила удар: момент исчезновения солнечного света совпал там как раз с ночными часами. Вечером Солнце, как обычно, закатилось, однако восемь часов спустя оно уже не взошло. За это время Облако достигло Солнца и закрыло его.

Населению восточного полушария довелось в полной мере пережить ужас исчезновения света. Кромешная тьма опустилась на них среди дня. В Австралии, например, небо стало темнеть около полудня, и к трем часам нигде не было уже ни малейшего проблеска света, кроме тех мест, где включили искусственное освещение. Во многих крупных городах мира начались беспорядки.

Три дня Земля была погружена в полную темноту. Исключение составляли страны, где люди обладали техническими возможностями, чтобы обеспечить себя искусственным освещением. Лос-Анжелос и другие американские города жили при ярком свете миллионов электрических ламп. Однако это отнюдь не спасало американский

народ от ужаса, охватившего все человечество. В самом деле, у американцев было больше времени и возможностей следить за происходящим, они толпились у телевизоров и ожидали последних официальных сообщений от властей, не способных ни понять, ни контролировать ход событий.

Через три дня произошли некоторые перемены. Днем небо опять светлело и стали выпадать дожди. Сначала дневной свет был совсем тусклый, но день за днем светлело, пока, наконец, освещение не стало похожим на нечто среднее между обычным ясным днем и лунной ночью. Но этот свет не принес людям душевного облегчения — его темно-красный оттенок с несомненностью указывал, что это не естественный свет.

Дожди сначала были теплые, но температура медленно и неуклонно понижалась. В то же время интенсивность ливней стремительно нарастала. Пока стояла жара, в воздухе накопилось громадное количество влаги. С понижением температуры, которое началось с исчезновением солнечного света, все больше и больше этой влаги стало выпадать в виде дождя. Реки быстро поднялись и вышли из берегов, разрушая дороги и лишая крова бесчисленное множество людей. Трудно описать состояние миллионов людей во всем мире, застигнутых неумными ливнями после нескольких недель изнуряющей жары. А с неба струился тусклый темно-красный, какой-то потусторонний свет и отражался в потоках воды.

Но еще страшнее этого потопа были пронесшиеся над Землей яростные бури. При конденсации водяных паров в дождевые капли в атмосфере высвободилось совершенно беспримерное количество энергии. Это вызвало огромные колебания атмосферного давления, приведшие к ураганам невиданной, невероятной силы.

Усадьба в Нортонстоу сильно пострадала во время одного из таких ураганов. При этом под обломками погибли двое рабочих. Однако этой трагедией дело не ограничилось. Кнут Йенсен и его Грета, та самая Грета Йохансен, которой Кингсли писал в свое время, попали в жестокую грозу и были убиты упавшим деревом. Их похоронили вместе неподалеку от старого дома.

А температура все падала и падала. Дождь постепенно сменился снегом. Затопленные поля покрылись льдом, а к

концу сентября даже бурные реки превратились в недвижные каскады льда. Снеговой покров медленно распространялся, подбираясь к тропикам. И к тому времени, как вся Земля была скована морозом и льдом и покрыта снегом, небо очистилось от облаков. Люди снова увидели вселенную.

Теперь уже было очевидно, что таинственный красный свет исходил не от Солнца. Свет распределялся почти равномерно от горизонта до горизонта, а не шел из какой-то одной точки. Каждый участок дневного неба, казалось, слабо тлел, испуская тусклое красное сияние. По радио и телевидению сообщили, что свет исходит не от Солнца, а от Облака. Это объясняется, говорили ученые, нагревом Облака при его соприкосновении с Солнцем.

К концу сентября передний чрезвычайно разреженный край Облака достиг Земли. При этом, как и было предсказано в докладе из Нортонстоу, верхние слои земной атмосферы начали разогреваться. Но пока еще газ был слишком разреженный, чтобы вызвать нагрев до сотен тысяч или миллионов градусов. Все же температура верхних слоев атмосферы поднялась до нескольких десятков тысяч градусов, а этого было уже достаточно, чтобы оттуда начал исходить мерцающий синий свет, хорошо видимый с Земли ночью. Ночи стали неописуемо прекрасными, однако едва ли кто-нибудь по-настоящему мог оценить эту красоту: ведь человек способен в полной мере наслаждаться прекрасным, только если у него спокойно на душе. Разве что на севере какой-нибудь привычный ко всему пастух, охраняя свои стада, всматривался, быть может, с изумлением и благоговейным трепетом в испещренное фиолетовыми полосами ночное небо.

Так это и продолжалось: сумрачные красные дни и светящиеся синие ночи, и ни Солнце, ни Луна не имели к этому никакого отношения. И все ниже и ниже падала температура.

За это время погибли массы людей во всех странах, кроме самых развитых. Сначала несколько недель стоял почти невыносимый зной. Затем многие умерли во время бурь и наводнений. С наступлением сильных холодов люди стали гибнуть от воспаления легких. За время с начала августа до первой недели октября вымерла примерно четверть всего населения планеты. Невыносимое горе выпало на долю бесчисленных семей. Смерть без-

жалостно и неотвратно навеки разлучала мужа с женой, родителей с детьми, влюбленного с возлюбленной.

Премьер-министр был зол на ученых из Нортонстоу. Гнев даже заставил его туда поехать. В дороге он продрог и измучился, что отнюдь не улучшило его настроения.

— Выясняется, что правительство было совершенно дезориентировано,— сказал он Кингсли.— Сначала вы говорили, что критическое положение будет длиться один месяц, не больше. Так вот, оно уже длится больше месяца, а конца все не видно. Когда же можно ожидать прекращения всей этой истории?

— Не имею ни малейшего представления,— ответил Кингсли.

Премьер-министр сердито посмотрел на Паркинсона, Марлоу, Лестера и затем, уже совсем свирепо,— на Кингсли.

— Чем же, я вас спрашиваю, объяснить столь грубую дезинформацию? Нужно ли напоминать, что Нортонстоу были предоставлены все возможности? Не будет преувеличением сказать, что вы тут как сыр в масле катаетесь. За это мы в праве ожидать от вас полной научной компетентности. Должен сказать, что условия жизни здесь значительно лучше тех, в которых вынуждено работать само правительство.

— Конечно, условия здесь гораздо лучше. Они лучше потому, что мы предвидели то, что сейчас происходит.

— Кажется, это единственное предвидение, на которое вы оказались способны, и предвидение к собственной выгоде и безопасности.

— В этом мы старались не отставать от нашего правительства.

— Я не понимаю вас, сэр.

— Тогда давайте я изложу обстановку более ясно. Когда начал обсуждаться вопрос об Облаке, главной заботой вашего правительства, да и других правительств, насколько мне известно, было воспрепятствовать распространению фактов. На самом деле вся эта секретность была нужна, конечно, только для того, чтобы не дать народу подобрать себе более деятельных руководителей.

Теперь премьер-министр рассвирепел окончательно.

— Скажу вам без обиняков, Кингсли: я считаю себя вынужденным, вернувшись в Лондон, сделать некоторые шаги, которые едва ли вас обрадуют.

Паркинсон заметил, как непринужденно-насмешливый тон Кингсли внезапно стал жестким.

— Боюсь, вам не придется возвращаться в Лондон, вы останетесь здесь.

— Я не могу поверить, что даже такой человек, как вы, профессор Кингсли, может настолько обнаглеть, чтобы ему пришлось в голову арестовать меня!

— Что вы, мой дорогой премьер-министр, почему же арестовать,— сказал Кингсли с улыбкой.— Имеется в виду совсем другое. Если положение станет критическим, вы будете в гораздо большей безопасности в Нортонстоу, чем в Лондоне. Давайте так и говорить — мы считаем целесообразным в интересах всего общества, конечно, чтобы вы оставались в Нортонстоу. А теперь, я думаю, лучше нам с Лестером и Марлоу оставить вас с Паркинсоном наедине; у вас, без сомнения, найдется много о чем поговорить.

Марлоу и Лестер вышли из комнаты вслед за Кингсли. Они были несколько ошеломлены.

— Крис, но ведь этого нельзя делать,— сказал Марлоу.

— Можно и нужно. Отпустить его обратно в Лондон — это значит подвергнуть опасности жизнь каждого, кто находится здесь, начиная с вас, Джефф, и кончая Джо Стоддардом. Я просто обязан не допустить этого. Видит бог, у нас и без того положение не из блестящих.

— Но если он не вернется в Лондон, они пошлют за ним.

— Не пошлют. Мы сообщим по радио, что дороги здесь временно стали непроходимыми, и поэтому его возвращение откладывается на несколько дней. Температура опускается сейчас так быстро, что через несколько дней дороги на самом деле будут непроходимы. Помните, я говорил вам, еще когда мы беседовали в пустыне Мохаве, о том, что температура резко снизится; вот это сейчас и происходит.

— Не понимаю. Ведь непохоже, чтобы опять возобновились снегопады.

— Конечно, нет. Но скоро температура опустится так

низко, что двигатели внутреннего сгорания не смогут работать. Прекратится всякое движение по земле и по воздуху. Я понимаю, конечно, можно сделать специальные двигатели, но пока с этим справятся, положение настолько ухудшится, что никому уже не будет никакого дела до того, в Лондоне ли премьер-министр или где-нибудь еще.

— Пожалуй, вы правы, — сказал Лестер, — нужно только поводить их за нос около недели, а потом все будет в порядке. Должен сказать, мне совсем не улыбается, чтобы нас выкинули из нашего уютного убежища, да еще после того, как мы положили на него столько трудов.

Паркинсону не часто доводилось видеть премьер-министра во гневе. Прежде в таких случаях он отделялся поддакиванием, считая, что самый простой выход — не возражать. Однако на этот раз он чувствовал, что должен принять на себя полный заряд ярости премьер-министра.

— Простите, сэр, — сказал он, послушав несколько минут, — но боюсь, что вы сами вызвали это. Вам не следовало упрекать Кингсли в некомпетентности. Обвинение было несправедливым.

Премьер-министр взорвался.

— Несправедливым! Да вы понимаете, Фрэнсис, — закричал он, брызгая слюной, — что исходя из предсказанного Кингсли одного месяца, мы не сделали специальных запасов топлива? Понимаете вы, в каком положении мы оказались?

— То, что кризис будет продолжаться один месяц, высчитал не только Кингсли. То же самое нам сообщили из Америки.

— Ошибки одних никогда не оправдывают ошибок других.

— Я не согласен, сэр. Я ведь хорошо помню, что мы в Лондоне часто были склонны воспринимать обстановку не слишком серьезно. В докладах Кингсли всегда был тревожный оттенок, которого мы не хотели замечать. Мы всегда старались убедить себя, будто на самом деле все обстоит лучше, чем кажется. Мы никогда не учитывали

возможности, что все может обернуться, наоборот, хуже, чем тогда казалось. Кингсли, возможно, ошибался, но он был ближе к истине, чем мы.

— Но почему он ошибся? Почему все ученые ошиблись? Вот что я пытался узнать, и никто мне этого так и не объяснил.

— Они бы объяснили, если бы вы потрудились спросить, вместо того, чтобы грозиться снести им головы.

— Я начинаю думать, что вы жили здесь, пожалуй, слишком долго, Фрэнсис.

— Я живу здесь достаточно долго, чтобы осознать, что ученые не претендуют на непогрешимость, и только мы, дилетанты, можем считать их выводы непогрешимыми.

— Ради бога, перестаньте философствовать, Фрэнсис. Будьте так добры, расскажите мне, наконец, в чем была ошибка.

— Ну, насколько я понимаю, Облако ведет себя так, как никто не ожидал, и причину этого никто не может понять. Все ученые ожидали, что скорость его будет возрастать по мере приближения к Солнцу, что оно пролетит мимо Солнца и станет удаляться. Вместо этого оно замедлило движение, и когда достигло Солнца, практически остановилось вообще. И теперь, вместо того, чтобы унести в мировое пространство, оно просто торчит около Солнца.

— Но сколько оно еще там пробудет? Вот что я хочу знать.

— Никто не может сказать этого. Оно может оставаться здесь неделю, месяц, год, тысячелетие или миллионы лет. Никто этого не знает.

— Но, боже мой, послушайте, вы понимаете, что говорите? Если Облако не улетит, мы пропали.

— Вы думаете, Кингсли этого не знает? Если Облако останется еще на месяц, погибнет очень много людей, но и выживет порядочно. Если оно останется два месяца, выживет очень немного людей. Если оно останется три месяца, мы здесь в Нортонстоу умрем, несмотря на то, что все было хорошо подготовлено, и мы будем умирать одними из последних на Земле. Если оно останется год, ничто живое на всей планете не уцелеет. Как я уже говорил, Кингсли все это знает, вот почему он относится не особенно серьезно к политическим аспектам дела.

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

Хотя в то время никто и не сознавал этого, приезд премьер-министра совпал с самыми тяжелыми днями в истории Черного облака. Первые признаки улучшения обстановки были замечены радиоастрономами, которые ни на минуту не прекращали своих наблюдений, несмотря на то, что приходилось работать на открытом воздухе в невыносимых условиях. 6 октября Джон Мальборо созвал совещание. Прошел слух, что будет сообщено нечто интересное, поэтому собралось много народу.

Мальборо рассказал, что за последние десять дней количество газа между Землей и Солнцем непрерывно уменьшалось, примерно вдвое за каждые три дня. Если бы это продолжалось еще две недели, Солнце засияло бы в полную силу, но никакой уверенности в том, что так будет продолжаться дальше, конечно, не было.

Мальборо спросили, не собирается ли Облако покинуть Солнце.

— Таких признаков нет, — ответил он. — Создается впечатление, будто вещество Облака распределяется таким образом, чтобы Солнце могло светить только в нашу сторону, но ни в какую другую.

— Не чересчур ли это смело — надеяться, что Облако будет пропускать свет как раз в нашу сторону? — спросил Вейхарт.

— Это странно, конечно, — ответил Мальборо. — Но я только привожу вам факты. Я никак их не объясняю.

Премьер-министр сказал:

— Разрешите, я перейду на обычный язык. Правильно ли я понял, что кризис должен кончиться через две недели?

— Если все будет развиваться таким же образом, — ответил Мальборо.

— Тогда вы должны провести тщательные наблюдения и сделать выводы.

— Глубокая идея! — вырвалось у Кингсли.

Нужно сказать, что никогда за всю историю науки не делалось более ответственных измерений, чем те, которые были выполнены радиоастрономами в последующие дни. Построенная ими на основании полученных данных кри-

вая была буквально кривой жизни или смерти: спад ее означал жизнь, подъем — смерть.

Каждые несколько часов наносилась новая точка. И ночью, и сумрачным тусклым днем все, кто понимал смысл происходящего, нет-нет да подходили взглянуть на новую появившуюся на графике точку. В течение четырех дней и ночей кривая продолжала понижаться, но на пятый день спад уменьшился, однако на шестой день вновь появились признаки сильного понижения. Никто ни с кем не разговаривал, перебрасывались изредка только случайными отрывистыми фразами. Напряжение достигло предела. На седьмой день спад продолжался, а на восьмой день кривая поползла вниз круче, чем когда-либо раньше. Страшное напряжение сменилось бурной радостью.

Кривая продолжала идти вниз, а это значило, что уменьшается количество газа между Землей и Солнцем. 19 октября на дневном небе появилось желтое пятно. Оно было еще тусклым, но перемещалось по небесному своду. Без сомнения, это было Солнце, появившееся впервые с начала августа, едва просвечивающее еще сквозь слой газа и пыли. Но этот слой становился все тоньше и тоньше. К 24 октября над замерзшей Землей Солнце вновь засияло в полную силу.

Те, кому приходилось встречать восход солнца после холодной ночи в пустыне, могут хоть в какой-то мере представить себе радость, охватившую людей 24 октября 1965 года. Несколько слов нужно сказать о религии. По мере приближения Облака бурно расцветали все виды религиозных верований. Всю весну свидетели Иеговы полностью затирали любых других ораторов в Гайд-Парке. Изумленные священники в Англии читали проповеди в переполненных церквах, чего ранее никогда не бывало. Все это кончилось 24 октября. Мужчины и женщины всех вероисповеданий — христиане, магометане, буддисты, индуисты, евреи и атеисты — глубоко прониклись чувствами своих предков-солнцепоклонников. Правда, поклонение Солнцу не стало настоящей религией, ведь некому было его организовать и направлять, но некий оттенок древней религии появился и никогда больше не исчезал.

Первыми оттаяли тропики. С рек сошел лед. Таяние снега сопровождалось паводками, но они не шли ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Северная Америка и Европа оттаяли лишь частично до уровня, обычного для наступавшей зимы.

Хотя городское население в странах с развитой индустрией немало пострадало, но ему не довелось переносить того, что выпало на долю народам в странах слаборазвитых, у которых не было ни промышленности, ни запасов энергии. Нужно отметить, однако, что все резко изменилось бы, если бы холод стал сильнее; улучшение произошло как раз тогда, когда и в передовых странах промышленность находилась на грани гибели.

Как это ни удивительно, сильнее всего пострадало от холода население тропиков, а меньше всего — эскимосы. Во многих районах тропиков и субтропиков погиб каждый второй. Среди эскимосов смертность была сравнительно невелика — немногим больше, чем в обычное время. На дальнем Севере в период жары повышение температуры не было столь значительным. Эскимосы в то время испытывали лишь некоторые неудобства, не более того. Таяние льда и снега сильно ограничило свободу их передвижения и, следовательно, уменьшило пространство, на котором они могли охотиться. Но жара в тех местах не была губительной. Не вызвал больших потерь и холод. Они просто зарылись в снег и пережидали. При этом они находились во многих отношениях в лучшем положении, чем обитатели Англии.

Премьер-министр вернулся в Лондон, не испытывая к Нортонстоу такого враждебного чувства, как можно было ожидать. Во-первых, он перенес кризис в гораздо лучших условиях, чем на Даунинг-стрит. Во-вторых, он вместе с учеными Нортонстоу пережил страшные дни, полные тревоги, а совместно перенесенные испытания всегда располагают людей друг к другу.

Перед отъездом премьер-министру разъяснили, что в целом инцидент еще не исчерпан. На обсуждении, состоявшемся в одной из лабораторий, перенесенных в убежище, все согласилось с тем, что Облако теперь приняло форму диска, очень сильно наклоненного к эклиптике.

— Все-таки во всем этом есть очень много непонятного для меня, — сказал Кингсли. — Кстати, каков, по вашему мнению, наружный радиус диска?

— Около трех четвертей радиуса земной орбиты, он приблизительно равен радиусу орбиты Венеры, — ответил Мальборо.

— Когда мы говорим, что Облако сплющивается в диск, мы, конечно, выражаемся неточно. Мы хотим сказать, что большая часть вещества приняла форму диска. Но должно оставаться также много вещества, распределенного по всей земной орбите. Это ясно хотя бы из того, что наша атмосфера постоянно соприкасается с веществом Облака.

— Да, слава богу, образовался диск, а то мы до сих пор не видели бы Солнца, — сказал Паркинсон.

— Но помните, что мы не всегда будем оставаться сбоку от диска, — сказал Кингсли.

— Как это понимать? — спросил премьер-министр.

— Просто-напросто Земля, двигаясь вокруг Солнца, войдет в тень, отбрасываемую диском. Конечно, мы выйдем из тени снова.

Премьер-министр был обеспокоен, и не без оснований.

— А можно узнать, как часто это будет происходить?

— Два раза в год! Согласно теперешнему положению диска, в феврале и в августе. Продолжительность солнечного затмения будет зависеть от толщины диска. Вероятно, затмение будет длиться от двух недель до месяца.

— Все это чревато последствиями, — вздохнул премьер-министр.

— В первый раз я с вами согласен, — заметил Кингсли. — Но жизнь на Земле не становится невозможной, хотя условия будут весьма тяжелыми. Прежде всего, люди должны теперь жить очень большими группами вместе. Мы не сможем больше жить в отдельных домах.

— Не понял.

— Ну, ведь потери тепла в домах происходят через поверхность. Это ясно?

— Да, конечно.

— С другой стороны, число людей, которое может жить в доме, пропорционально его объему. Так как отношение поверхности к объему для больших домов гораздо меньше, чем для маленьких, то в больших домах люди могут жить с меньшими затратами горючего на жильца. Если в дальнейшем периоды похолодания будут бесконечно повторяться, наши топливные ресурсы не допустят другой организации жилья.

— Почему вы говорите «если»? — спросил у Кингсли Паркинсон.

— Потому что произошло слишком много странного. Я не могу уверенно предвидеть будущее, пока не пойму того, что уже случилось.

— Могут произойти весьма существенные изменения климата, — заметил Марлоу. — Хотя в ближайший год или два особых изменений, наверное, не будет, мне кажется, они обязательно произойдут в дальнейшем, если дважды в год будут повторяться эти затмения Солнца.

— Что вы хотите сказать, Джефф?

— Я хочу сказать, что не миновать нам нового ледникового периода. Прошедшие ледниковые периоды показали, сколь чувствительно сбалансирован климат на Земле. Сильное похолодание два раза в год, один раз зимой и один раз летом, должно сместить равновесие в сторону нового ледникового периода.

— Вы хотите сказать, что ледяной покров распространится на Европу и Северную Америку?

— Это безусловно должно произойти, хотя и не в ближайшие год или два. Процесс будет медленный. Как говорит Крис Кингсли, человек должен прийти к соглашению с окружающей средой. И мне кажется, не все условия этого соглашения будут человеку по вкусу.

— Существующие океанские течения могут не сохраниться, — сказал Кингсли. — Если такие изменения произойдут, последствия могут оказаться губительными. А это может случиться очень скоро, скорее, чем наступит ледниковый период.

Премьер-министр почувствовал, что с него довольно.

В течение ноября пульс жизни усилился. И по мере того, как правительства осваивались с положением, все нужнее становилась связь между странами и внутри стран. Телефонные линии и кабели были отремонтированы. Но в основном люди пользовались радиосвязью. Вскоре длинноволновые радиостанции работали уже нормально, но с их помощью нельзя было, разумеется, осуществлять дальнюю связь. Для этого необходимо использовать короткие волны. Но по причинам, которые были вскоре найдены, коротковолновая радиосвязь вышла из строя. Оказалось, что атмосфера на высотах около восьмидесяти

километров необычайно сильно ионизирована. Это привело к существенному затуханию радиоволн, как называют радиоинженеры. Высокая степень ионизации была вызвана излучением сильно нагретых верхних слоев атмосферы: небо из-за этого излучения по-прежнему мерцало голубоватым светом. Итак, радиоволны поглощались в атмосфере.

Единственное, что оставалось — это уменьшать длину волн. Попытались уменьшить ее до одного метра, но поглощение продолжалось, а подходящих передатчиков, работающих на более коротких волнах, не было, так как меньшие длины волн до этого никогда широко не применялись. Затем вспомнили, что в Нортонстоу есть передатчики, которые могут работать на волнах от одного метра до сантиметра. Более того, передатчики в Нортонстоу могли передавать огромное количество информации, на что Кингсли не замедлил указать. Было решено использовать Нортонстоу в качестве всемирного информационного центра. План Кингсли наконец начал осуществляться.

Требовалось произвести чрезвычайно громоздкие вычисления и, поскольку их надо было сделать быстро, использовали электронную вычислительную машину. Задача состояла в том, чтобы найти наиболее подходящую длину волны. Если она будет слишком велика, то волна будет поглощаться. Если длина волны будет слишком мала, то радиоволны будут проходить сквозь ионосферу и устремляться в космическое пространство, вместо того чтобы огигать Землю при передаче сообщения, скажем, из Лондона в Австралию. В конце концов пришли к заключению, что наилучшая длина волны — двадцать пять сантиметров. Она представлялась достаточно короткой, чтобы не слишком поглощаться, и в то же время не слишком короткой, чтобы не так много мощности излучалось в пространство, хотя некоторые потери все равно были неизбежны.

В первую неделю декабря был введен в действие передатчик в Нортонстоу. Как и предвидел Кингсли, он мог передавать громадное количество информации. В первый день для передачи всего необходимого оказалось достаточно получаса. Вначале только у некоторых стран были подходящие передатчики и приемники, но система работала так хорошо, что вскоре многие другие страны стали поспешно налаживать оборудование. Частично из-за этого

сначала объем информации, проходящей через Нортонстоу, был невелик. Поначалу трудно было также освоиться с тем, что часовой разговор передается за малую долю секунды. Однако с течением времени разговоры и сообщения становились длиннее и подключалось все больше стран. Таким образом, продолжительность действия передатчика и приемника в Нортонстоу постепенно возросла от нескольких минут до часа в день и более.

Однажды Лестер, который заведовал системой передачи, позвонил Кингсли и попросил его прийти к нему в отдел связи.

— Что за паника, Гарри? — спросил Кингсли.

— У нас поглощение!

— Как!

— Да, самое настоящее. Посудите сами. Мы принимали сообщение из Бразилии. Посмотрите, сигнал затухает полностью.

— Невероятно. Должно быть, чрезвычайно быстро увеличивается ионизация.

— Как вы думаете, что нам делать?

— По-моему, ждать. Может быть, это случайный эффект. Похоже, что именно так.

— Если так будет продолжаться, мы можем уменьшить длину волны.

— Мы-то сможем. Но вряд ли кто-нибудь еще. Американцы смогут работать на новой длине волны очень скоро и, вероятно, русские тоже. Но сомнительно, чтобы другие страны смогли. Мы и так затратили немало усилий, пока заставили их сделать хоть такие передатчики.

— Тогда, значит, остается только держаться этой длины волны?

— Ну не думаю, что нужно пытаться передавать сообщения сейчас, ведь вы не узнаете, достигнут ли они кого-нибудь вообще. Видимо, приемник нужно оставить настроенным. Тогда мы сможем принять любое сообщение, которое до нас дойдет, если, конечно, условия станут лучше.

Ночью в небе полыхало сияние удивительной красоты. Ученые связывали его с внезапным увеличением ионизации. Наблюдались также необычайно сильные возмущения магнитного поля Земли.

Марлоу и Билл Барнет обсуждали это явление, прогуливаясь и восхищаясь сиянием.

— Господи, взгляните только на эти оранжевые полосы,— сказал Марлоу.

— Самое удивительное, Джефф, что сияние, вероятно, исходит из низко лежащих слоев. Видно по цвету. Можно было бы снять спектр, но я и так в этом уверен. По-моему, это происходит на высоте не больше восьмидесяти километров, а может быть и меньше. Это как раз та высота, на которой, по нашему убеждению, имеется избыточная ионизация.

— Я знаю, о чем вы думаете, Билл. Можно легко себе представить, что сгусток газа столкнулся с внешними слоями атмосферы. Но это привело бы к гораздо большим возмущениям. Трудно поверить, что это вызвано ударом.

— Нет, не думаю. Мне представляется более вероятным, что это электрический разряд.

— Магнитные возмущения тоже могут быть вызваны разрядом.

— Но вы понимаете, Джефф, что это значит? Это не от Солнца. Никогда раньше Солнце не вызывало подобных явлений. Если это электрические возмущения, то, должно быть, от Облака.

На следующее утро Лестер и Кингсли сразу же после завтрака поспешно направились в отдел связи. В шесть двадцать пришло короткое сообщение из Исландии. В 7 часов 51 минуту начали принимать длинное сообщение из США, но через три минуты началось поглощение, и остальная часть сообщения не была принята. Около полудня приняли короткое сообщение из Швеции, но более длинная передача из Китая прервалась из-за поглощения вскоре после двух часов.

Во время чая к Лестеру и Кингсли подсел Паркинсон.

— Пренеприятная история,— сказал он.

— Да, весьма,— ответил Кингсли.— И, кроме того, очень странная.

— Досадно, конечно. Я думал, проблема связи у нас в кармане. А что здесь странного?

— То, что мы все время находимся на грани возможности вести передачу. Иногда сообщения проходят, иногда — нет, как будто степень ионизации колеблется.

— Барнет полагает, что это электрический разряд. Разве в таком случае колебания не вполне естественны?

— Вы становитесь настоящим ученым, а, Паркинсон? — засмеялся Кингсли. — Но это не так просто, — продолжал он. — Колебания — да, но не такие, какие мы наблюдаем. Знаете ли вы, насколько они необычны?

— Нет, не знаю.

— Сообщения из Китая и США! Оба поглощены. Впечатление такое, что когда передача возможна, она едва-едва проходит. Колебания позволяют вести передачу, но она проходит на грани. Это может произойти раз, случайно, но весьма примечательно, что это повторилось дважды.

— Нет ли здесь ошибки, Крис? — Лестер грыз трубку; затем он стал ею жестикулировать. — Если происходит разряд, колебания могут быть очень быстрыми. Оба сообщения, и из США, и из Китая, были длинные, больше трех минут. Возможно, что период колебаний равен приблизительно трем минутам. Тогда мы сможем понять, почему мы получаем короткие сообщения полностью, такие, как из Бразилии и из Исландии, но не можем целиком получить длинное сообщение.

— Весьма остроумно, Гарри, но на мой взгляд это не так. Я просмотрел запись сигналов во время приема сообщения из США. Сигнал строго постоянен, пока не начинается поглощение. Это не похоже на колебания, ведь в таком случае сигнал должен был бы изменяться постепенно. Кроме того, если колебания происходят с периодом в три минуты, то почему к нам не приходит еще множество других сообщений или, по крайней мере, их отрывков? Похоже, вам нечего ответить на мое возражение.

Лестер снова принялся грызть трубку.

— Да, верно. Все это кажется чертовски странным.

— Что вы собираетесь делать? — спросил Паркинсон.

— Хорошо бы, Паркинсон, если бы вы попросили, чтобы из Лондона телефонировали по кабелю в Вашингтон и попросили их посылать сообщения по пяти минут в начале каждого часа. Тогда мы узнаем, какие сообщения потерялись, а какие нет. Вы можете также информировать другие правительства о положении дел.

За три следующих дня не пришло ни одного сообщения. Никто не знал, вызвано ли это поглощением или тем, что, сообщения просто не посылали. Такое положение ве-

шей никого не устраивало, и было решено изменить план действий. Марлоу сообщил Паркинсону:

— Мы решили как следует разобраться в этом явлении вместо того, чтобы надеяться на случайные передачи.

— Каким образом вы хотите это сделать?

— Мы направим все антенны вверх, а не почти горизонтально, как сейчас. Тогда можно будет использовать наши собственные сигналы для исследования этой необычной ионизации. Будем ловить отражения своих собственных сигналов.

Следующие два дня радиоастрономы налаживали антенны. К концу дня 9 декабря все приготовления были закончены. Целая толпа собралась в лаборатории в ожидании результатов.

— Порядок. Начали,— сказал кто-то.

— С какой длины волны начнем?

— Попробуем сначала один метр,— предложил Барнет.— Если Кингсли прав и двадцатипятисантиметровая волна находится на границе прохождения и если действительно все дело в том, что она затухает, то эта длина волны должна быть близка к критической, если направить ее вертикально вверх.

Передачик, генерирующий метровую волну, был включен.

— Она проходит,— заметил Барнет.

— Как вы узнали? — спросил Паркинсон Марлоу.

— Возвращается только очень слабый сигнал,— ответил Марлоу.— Видно на экране. Большая часть мощности поглощается или уходит через атмосферу в космос.

Следующие полчаса прошли в наблюдении и обсуждениях. Затем все оживились.

— Сигнал растет.

— Смотрите! — воскликнул Марлоу.— Он стремительно растет!

Отраженный сигнал продолжал расти около десяти минут.

— Он достиг насыщения. Сейчас он полностью отражается,— сказал Лестер.

— Похоже, вы были правы, Крис. Мы находимся, вероятно, около самой критической частоты. Отражение происходит на высоте около восьмидесяти километров, как мы и ожидали. Ионизация там, должно быть, в сто или тысячу раз выше нормы.

Еще полчаса потратили на измерения.

— Лучше посмотрим, что делается на десяти сантиметрах,— предложил Марлоу.

Переключили тумблеры.

— Мы на десяти сантиметрах. Волна свободно проходит сквозь атмосферу, как, конечно, и должно быть,— отметил Барнет.

— Осточертела мне эта наука,— сказала Энн Холси.— Пойду заварю чай. Пойдемте со мной, Крис, если вы в состоянии оставить на несколько минут свои метры и шкалы.

Немного погодя, когда они пили чай и разговаривали на общие темы, Лестер изумленно воскликнул:

— Боже праведный! Взгляните-ка!

— Невероятно!

— Но это так.

— Отражение десятисантиметровой волны увеличивается. Это значит, что ионизация растет с колоссальной скоростью,— объяснил Марлоу Паркинсону.

— Опять какая-то чертовщина.

— Выходит, ионизация увеличилась в сотни раз, хотя не прошло и часа. Невероятно.

— Давайте теперь пошлем сигнал на волне в один сантиметр, Гарри,— сказал Кингсли Лестеру.

Вместо десятисантиметрового сигнала был послан односантиметровый.

— Ну, он отлично проходит,— заметил кто-то.

— Погодите. Через полчаса и односантиметровая волна начнет отражаться, попомните мое слово,— сказал Барнет.

— Какое сообщение вы посылаете? — спросил Паркинсон.

— Никакого,— ответил Лестер.— Мы просто посылаем непрерывную волну.

Как будто это что-нибудь мне объяснило, подумал Паркинсон.

Но, хотя ученые просидели у приборов несколько часов, ничего значительного не произошло.

— Да, волна по-прежнему проходит. Посмотрим, что будет после обеда — сказал Барнет.

После обеда односантиметровая волна продолжала беспрепятственно проходить сквозь атмосферу.

— Может быть, переключим опять на десять сантиметров? — предложил Марлоу.

— Ладно, попробуем.— Лестер переключил тумблеры.— Интересно,— сказал он.— Она проходит теперь и на десяти сантиметрах. Видимо, ионизация падает, и к тому же очень быстро.

— Возможно, это образование отрицательных ионов,— проговорил Вейхарт.

Через десять минут Лестер возбужденно закричал:
— Глядите, сигнал снова растет!

Он был прав. В течение следующих нескольких минут отраженный сигнал быстро рос, приближаясь к максимальному значению.

— Теперь полное отражение. Что нам делать? Возвращаться к одному сантиметру?

— Нет, Гарри,— сказал Кингсли.— У меня есть революционное предложение пойти наверх в гостиную, выпить там кофе и послушать, что нам сыграют дивные руки Энн. Я предлагаю выключить все часа на два, а потом вернуться опять.

— Ради бога; Крис, что вы придумали?

— О, это совершенно дикая, сумасшедшая идея. Но надеюсь, вы простите мне ее в виде исключения.

— В виде исключения! — воскликнул Марлоу.— Да вам потакают, Крис, с того самого дня, как вы родились.

— Может, это и так, но едва ли ваше замечание очень вежливо, Джефф. Пошли, Энн. Вы давно собирались сыграть нам Бетховена. Опус 106*. И вот вам удобный случай.

Часа через полтора, когда в ушах у всех еще звучали аккорды Большой сонаты, компания вернулась к передатчику.

— Попробуем один метр сначала, вдруг повезет,— сказал Кингсли.

— Держу пари, что на одном метре полное отражение,— сказал Барнет, включая тумблеры.

— Нет, черт побери! — воскликнул он, когда через несколько минут приборы нагрелись.— Волна проходит. Трудно поверить, но это совершенно ясно видно на экране.

— Будете ли вы, Гарри, держать пари о том, что случится дальше?

* Речь идет о сонате Бетховена си бемоль мажор № 29, сочинение 106 (Большая соната для фортепьяно). (Прим. перев.).

— Я не буду держать пари, Крис. Это хуже, чем играть в жмурки.

— Держу пари, что снова будет насыщение.

— А можно это объяснить?

— Если насыщение будет, то да, конечно. Если этого не произойдет, то нет.

— Играете наверняка, а?

— Сигнал растет! — крикнул Барнет. — Похоже, Крис прав. Растет!

Через пять минут сигнал достиг насыщения. Он полностью отражался атмосферой, ничто не излучалось в пространство.

— Теперь попробуйте десять сантиметров, — приказал Кингсли.

В течение следующих двадцати или тридцати минут все молча и напряженно следили за приборами. Повторилась прежняя картина. Сначала отражение было очень слабым. Затем интенсивность отраженного сигнала стала быстро возрастать.

— Ну, так и есть. Сначала сигнал проникает через ионосферу. Затем через несколько минут ионизация возрастает и наступает полное отражение. Что это значит, Крис? — спросил Лестер.

— Давайте вернемся наверх и обдумаем это. Если Энн и Ив будут так добры и приготовят нам еще кофе, мы, возможно, сумеем разобраться, что к чему.

Когда варили кофе, пришел Мак-Нейл. Пока проводились эксперименты, он был у больного ребенка.

— Почему у всех такой торжественный вид? Что происходит?

— Вы как раз вовремя, Джон. Мы собираемся обсудить полученные факты, но не начинаем, пока не подали кофе.

Кофе был подан, и Кингсли начал.

— Для Джона я начну с самого начала. То, что случится с радиоволнами при передаче, зависит от двух вещей: от длины волны и от степени ионизации атмосферы. Предположим, мы выбрали определенную длину волны для передачи; рассмотрим, что произойдет при увеличении степени ионизации. При малой степени ионизации радиоизлучение будет проходить сквозь атмосферу с очень маленьким отражением. Затем, по мере увеличения степени ионизации, отражается все больше и больше энергии, затем внезапно коэффициент отражения начинает

расти очень быстро, пока вся энергия волны не начинает отражаться. Мы говорим тогда, что сигнал достигает насыщения. Это понятно, Джон?

— Более или менее. Я не понимаю только, при чем здесь длина волны.

— Просто, при меньшей длине волны, для насыщения нужна бóльшая степень ионизации.

— Значит, если одна волна может целиком отражаться атмосферой, излучение с меньшей длиной волны может почти полностью уходить в пространство.

— Совершенно точно. Но вернемся на минутку к моей определенной длине волны и к последствиям увеличения степени ионизации. Для удобства назовем это «ситуацией А».

— Что вы хотите так назвать? — спросил Паркинсон.

— Вот, что я имею в виду:

1. Сначала низкая ионизация и, следовательно, почти полная прозрачность.

2. Затем увеличение ионизации, приводящее к усилению отраженного сигнала.

3. Наконец, столь сильная ионизация, что получается полное отражение.

Вот что я называю ситуацией А.

— А в чем состоит ситуация Б? — спросила Энн Холси.

— Никакой ситуации Б нет.

— Тогда зачем вы обозначили ту буквой А?

— Спасите меня от бестолковых женщин! Я назвал ее ситуацией А, потому что мне так захотелось, понятно?

— Конечно, дорогой мой. Но почему вам этого захотелось?

— Продолжайте, Крис. Она просто вас разыгрывает.

— Ладно, вот здесь записано, что случилось сегодня днем и вечером. Позвольте мне зачитать это как таблицу.

Длина волны	Приблизительное время опыта	Результат
1 метр	14 час. 15 мин.	Ситуация А в течение приблизительно получаса
10 сантиметров	15 час. 15 мин.	Ситуация А в течение приблизительно получаса
1 сантиметр	15 час. 45 мин.	Полная прозрачность ионосферы в течение трех часов

10 сантиметров	19 час. 00 мин.	Ситуация А в течение приблизительно полу- часа
----------------	-----------------	--

Передачи прерваны с 19 час. 30 мин. до 21 час. 00 мин.

1 метр	21 час. 00 мин.	Ситуация А в течение получаса
--------	-----------------	-------------------------------

10 сантиметров	21 час. 30 мин.	Ситуация А в течение получаса
----------------	-----------------	-------------------------------

— Это выглядит вполне закономерно, когда собрано вместе,— сказал Лестер.

— Вот именно.

— Боюсь, до меня не дошло,— проговорил Паркинсон.

— И до меня тоже,— добавил Мак-Нейл.

Кингсли заговорил медленно.

— Насколько я понимаю, все это может быть объяснено очень просто с помощью одной гипотезы, но предупреждаю, это совершенно дикая гипотеза.

— Крис, перестаньте, пожалуйста, разыгрывать драму, скажите попросту, что это за дикая гипотеза.

— Хорошо. В двух словах — на любой длине волны от нескольких сантиметров и выше наши собственные сигналы автоматически приводят к увеличению ионизации, которая растет до насыщения.

— Но это просто невозможно,— покачал головой Лестер.

— Я не сказал, что это возможно,— ответил Кингсли.— Я сказал, что это объясняет факты. И это на самом деле так. Это объясняет всю мою таблицу.

— Я, кажется, немного понял, куда вы клоните,— заметил Мак-Нейл.— Значит, ионизация уменьшается, как только вы прекращаете передачу?

— Да. Когда мы прекращаем передачу, ионизирующий фактор исчезает, и ионизация очень быстро падает. Дело в том, что область ионизации располагается в данном случае ненормально низко в атмосфере, где плотность очень велика. Поэтому спад ионизации должен быть очень быстрым.

— Давайте обсудим это несколько подробнее, — начал Марлоу, чей голос доносился из клубов пахнущего ани- сом дыма. — Выходит, этот гипотетический ионизирующий фактор должен очень хорошо соображать. Пред-

положим, что мы посылаем десятисантиметровую волну. Тогда, согласно вашей гипотезе, Крис, фактор, какой бы он ни был, увеличивает степень ионизации атмосферы до уровня, при котором десятисантиметровая волна будет отражаться. И — это то, что я хотел сказать — ионизация не будет больше возрастать. Все это требует очень точной работы. Фактор должен знать, до каких пор идти и где остановиться.

— Что не слишком-то правдоподобно, — сказал Вейхарт.

— И есть еще другие трудности. Почему нам удалось так долго вести передачи на волне двадцать пять сантиметров? Это продолжалось много дней, а не полчаса. И почему вашей ситуации А, как вы ее назвали, нет в случае односантиметровой волны?

Лестер взглянул на часы.

— Прошло уже больше часа после нашей последней передачи. Если Крис прав, то мы должны получить его ситуацию А, если начнем передачу на волне десять сантиметров и один метр. Давайте попробуем.

Лестер и еще человек пять ушли к передатчику. Через полчаса они вернулись.

— Все еще полное отражение на одном метре. Ситуация А на десяти сантиметрах, — сообщил Лестер.

— Как будто, это подтверждает точку зрения Криса.

— Я в этом не уверен, — заметил Вейхарт. — Почему на одном метре не было ситуации А?

— Я могу высказать некоторые предположения, но они еще фантастичнее, так что я пока воздержусь. Дело в том, я настаиваю, именно в том, что как только мы начинаем вести передачу на десяти сантиметрах, сразу же резко возрастает ионизация, и как только мы выключаем передатчик, ионизация начинает спадать. Кто-нибудь может это отрицать?

— Я не отрицаю, пока что все обстоит так, как вы утверждаете, — проговорил Вейхарт. — Согласен, здесь не возникает никаких сомнений. Я только сомневаюсь, можно ли делать заключение о причинной связи между флуктуациями ионизации и нашими передачами.

— Вы хотите сказать, Дэйв, что все, что мы видели сегодня днем и вечером, было случайным совпадением? — спросил Марлоу.

— Да, это то, что я хочу сказать. Я согласен, вероятность такой серии совпадений чрезвычайно мала, но предлагаемая Кингсли причинная связь кажется мне абсолютно невозможной. По-моему, невероятное может случиться, но невозможное — никогда.

— Невозможное — это слишком сильно сказано, — настаивал на своем Кингсли. — И я уверен, Вейхарт в действительности не может настаивать на этом слове. Мы должны сделать выбор между двумя невероятными вещами, а я с самого начала говорил, что моя гипотеза невероятна. Более того, я считаю, что единственный способ проверить гипотезу — это проверить предсказания, которые она даст возможность сделать. Прошло около сорока пяти минут, как Гарри Лестер провел свою последнюю передачу. Предлагаю ему пойти и провести еще одну на десяти сантиметрах.

Лестер тяжело вздохнул:

— Опять!

— Я предсказываю, — продолжал Кингсли, — что повторится ситуация А. Хотел бы услышать, что предсказывает Вейхарт.

Вейхарт не хотел снова вступать в спор и решил уйти от прямого ответа. Марлоу засмеялся.

— Он вас прижал к стенке, Дэйв! Нечего теперь увиливать. Если вы правы и раньше были просто совпадения, то нужно согласиться, что вряд ли на этот раз предсказание Кингсли сбудется.

— Конечно, вряд ли, но это может случиться, как случилось раньше.

— Ну, смелее, Дэйв! Что вы предсказываете? Пойдете на пари?

И Вейхарт был вынужден сказать, что он держит пари против Кингсли.

— Отлично. Пойдемте и посмотрим, — сказал Лестер.

Когда компания выходила из комнаты, Энн Холси сказала Паркинсону:

— Не поможете ли вы мне, мистер Паркинсон, приготовить кофе? Они попросят еще, когда вернутся.

Они принялись за дело, и Энн продолжала:

— Вы слышали когда-нибудь столько разговоров? Я всегда думала, ученые — молчаливый народ, а между тем никогда еще не слышала столько болтовни. Как это Омар Хайям сказал о науке?

— Кажется, что-то в таком роде:

Я видел Землю, что Земля? Ничто.

Наука — слов пустое решето.

Семь климатов перемены — все то же.

Итог неутоленных дум — ничто.

— Меня удивляет не обилие разговоров, — продолжал Паркинсон, улыбаясь. — У нас, политиков, разговоров тоже хватает. Меня поражает, как часто они ошибаются, как часто происходит то, чего они не ожидают.

Вскоре все вернулись, и с первого взгляда было ясно, что произошло. Марлоу взял чашку кофе из рук Паркинсона.

— Благодарю. Да, так-то. Крис был прав, а Дэйв ошибался. Теперь, я полагаю, нам нужно попытаться решить, что это значит.

— Ваше слово, Крис, — сказал Лестер.

— Предположим, что моя гипотеза верна и что наши собственные передачи так заметно воздействуют на ионизацию атмосферы.

Энн Холси протянула Кингсли чашку кофе.

— Мне было бы гораздо легче, если бы я узнала, что такое ионизация. Вот, пейте, пожалуйста.

— Ну, это значит, что с атомов сдираются их внешние оболочки.

— И как это происходит?

— Это может произойти по многим причинам: при электрическом разряде, например при вспышке молнии, или в неоновой лампе — газ в таких лампах частично ионизован.

— Я полагаю, все дело в энергии? Ваша волна не обладает достаточной энергией, чтобы вызвать такое увеличение ионизации, — сказал Мак-Нейл.

— Верно, — ответил Марлоу. — Совершенно исключается, чтобы наша волна непосредственно вызвать такие флуктуации в атмосфере. Господи, да чтобы их вызвать, нужна колоссальная энергия.

— Тогда как может гипотеза Кингсли быть правильной?

— Наши передачи не являются непосредственной причиной, как сказал Джефф. Это исключено. Тут я согласен с Вейхартом. Моя гипотеза состоит в том, что наши волны играют роль спускового механизма, приводя в действие гораздо более мощный источник энергии.

— И где, по-вашему, Крис, расположен этот источник энергии? — спросил Марлоу.

— В Облаке, конечно.

— Но дико же предполагать, что Облако может действовать таким образом, причем с такой прекрасной воспроизводимостью. Вы должны тогда предположить, что Облако снабжено неким механизмом, осуществляющим обратную связь, — сказал Лестер.

— Это очевидное и прямое следствие моей гипотезы.

— Но неужели вы не понимаете, Кингсли, что это совершенная чушь? — воскликнул Вейхарт.

Кингсли посмотрел на часы.

— Самое время пойти попытаться снова, если кто-нибудь хочет. Хочет кто-нибудь?

— Ради бога, не надо! — сказал Лестер.

— Либо мы идем, либо нет. И если нет, значит мы приняли гипотезу Кингсли. Ну как, ребята, пойдем мы или останемся? — спросил Марлоу.

— Останемся, — сказал Барнет, — и посмотрим, куда нас приведет наш спор. Пока мы дошли до наличия у Облака механизма обратной связи, механизма, высвобождающего огромное количество энергии, как только в Облако снаружи проникает радиоизлучение. Следующий шаг, вероятно, рассуждение о том, как работает этот механизм и почему он работает. У кого есть соображения?

— Я считаю, — начал Кингсли, — что Облако наделено разумом. Прежде чем кто-либо захочет возражать мне, позвольте сказать, что я прекрасно понимаю всю нелепость этой мысли, и она ни на минуту не пришла бы мне в голову, если бы все другие предположения не были еще более дикими. Неужели вас не удивляет, как часто наши предсказания о поведении Облака не сбываются?

Паркинсон и Энн Холси удивленно переглянулись.

— Только в одном все наши ошибки похожат друг на друга. Все они были бы оправданны, если бы Облако было не неодушевленным сгустком газа, а чем-то живым.

ПОДРОБНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Любопытно, как сильно прогресс всего человечества зависит от отдельных личностей. Тысячи и миллионы людей кажутся организованными в некое подобие муравейника. Но это не так. Новые идеи — движущая сила всякого развития — исходят от отдельных людей, а не от корпораций или государств. Хрупкие, как весенние цветы, новые идеи гибнут под ногами толпы, но их может взлелеять какой-нибудь одинокий путник.

Среди огромного множества людей, переживших эпопею с Облаком, никто, кроме Кингсли, не дошел до ясного понимания его истинной природы, никто, кроме Кингсли, не объяснил причины посещения Облаком солнечной системы. Его первое сообщение было воспринято с открытым недоверием даже его собратьями-учеными.

Вейхарт выразил свое мнение весьма откровенно.

— Все это вздор, — сказал он.

Марлоу покачал головой.

— Вот до чего доводит чтение научной фантастики.

Мак-Нейл, врач, заинтересовался. Новая гипотеза была больше по его линии, чем всякие передатчики и антенны.

— Я хотел бы знать, Крис, что вы в данном случае подразумеваете под словом «живое».

— Видите ли, Джон, вы сами знаете лучше меня, что разница между понятиями «одушевленное» и «неодушевленное» весьма условна. Грубо говоря, неодушевленная материя обладает простой структурой и относительно простыми свойствами. С другой стороны, одушевленная, или живая, материя имеет весьма сложную структуру и способна к нетривиальному поведению. Говоря, что Облако может быть живым, я подразумеваю, что вещество внутри него может быть организовано каким-то необычным образом, и поведение этого вещества, а следовательно, и поведение Облака в целом гораздо сложнее, чем мы предполагали раньше.

— Нет ли здесь элемента тавтологии? — вмешался Вейхарт.

— Я же сказал, что такие слова, как «одушевленный» и «неодушевленный», — всего лишь условность. Если

заходить в их применении слишком далеко, тогда, действительно, получится тавтология. Если перейти к более научным терминам, мне представляется, что химия внутренних слоев Облака очень сложна — сложные молекулы, сложные структуры, построенные из этих молекул, сложная нервная деятельность. Короче говоря, я думаю, у Облака есть мозг.

Марлоу обратился к Кингсли:

— Ну, Крис, мы понимаем, что вы имеете в виду, во всяком случае, приблизительно понимаем. Теперь выкладывайте свои аргументы. Не торопитесь, выкладывайте их по одному, посмотрим, насколько они убедительны.

— Ну, что ж, приступим. Пункт первый. Температура внутри Облака как раз подходит для образования очень сложных молекул.

— Верно! Один — ноль в вашу пользу. Действительно, температура там, вероятно, несколько больше подходит для этого, чем здесь, на Земле.

— Пункт второй. Благоприятные условия для образования крупных структур, построенных из сложных молекул.

— Это почему же? — спросила Иветта Хедельфорд.

— Слипание на поверхности твердых частиц. Плотность внутри Облака так велика, что почти наверное там есть довольно крупные частицы твердого вещества; вероятнее всего — кристаллики обыкновенного льда. Я полагаю, сложные молекулы сцепляются друг с другом, оказавшись на поверхности этих частиц.

— Очень верная мысль, Крис, — согласился Марлоу.

— Нет, простите, мне непонятно, — Мак-Нейл покачал головой. — Вы говорите о сложных молекулах, образующаяся путем слипания на поверхности твердых тел. Но молекулы, из которых состоит живое вещество, имеют большую внутреннюю энергию. Все жизненные процессы основаны на этой внутренней энергии. Неувязка в вашей идее слипания в том, что так вы не получите молекул с большой внутренней энергией.

Кингсли это замечание ничуть не поколебало.

— А из каких источников получают свою внутреннюю энергию молекулы живых организмов у нас на Земле? — спросил он Мак-Нейла.

— Растения — от Солнца, а животные — от растений или, конечно, от других животных. Так что в конечном счете энергия всегда идет от Солнца.

— Ну, а откуда набирает сейчас энергию Облако?

Аргументы Мак-Нейла обернулись против него самого, и так как ни он, ни кто-либо другой, казалось, не были склонны спорить, Кингсли продолжал:

— Давайте примем доводы Джона. Допустим, этот зверь в Облаке построен из тех же молекул, что и мы с вами. Тогда для образования этих молекул нужен свет какой-нибудь звезды. Конечно, свет от звезд есть и в межзвездном пространстве, но там он слишком слаб. Поэтому, чтобы получить действительно мощный заряд энергии, зверю надо приблизиться вплотную к какой-либо звезде. Как раз это он и сделал!

Марлоу разволновался.

— Боже мой, ведь это сразу связывает три разных явления. Первое — потребность в солнечном свете. Второе — Облако держит курс прямо на Солнце. Третье — достигнув Солнца, Облако останавливается. Очень хорошо, Крис.

— Действительно, прекрасное начало, — заметила Иветта Хедельфорд, — но кое-что остается еще неясным. Я не понимаю, отчего получилось так, что Облако оказалось в межзвездном пространстве. Если ему нужен солнечный или звездный свет, значит, оно должно всегда оставаться возле какой-нибудь одной звезды. Или вы думаете, этот ваш зверь только что родился где-то в пространстве и теперь решил пристроиться к нашему Солнцу?

— И кстати, не объясните ли вы, Крис, как этот ваш зверь управляет своими запасами энергии? Как ему удавалось выстреливать сгустки газа с такой фантастической скоростью, когда он тормозил свое движение? — спросил Лестер.

— Только не все сразу! Сначала я отвечу Гарри, потому что его вопрос вроде полегче. Мы пытались объяснить выбрасывание этих сгустков газа действием магнитных полей, но это не удалось. Ведь для этого потребовались бы поля огромной интенсивности, они просто разорвали бы Облако на куски. Иными словами, мы не могли представить себе способа, которым большие количества энергии можно собрать магнитными силами на сравнительно малых участках. Теперь давайте взглянем на эту проблему с нашей новой точки зрения. Начнем с того, что спросим, какой метод использовали бы мы сами, чтобы получить высокие локальные концентрации энергии.

— Взрывы! — воскликнул пораженный Барнет.

— Совершенно верно, взрывы с использованием либо ядерного деления, либо, более вероятно, ядерного синтеза. Водорода в этом Облаке хватает.

— Вы это серьезно, Крис?

— Вполне. Если я прав в предположении, что в Облаке живет какой-то зверь, то зачем отказывать ему хотя бы в той доле интеллекта, какой наделены мы?

— Тут есть небольшая трудность с радиоактивными продуктами. Не слишком ли вредны они для всего живого? — спросил Мак-Нейл.

— Конечно, они были бы вредны, если бы соприкасались с живым веществом. Но хотя невозможно производить взрывы с помощью магнитных полей, вполне возможно предохранить два различных вещества от соприкосновения друг с другом. Мне представляется, что этот зверь управляет веществом Облака с помощью магнитных полей и может таким образом перемещать массы вещества, куда ему угодно, по всему пространству внутри Облака. Я думаю, он внимательно следит, чтобы радиоактивный газ был полностью отделен от живого вещества — напомним, что я использую термин «живое» только для удобства. Я не собираюсь затевать философский спор на эту тему.

— Знаете, Кингсли,— сказал Вейхарт.— Все, действительно, получается гораздо лучше, чем я думал. Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что в то время как мы в основном действуем своими руками или с помощью машин, сделанных опять-таки нашими руками, этот зверь действует при помощи магнитной энергии.

— Примерно так. И должен добавить, как мне кажется, он находится по сравнению с нами в гораздо более выгодном положении. Во всяком случае в его распоряжении гораздо больше энергии, чем у нас.

— Бог мой, еще бы! Я думаю, по крайней мере в миллиарды раз больше,— воскликнул Марлоу.— Ну, ладно, кажется, с этим вопросом вы справились, Крис. Но мы, ваши противники, возлагаем большие надежды на вопрос Иветты. По-моему, это очень дельный вопрос. Что вы можете на него ответить?

— Да, это дельный вопрос, Джефф; не знаю даже, смогу ли я на него ответить достаточно убедительно. Можно предположить следующее. Вероятно, зверь не может оставаться слишком долго в непосредственной близости от звезды. Видимо, он периодически подходит

к той или иной звезде, строит молекулы, которые являются для него как бы запасом питания, а затем убирается прочь. Время от времени это, вероятно, повторяется.

— Но почему бы ему не жить постоянно около одной звезды?

— Ну, простое, обыкновенное облако, в котором нет никакого зверя, осталось бы навсегда около какой-то звезды и постепенно превратилось бы в компактное конденсированное тело или в несколько таких тел. В самом деле, ведь мы все хорошо знаем, что наша Земля, вероятно, некогда образовалась из точно такого же облака. Очевидно, нашему другу зверю было бы крайне неприятно обнаружить, что его защитное облако превратилось в планеты. Отсюда ясно — он спешит удалиться прежде, чем произойдет что-нибудь в этом роде. И, уходя, захватывает свое облако с собой.

— А как вы думаете, когда это произойдет? — спросил Паркинсон.

— Не имею представления. Думаю, что он удалится после того, как возобновит свои запасы продовольствия. Это может продолжаться неделю, месяц, год, а может быть, и тысячи лет.

— По-моему, что-то вы здесь накрутили, — заметил Барнет.

— Возможно, попробуйте раскрутить, Билл. А что вас волнует?

— Да многое. Мне кажется, ваши замечания относительно конденсации применимы только к неодушевленному облаку. Если мы допускаем, что Облако может регулировать распределение вещества внутри себя, то оно легко сможет не допустить конденсации. В конце концов, конденсация — это процесс очень постепенный, и я уверен, ваш зверь с помощью минимального контроля может полностью исключить конденсацию.

— На это есть два ответа. Во-первых, я думаю, что зверь потеряет возможность управления, если будет оставаться около Солнца слишком долго. Ведь в этом случае магнитное поле Солнца проникнет в Облако. Затем вращение Облака вокруг Солнца закрутит магнитное поле, и всякая возможность управления будет потеряна.

— Ну и ну, ловко придумано!

— Вы с этим согласны? А вот еще. Как бы этот наш зверь ни был отличен от земных живых существ, одно

качество у нас должно быть общим. Он должен подчиняться тем же простым биологическим законам отбора и развития. Я хочу сказать вот что. Мы не можем предполагать, что Облако с самого начала содержало вполне развитого зверя. Вначале должно было быть нечто примитивное, точно так же, как жизнь на Земле началась с простейших форм. Поэтому сперва в Облаке могло и не существовать такого четкого управления распределением вещества. И если бы Облако было первоначально расположено поблизости от звезды, оно не смогло бы предотвратить конденсацию в планету или в несколько планет.

— Тогда как вы представляете себе его начало?

— Оно должно было зародиться далеко в межзвездном пространстве. Сначала жизнь в Облаке, вероятно, существовала за счет общего поля излучения звезд. Даже это дало бы ей больше энергии излучения для построения молекул, чем получает жизнь на Земле. Дальше, я думаю, было так: по мере того как в этом существе развивался интеллект, оно должно было понять, что источники питания несравненно увеличиваются, если ненадолго приблизиться к звезде. А вообще зверь, по-моему, должен быть обитателем межзвездных пространств. Ну как, Билл, вас еще что-нибудь волнует?

— Еще один вопрос. Почему Облако не может испускать свое собственное излучение? Зачем ему себя утруждать, подходить к звезде? Если оно умеет использовать реакцию синтеза ядер для гигантских взрывов, то почему бы ему не использовать этот же ядерный синтез, чтобы получить нужное излучение?

— Чтобы производить энергию в виде излучения контролируемым образом, нужен термоядерный реактор; как раз такими реакторами являются звезды. Солнце — гигантский реактор, использующий реакцию ядерного синтеза. Чтобы генерировать излучение в масштабах, сравнимых с солнечными, Облаку пришлось бы самому превратиться в звезду. Но тогда там стало бы слишком жарко, и наш зверь изжарился бы живьем.

— И притом я сомневаюсь, чтобы облако такой массы могло генерировать сильное излучение, — заметил Марлоу. — Его масса слишком мала. В соответствии с соотношением масса — светимость оно должно было бы испускать совершенно ничтожное количество энергии по сравнению с Солнцем. Нет, тут вы неправы, Билл.

— Я тоже хотел бы задать вопрос,— сказал Паркинсон.— Почему вы все время говорите об этом звере в единственном числе? Почему в Облаке не может быть много маленьких зверей?

— На это есть свои причины, но объяснять их было бы слишком долго.

— Да теперь уж все равно, полночи мы и так проговорили, давайте, выкладывайте все.

— Что ж, предположим, в Облаке не один большой зверь, а много маленьких. Я думаю, вы все согласны, что между различными индивидуумами обязательно должна быть связь.

— Несомненно.

— И в какой же форме будет осуществляться такая связь?

— Уж об этом вы должны рассказать сами, Крис.

— Мой вопрос был чисто риторический. Я хочу сказать, что наши методы связи в данном случае не подходят. Мы сообщаемся друг с другом акустически.

— То есть разговорами. Это, действительно, ваш излюбленный метод, Крис,— сказала Энн Холси.

Но Кингсли сейчас не понимал шуток. Он продолжал:

— Любая попытка использовать звук потонула бы в невероятном шуме, который стоит внутри Облака. Это было бы еще труднее, чем пытаться разговаривать, когда ревет сильнейшая буря. Я думаю, можно не сомневаться, что связь осуществляется с помощью электричества.

— Да, пожалуй, это достаточно ясно.

— Хорошо. Кроме того, надо иметь в виду, что по нашим масштабам расстояния между индивидуумами были бы очень велики, так как размеры Облака, с нашей точки зрения, огромны. Очевидно, нельзя полагаться при таких расстояниях на постоянный ток.

— Нельзя ли попроще, Крис?

— Ну в сущности это то, что мы называем телефоном. Грубо говоря, разница между связью на постоянном и переменном токе та же самая, что и между телефоном и радио.

Марлоу улыбнулся Энн Холси.

— Кингсли пытается объяснить нам в своей неподражаемой манере, что связь должна осуществляться с помощью радиоволн.

— Если вы думаете, так понятнее...

— Конечно, все понятно. Подождите минутку, Энн. Когда мы посылаем световой или радиосигнал, испускаются электромагнитные волны. Они распространяются в пустоте со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Даже при такой скорости для передачи сигнала через все Облако потребовалось бы около десяти минут.

Теперь прошу обратить внимание на то, что количество информации, которое может быть передано при помощи электромагнитных колебаний, во много раз больше той информации, которую мы можем передать с помощью обычного звука. Это хорошо видно на примере наших импульсных радиопередатчиков. Поэтому если в Облаке живут отдельные индивидуумы, они могут общаться друг с другом значительно оперативнее, чем мы. Им должно хватать сотой доли секунды, чтобы изложить друг другу то, на что нам требуется целый час.

— Ага, я начинаю понимать, — вмешался Мак-Нейл. — При таком уровне обмена информацией становится вообще сомнительным, вправе ли мы говорить об отдельных индивидуумах!

— Ну, вот до вас и дошло, Джон!

— А до меня не дошло, — сказал Паркинсон.

— Попросту говоря, — дружелюбно пояснил Мак-Нейл, — Кингсли сказал, что если в Облаке и есть индивидуумы, то они должны быть в высокой степени телепатичны; настолько, что в сущности бессмысленно считать их существующими отдельно друг от друга.

— Почему же он сразу так и не сказал? — спросил Энн.

— Потому что, как и многие другие широко используемые слова, слово «телепатия» на самом деле не так уж много значит.

— Ну, во всяком случае для меня оно означает очень многое.

— И что же оно означает для вас, Энн?

— Оно означает передачу мыслей без помощи слов и, конечно, без всяких записей, жестов и так далее.

— Иными словами, оно значит — если оно вообще что-нибудь значит — неакустическую связь.

— А это означает использование электромагнитных волн, — вставил Лестер.

— А электромагнитные волны означают использование переменных токов, а не постоянных токов и напряжений, которые возникают у нас в мозгу.

— Но я думал, что в какой-то степени мы обладаем способностью к телепатии,— возразил Паркинсон.

— Вздор. Наш мозг просто не годится для телепатии. В нем все основано на постоянных электрических потенциалах, в этом случае никакого излучения не возникает.

— Я понимаю, что вообще-то это жульничество, но мне казалось, иногда у этих телепатов получается здорово,— настаивал Паркинсон.

— В науке засчитывается только то, что позволяет делать правильные предсказания,— ответил Вейхарт. — Именно таким образом Кингсли побил меня всего час или два назад. Если же сначала делается множество экспериментов и только потом в них обнаруживаются какие-то совпадения, на основе которых никто не может предсказать исход новых экспериментов,— от этого нет никакого толка. Все равно, что заключать пари на скачках после заезда.

— Идеи Кингсли очень интересны с точки зрения неврологии,— заметил Мак-Нейл.— Для нас обмен информацией — дело крайне трудное. Нам приходится переводить все с языка электрических сигналов — постоянных биотоков мозга. Этим занят большой отдел мозга, который управляет губными мускулами и голосовыми связками. И все-таки наш перевод весьма далек от совершенства. С передачей простых мыслей мы справляемся, может быть, не так уж плохо, но передавать эмоции очень трудно. А эти маленькие зверьки, о которых говорит Кингсли, могли бы, видимо, передавать и эмоции, и это еще одна причина, по которой, пожалуй, довольно бессмысленно говорить об отдельных индивидуумах. Страшно даже подумать: все, что мы с таким трудом втолковываем друг другу целый вечер, они могли бы передать с гораздо большей точностью и полной ясностью за сотую долю секунды.

— Мне бы хотелось проследить мысль об отдельных индивидуумах немного дальше,— обратился Барнет к Кингсли.— Как вы думаете, каждый из них сам изготавливает себе передатчик?

— Нет, никто никаких передатчиков не делает. Давайте я опишу, как я себе представляю биологическую эволюцию Облака. Когда-то на ранней стадии там было, наверное, множество более или менее отдельных, не связанных друг с другом индивидуумов. Затем связь все более совершенствовалась не путем сознательного изготовления ис-

кусственных передатчиков, а в результате медленного биологического развития. У этих живых существ средство для передачи электромагнитных волн развивалось, как биологический орган, подобно тому, как у нас развивались рот, язык, губы и голосовые связки. Постепенно они должны были достигнуть такого высокого уровня общения друг с другом, какой мы едва ли в силах себе представить. Не успевал один из них подумать что-либо, как эта мысль тут же передавалась. Всякое эмоциональное переживание разделялось всеми остальными еще до того, как его осознал тот, у кого оно возникло. При этом должно было произойти стирание индивидуальностей и эволюция в одно согласованное целое. Зверь, каким он мне представляется, не должен находиться в каком-то определенном месте Облака. Его различные части могут быть расположены по всему Облаку, но я рассматриваю его как биологическую единицу с общей нервной системой, в которой сигналы распространяются со скоростью 300 тысяч километров в секунду.

— Давайте обсудим подробнее природу этих сигналов. Наверное, они длинноволновые. Использование обычного света, по-видимому, невозможно, так как Облако непрозрачно для него, — сказал Лестер.

— Я думаю, это радиоволны, — продолжал Кингсли. — Есть веские основания так думать. Ведь для того чтобы система связи была действительно эффективной, все колебания должны происходить в одной фазе. Этого легко достигнуть с радиоволнами, но, насколько нам известно, не с более короткими волнами.

— Наши радиопередачи! — воскликнул Мак-Нейл. — Они, наверное, помешали нервной деятельности Облака.

— Да, помешали бы, если бы им позволили.

— Что вы хотите этим сказать, Крис?

— Дело в том, что зверю приходится бороться не только с нашими радиопередачами, но и с целой лавиной космических радиоволн. Поступающие отовсюду из Вселенной радиоволны постоянно мешали бы его нервной деятельности, если бы он не выработал какую-то форму защиты от них.

— Какого рода защиту вы имеете в виду?

— Электрические разряды во внешних слоях Облака, вызывающие ионизацию, достаточную для того, чтобы не пропускать внутрь радиоволны. Такая защита играет столь же важную роль для Облака, как череп для человеческого мозга.

По комнате поплыли густые клубы анисового дыма. Марлоу вдруг почувствовал, что его трубка очень сильно нагрелась, ее невозможно было держать в руках, и он осторожно положил ее на стол.

— Боже мой, так вы думаете, это объясняет возрастание ионизации в атмосфере, когда мы включаем передатчики?

— Приблизительно так. Помните, мы говорили о механизме обратной связи? Так вот, он имеется у нашего зверя. Если внешние волны проникли слишком глубоко, напряжение возрастает и возникают электрические разряды. Они повышают ионизацию до тех пор, пока волны не перестают проходить.

— Но ведь ионизация происходит в нашей атмосфере.

— В данном случае, я думаю, мы можем рассматривать нашу атмосферу как часть Облака. Свечение ночного неба говорит нам, что все пространство между Землей и наиболее плотной, дискообразной частью Облака заполнено газом. Короче говоря, с точки зрения радиотехники мы находимся внутри Облака. Этим, я думаю, и объясняются наши неполадки со связью. Раньше, когда мы были еще снаружи Облака, зверь защищал себя от идущих с Земли радиоволн не ионизацией нашей атмосферы, а внешним ионизованным слоем самого Облака. Но раз мы оказались внутри этого защитного экрана, электрические разряды стали возникать у нас в атмосфере, нарушая радиосвязь.

— Логично, Крис,— сказал Марлоу.

— А как быть с передачами на волне в один сантиметр? Они проходили беспрепятственно,— возразил Вейхарт.

— Хотя цепь рассуждений становится довольно длинной, здесь напрашивается одна мысль. По-моему, она заслуживает внимания, она может подсказать нам, что делать дальше. Мне кажется маловероятным, что это Облако — единственное в своем роде. Природа ничего не изготавливает в одном экземпляре. Поэтому допустим, что нашу Галактику населяет множество таких зверей. Тогда естественно предположить наличие связи между ними. А это означало бы, что какие-то длины волн нужны для внешней связи, а именно, такие волны, которые могут проникать внутрь Облака и не причинять вреда его нервной системе.

— И вы думаете, для этого подходит длина волны в один сантиметр?

— Ну, конечно.

— Но почему тогда не было ответа на наши передачи на этой волне?— спросил Паркинсон.

— Видимо, потому, что мы не посылали никаких сообщений. Что можно ответить на передачу, не несущую никакой информации?

— Тогда мы должны начать передавать на одном сантиметре импульсные сообщения,— воскликнул Лестер.— Но можно ли надеяться, что Облако сумеет их расшифровать?

— Для начала это не так уж важно. Будет очевидно, что наши передачи содержат информацию. Это будет ясно из частого повторения различных сочетаний сигналов. Как только Облако поймет, что наши передачи отправлены разумными существами, я думаю, можно будет ждать от него какого-либо рода ответ. Сколько вам понадобится времени, чтобы начать, Гарри? Пока вы, кажется, не готовы передавать модулированные сигналы на одном сантиметре?

— Да, но дня за два мы управимся, если будем работать по сменам круглые сутки. Я так и знал, не добратся мне сегодня до постели. Пошли, ребята, начинаем.

Лестер встал, потянулся и вышел из комнаты. Все стали расходиться. Кингсли отвел Паркинсона в сторону.

— Послушайте, Паркинсон,— сказал он,— об этом не стоит болтать, пока не узнаем больше.

— Ну, конечно, премьер-министр и так уже подозревает, что я малость тронулся.

— Но одно вы можете ему сказать. Если бы Лондон, Вашингтон и другие могли наладить десятисантиметровые передатчики, весьма возможно, что связь между странами была бы установлена.

Поздно вечером, когда Кингсли и Энн Холси остались одни, Энн спросила:

— Как тебе пришло в голову такое, Крис?

— Видишь ли, на самом деле это было довольно очевидно. Основная трудность заключалась в нашем предубеждении против таких мыслей. Представление о Земле как о единственной обители жизни укоренилось во всех нас глубоко, несмотря ни на какие научно-фантастические романы и детские комиксы. Если бы мы с самого начала смотрели на эти события не предвзято, мы бы все поняли уже давным-давно. С самого начала было много непонятного, и в этом непонятном была своя система. Как только я преодолел психологический барьер, я увидел, что все трудности могут быть просто и естественно устранены, если сделать

одно-единственное предположение. И все сразу становится на свои места.

— И ты серьезно думаешь, что эта затея со связью удалась?

— Вся надежда только на это. От этого зависит все.

— Почему?

— Подумай, какие бедствия уже претерпела Земля, хотя Облако ничего предумышленно против нас не делало. Небольшое отражение света от его поверхности чуть не изжарило нас живьем. Краткое затмение Солнца чуть не заморозило. Если Облако направит против нас ничтожнейшую часть находящейся в его распоряжении энергии, все люди, растения и животные, будут стерты с лица Земли.

— Но почему это обязательно должно произойти?

— Откуда я знаю! Много ты думаешь о каком-нибудь ничтожном жучке или муравье, когда наступаешь на него ногой во время прогулки? Достаточно одного газового сгустка вроде того, что попал в Луну три месяца назад, и нам конец. Рано или поздно Облако, вероятно, станет снова выбрасывать такие же сгустки. Или мы можем погибнуть от какого-нибудь чудовищного электрического разряда.

— Неужели это и в самом деле возможно?

— А почему бы и нет? И Облако располагает поистине колоссальной энергией. Если же мы сумеем что-то ему сказать, возможно, оно и позаботится о том, чтобы не растоптать нас.

— Станет ли оно о нас беспокоиться?

— Ну, если бы жучок сказал тебе: «Пожалуйста, мисс Холси, постарайтесь не ступать сюда, а то вы меня раздавите», — неужели бы ты его раздавила?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

СВЯЗЬ УСТАНОВЛЕНА

Спустя четыре дня, после тридцати трех часов передач из Нортонстоу, от Облака поступили первые сигналы. Это привело всех в неопишное волнение. По-видимому, было получено какое-то осмысленное

сообщение — среди сигналов можно было обнаружить регулярное повторение одинаковых импульсов, и были предприняты отчаянные попытки их расшифровать. Но все попытки оказались безуспешными. Впрочем, в этом не было ничего удивительного; как отметил Кингсли, достаточно трудно раскрыть шифр даже в тех случаях, когда известен язык, на котором составлено сообщение. В данном случае язык Облака был совершенно неизвестен.

— Вы правы,— заметил Лестер,— причем перед Облаком стоит, очевидно, точно такая же проблема, как перед нами, и оно не поймет наших передач, пока не научится английскому языку.

— Боюсь, для нас это гораздо сложнее,— возразил Кингсли.— У нас есть все основания полагать, что у Облака значительно более развитый интеллект, чем наш, и язык его,— каким бы он ни был,— вероятно, много сложнее нашего. Я думаю, нам нужно бросить эти бесполезные попытки расшифровать полученные сообщения. Подождем, пока Облако разберется в наших. Оно освоит наш язык и сможет ответить в нашем собственном коде.

— Чертовски удачная мысль — всегда заставлять иностранцев изучать английский,— заметил кто-то из иностранных ученых.

— Для начала, я думаю, нужно в основном придерживаться тем, связанных с математикой и вообще с наукой, так как они, вероятно, наиболее общие. Позднее можно попробовать социологический материал. Нам предстоит огромная работа — записать все, что мы хотим передать, на магнитную ленту.

— Вы хотите сказать, что нам следует передать нечто вроде краткого курса математики и других наук, а также английского языка? — спросил Вейхарт.

— Вот именно. И, по-моему, нужно приступить к делу немедленно.

Их ожидал успех, и успех большой. Уже через два дня был получен первый вразумительный ответ. Он гласил: «Сообщение получено. Информации мало. Шлите еще».

Следующую неделю почти все были заняты тем, что читали вслух выдержки из различных, заранее выбранных книг. Все это записывалось на магнитную ленту и затем передавалось по радио. Но в ответ приходили только краткие требования все новой и новой информации.

Марлоу сказал Кингсли:

— Так невозможно, Крис, мы должны что-то придумать. Эта скотина скоро нас совсем измотает. Я хриплю, как старая ворона, от этого непрерывного чтения.

— Гарри Лестер старается придумать что-то новое.

— Рад слышать. И что же?

— Попробуем убить сразу двух зайцев. Беда не только в том, что сейчас мы делаем все очень медленно. Есть и другая трудность: ведь практически все, что мы посылаем, должно казаться крайне невразумительным. Большая часть слов в нашем языке относится к объектам, которые мы видим, слышим или осязаем. Откуда Облаку понять наши сообщения, если оно не знает, что это за объекты? Если вы никогда не видели апельсинов и не прикасались к ним, то будь вы семи пядей во лбу, не представляю себе, как вы сможете узнать, что означает слово «апельсин».

— Ясно. Что же вы предлагаете?

— Это идея Лестера. Он считает, что можно использовать телевизионную камеру. К счастью, я заставил Паркинсона запастись ими в свое время. Гарри думает, ему удастся приспособить камеру к нашему передатчику и, более того, он даже уверен, что сможет переделать ее для передачи около 20 тысяч строк вместо жалких 450 в обычном телевидении.

— Это возможно из-за того, что мы работаем на более коротких волнах?

— Конечно. Мы сможем тогда передавать великолепные изображения.

— Но у Облака нет кинескопа!

— Конечно, нет. Как оно будет анализировать наши сигналы, это уж его личное дело. Мы должны обеспечить передачу как можно большего количества информации. До сих пор мы делали это неудачно, и Облако имело полное право выражать недовольство.

— Как вы предполагаете использовать телевизионную камеру?

— Мы начнем с того, что будем показывать отдельные слова — просто различные существительные и глаголы. Это будет предварительная часть. Надо подготовить ее как можно тщательнее, примерно пять тысяч слов, вряд ли это займет слишком много времени — неделю, не больше. Затем мы сможем передавать содержание целых книг —

будем помещать их страницы перед телевизионной камерой. С помощью такого метода можно разделаться за несколько дней со всей Британской энциклопедией.

— Это, конечно, должно удовлетворить жажду знаний нашего животного. Ну, пожалуй, мне пора вернуться к чтению. Сообщите, когда камера будет готова. Не могу передать, до чего я буду рад избавиться от этой каторжной работы.

Через некоторое время Кингсли пришел к Лестеру.

— Мне очень жаль, Гарри,— сказал он,— но появились кое-какие новые проблемы.

— В таком случае, я надеюсь, вы оставите их при себе. Наш отдел и так загружен выше головы.

— К сожалению, они имеют к вам непосредственное отношение, боюсь, они означают, что работы у вас еще прибавится.

— Послушайте, Крис, почему бы вам не снять пиджак и не взяться за полезную работу вместо того, чтобы сбивать с толку трудящихся? Ну, в чем дело? Давайте послушаем.

— Мы мало думаем об узле приема информации, то есть о том, как мы ее будем здесь принимать. Когда мы начнем передачи с помощью телевизионной камеры, мы будем, по-видимому, получать ответы в такой же форме. То есть, получаемые нами сообщения будут появляться в виде слов на телевизионном экране.

— Ну, что же. Это будет очень приятно и удобно для чтения.

— Да, с передачами все будет в порядке. Но ведь мы можем читать только около ста двадцати слов в минуту, в то время как собираемся передавать по крайней мере в сто раз больше.

— Надо будет объяснить этому Джонни в небесах, чтобы он уменьшил скорость передачи своих ответов, вот и все. Мы скажем ему — мы такие тупицы, что можем воспринимать лишь сто двадцать слов в минуту, а не десятки тысяч, которые он, кажется, в состоянии заглатывать.

— Отлично, Гарри. Я могу только согласиться со всем, что вы сказали.

— Но при этом вы хотите все-таки прибавить мне работы, да?

— Совершенно верно. Как это вы догадались? Я думаю, неплохо бы не только читать поступающие от Облака

сообщения, но и слушать их акустически. Читая, мы будем уставать гораздо сильнее, чем слушая.

— Ничего себе! Вы представляете, что это значит?

— Это значит, нам нужно будет хранить звуковой и визуальный эквиваленты каждого слова. Для этого мы могли бы использовать счетную машину. Нам надо хранить всего около пяти тысяч слов.

— Всего-навсего!

— Не думаю, что это так трудно сделать. Учить Облако отдельным словам мы будем очень медленно. Я считаю, что на это потребуется около недели. Пока передается изображение какого-нибудь слова, мы можем одновременно записать соответствующий сигнал от телекамеры на перфоленту. Это нетрудно сделать. Вы можете записать на перфоленту и звуки, соответствующие отдельным словам; понадобится, конечно, микрофон для превращения звука в электрический сигнал. Но раз вся эта информация будет у нас на перфоленте, мы в любой момент можем заложить ее в электронную машину. При этом придется использовать магнитную память большой емкости. Скорость, которую она может обеспечить, в данном случае вполне достаточна. А в быстродействующую память машины мы заложим программу перевода. Тогда мы сможем либо читать сообщения Облака на телевизионном экране, либо слушать их через громкоговоритель.

— Ну, скажу я вам, никогда не видел человека, который так здорово придумывал бы работу для других. А вы, я полагаю, будете составлять программу перевода?

— Конечно.

— Приятно работать, сидя в мягком кресле, а? А мы, несчастные, должны в это время вкалывать, как проклятые, с паяльниками, прожигая дыры в собственных штанах. А чей голос мне записывать?

— Свой собственный, Гарри. Это будет наградой за все дырки, которые вы прожжете в своих штанах. Мы будем слушать вас часами!

Постепенно идея о превращении сообщений Облака в звук, казалось, привлекала Гарри Лестера все больше и больше. Через несколько дней у него уже не сходила с лица довольная ухмылка, но что его так радовало, никто не знал.

Телевизионная система оказалась в высшей степени удачной. Через четыре дня после начала ее работы было

получено следующее сообщение: «Поздравляю с усовершенствованием аппаратуры».

Эта фраза появилась на телевизионном экране — звуковая система еще не работала.

При передаче отдельных слов возникли непредвиденные затруднения, однако в конце концов все обошлось. Передача же научных и математических сообщений оказалась делом совсем легким. Правда, скоро стало ясно, что эти передачи служили лишь для ознакомления Облака с уровнем развития человечества; выглядело это так, будто ребенок демонстрирует взрослому свои достижения. Затем были показаны книги на социальные темы. Выбирать подходящие оказалось довольно трудно, и в конце концов был передан обширный и в значительной степени случайно отобранный материал. Усвоение этого материала оказалось для Облака гораздо более трудным. Наконец, на телевизионном экране появился следующий ответ:

«Последние передачи кажутся наиболее запутанными и странными. У меня есть много вопросов, но я изложу их несколько позже. Дело в том, что ваши передачи очень сильно мешают мне, вследствие близости вашего передатчика, получать необходимые внешние сообщения. Поэтому я посылаю вам специальный код. В дальнейшем всегда пользуйтесь этим кодом. Я собираюсь создать электронную защиту от вашего передатчика. Этот код будет служить сигналом о том, что вы хотите проникнуть через защиту. Если в данный момент это будет удобно, я предоставляю вам такую возможность. Следующую передачу от меня вы можете ожидать приблизительно через сорок восемь часов».

На экране промелькнул какой-то сложный световой узор. Затем последовало дальнейшее сообщение:

«Пожалуйста, подтвердите, что вы получили этот код и можете пользоваться им».

Лестер продиктовал следующий ответ:

«Мы записали ваш код. Надеемся, что сможем им пользоваться, но не уверены. Сообщим об этом во время нашей следующей передачи».

Наступила пауза. Минут через десять пришел ответ: «Очень хорошо. До свидания».

Кингсли объяснил Энн Холси:

— Пауза возникает из-за того, что проходит некоторое время, пока наши сигналы достигнут Облака и пока ответ

вернется обратно. Эти паузы делают, очевидно, невыгодным использование в разговоре коротких реплик.

Но Энн Холси гораздо больше интересовалась тоном сообщений Облака, чем паузами.

— Оно разговаривает совсем как человек, — сказала она, изумленно раскрыв глаза.

— Ну, конечно. А как же еще оно могло бы говорить? Ведь оно пользуется нашим языком и нашими фразами, поэтому оно вынуждено говорить, как человек.

— Но это «до свидания» звучит так мило.

— Чепуха! Для Облака «до свидания» является, вероятно, просто кодовым обозначением конца передачи.

— Ну, ладно, Крис, а как вы вообще смотрите на то, что произошло? — спросил Марлоу.

— Мне кажется, посылка кода — очень хороший признак.

— Мне тоже. Это нас очень подбодрит. Видит бог, мы в этом нуждаемся. Последний год был далеко не из легких. Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо, с того самого дня, как встретил вас в аэропорту Лос-Анжелоса. Кажется, это было сто лет назад.

Энн Холси сморщила нос.

— Не могу понять, вы совсем помешались на своем коде, а на меня почему-то вылили ушат холодной воды за то, что я восхитилась этим «до свидания».

— Потому, дорогая, — ответил Кингсли, — что посылка кода была разумным, рациональным действием. Это доказательство контакта, понимания, совершенно не связанное с языком, а дорогое вашему сердцу «до свидания» — просто украшение речи.

Лестер подошел к ним.

— Двухдневный перерыв очень кстати. Я думаю, за это время мы успеем подготовить звуковую систему.

— А как насчет кода?

— Я почти убежден, что все в порядке, но на всякий случай проверим еще.

Через два дня вечером все собрались в лаборатории связи. Лестер и его товарищи были заняты последними приготовлениями. Около восьми часов на экране появились первые сигналы. Вскоре появились и слова.

— Ну, давайте, включим звук, — сказал Лестер.

Донесшийся из громкоговорителя голос был встречен дружным хохотом, так как это был голос Джо Стоддарда.

Сначала все были уверены, что это просто шутка. Но вскоре стало ясно: голос произносит те же слова, которые появляются на экране. И то, что он говорил, явно не подходило для Джо Стоддарда.

Из-за недостатка времени Лестер не смог снабдить голос интонациями: все слова произносились одинаково и следовали друг за другом через равные интервалы; только между предложениями были небольшие паузы. Эти несовершенства звукового воспроизведения были незаметны, потому что у Джо Стоддарда речь и на самом деле была мало выразительна. Кроме того, Лестер искусно подобрал почти точно такую же скорость произнесения слов, с какой разговаривал Джо. В результате, хотя речь Облака была всего лишь имитацией речи Джо, эта имитация оказалась чрезвычайно удачной. Невозможно было привыкнуть к тому, как Облако говорило, слегка раскатывая «р», в несколько медлительной манере жителя западных графств Англии, и как оно неопишимо комично коверкало некоторые слова. Отныне Облако именовалось не иначе, как Джо.

В первом сообщении Джо содержалось приблизительно следующее:

— Ваша первая передача явилась для меня сюрпризом, ибо крайне необычно было обнаружить животных с техническими знаниями на планетах — телах с весьма неблагоприятными условиями для жизни.

На вопрос, почему он так считает, Джо ответил:

— По двум весьма простым причинам. Живя на поверхности твердого тела, вы испытываете воздействие силы тяжести. Это резко ограничивает размеры, до которых могут вырасти ваши животные и, следовательно, ограничивает возможности вашей нервной деятельности. Это приводит к тому, что вам необходимо иметь систему мускулов для того, чтобы двигаться, и защитную броню для предохранения от резких ударов, — например, череп необходим вам для защиты мозга. Лишний вес мускулов и брони еще больше сужает возможности вашей нервной деятельности. Поэтому ваши наиболее крупные животные состоят в основном из костей и мускулов и у них очень маленький мозг. Как я уже говорил, причиной этого является сильное гравитационное поле, в котором вы живете. Вообще наличия разумной жизни следует ожидать в рассеянной газовой среде, а не на планетах.

Второй неблагоприятный фактор — острый недостаток у вас основных химических продуктов. Для синтеза химических веществ в больших масштабах необходим свет от какой-нибудь звезды. А ваша планета поглощает лишь ничтожную часть солнечного света. В данный момент я как раз синтезирую нужные мне химические вещества, причем в количестве примерно в 10 миллиардов раз больше, чем их синтезируется на всей поверхности вашей планеты.

Недостаток у вас химических продуктов вызывает необходимость бороться за существование с помощью зубов и когтей, а в таких условиях первым проблескам разума трудно выдержать конкуренцию с крепкими костями и сильными мускулами. Конечно, при достаточном развитии интеллекта конкуренция с чисто физической силой становится легкой, однако первые шаги чрезвычайно трудны, настолько, что достигнутый вами уровень является большой редкостью среди планетных форм жизни.

— Вот вам, энтузиасты космических путешествий, — сказал Марлоу. — Спросите его, Гарри, благодаря чему появилась у нас на Земле разумная жизнь?

Вопрос был послан, и через некоторое время пришел ответ:

— Вероятно, благодаря стечению различных обстоятельств, среди которых я выделил бы, как наиболее важный, тот факт, что около шестидесяти миллионов лет назад на Земле развился совершенно новый тип растений: то, что вы называете травой. Появление этого растения вызвало коренную перестройку всего животного мира, так как траву, в отличие от всех других растений, можно щипать прямо с земли. По мере того, как трава распространялась по всей Земле, те животные, которые могли извлечь пользу из этой ее особенности, выживали и развивались. Остальные виды приходили в упадок или вымирали. По-видимому, это была главная перемена, благодаря которой разум впервые утвердился на вашей планете.

— В вашем способе связи имеется целый ряд весьма необычных особенностей, которые сделали расшифровку ваших сообщений довольно сложным делом, — продолжало Облако. — Особенно странным для меня является то, что символы, которые вы употребляете для связи, не имеют непосредственного отношения к деятельности вашего мозга.

— Тут, мне кажется, нам надо ему что-то ответить, — заметил Кингсли.

— Ну, конечно. Я вообще не понимаю, как это вы так долго сидели молча, Крис, — вставила Энн Холси.

Кингсли изложил свои идеи относительно связи на постоянном и переменном токе и спросил, действительно ли функционирование самого Джо основано на переменном токе. Джо подтвердил это и продолжал:

— Но необычно не только это. Наиболее поразительным у вас является наличие большого сходства между отдельными индивидуумами. Это позволяет вам пользоваться очень грубым способом связи. Вы обозначаете штампами свое психическое состояние; гнев, головная боль, смущение, счастье, меланхолия — все это штампы. Если *А* хочет сказать *Б*, что страдает от головной боли, он не пытается описать, какие это нарушения деятельности его нервной системы. Вместо этого он выбирает нужный штамп. Он говорит: «У меня болит голова». Когда *Б* это слышит, он воспринимает штамп «головная боль» и истолковывает его в соответствии со своим собственным опытом. Таким образом, *А* может сообщить *Б* о своем недомогании, даже если оба не имеют ни малейшего представления о том, что такое в действительности «головная боль». Такой весьма своеобразный метод связи возможен, конечно, только между почти идентичными индивидуумами...

— Насколько я понял, вы имеете в виду следующее, — сказал Кингсли. — Если бы существовали два абсолютно тождественных индивидуума, то им вообще не нужно было бы никакой связи, каждый автоматически знал бы переживания другого. Для связи же между очень разными индивидуумами требуется уже гораздо более сложная система.

— Это именно то, что я пытался объяснить. Теперь вам ясно, почему я испытывал трудности при расшифровке вашего языка. Это язык, удобный для почти одинаковых индивидуумов, тогда как вы и я очень сильно отличаемся друг от друга, гораздо больше, чем вы, вероятно, можете себе представить. К счастью, ваша психическая структура оказалась довольно простой. После того, как я в ней немного разобрался, стала возможной и расшифровка.

— Но есть все-таки что-нибудь общее в функциях нашей нервной системы? Можете вы, например, испытывать что-

нибудь соответствующее нашей головной боли? — спросил Мак-Нейл.

— Вообще говоря, у меня, так же как у вас, могут быть ощущения приятного и неприятного. Но эти ощущения должны быть у любого существа, обладающего какой-то нервной системой. Неприятные ощущения возникают при внезапном разрыве связей, а это может случиться со мной так же, как и с вами. Счастье — это динамическое состояние, когда нервные связи устанавливаются, а не разрываются, и это тоже может случиться со мной, как и с вами. Однако я все же считаю, что мои субъективные переживания совершенно отличны от ваших, за исключением одного — неприятные ощущения для меня, так же как и для вас, это то, чего я хочу избежать, а приятные ощущения, наоборот, желательны.

Более конкретно: ваша головная боль проистекает от недостаточного кровоснабжения, в результате чего нарушается точность электрических импульсов в мозгу. Я испытываю нечто весьма похожее на головную боль, если в мою нервную систему попадают радиоактивные вещества. Это приводит к электрическим разрядам, как в ваших счетчиках Гейгера. Разряды нарушают синхронность процессов в нервной системе и производят крайне неприятные субъективные ощущения.

Теперь я хочу выяснить совершенно другой вопрос. Меня заинтересовало то, что вы называете «искусством». Литературу я могу понять как искусство выражения идей и эмоций в виде слов. Изобразительные искусства очевидным образом связаны с вашим восприятием мира. Но я совершенно не представляю, что такое музыка. Мое невежество в этом отношении едва ли удивительно, так как, насколько я понимаю, вы никогда не передавали музыки. Нельзя ли восполнить этот пробел?

— Ну, Энн, вот вам случай отличиться, — сказал Кингсли. — И какой случай! Ни один музыкант никогда еще не играл для такой аудитории!

— Что же мне сыграть?

— Как насчет той вещи Бетховена, которую вы играли на днях?

— Опус 106? Пожалуй, слишком сильно для начинающего.

— Ну-ка, Энн! Задайте работы старине Джо, — подбодрил Барнет.

— Не обязательно играть, Энн, если вам не хочется. Вчера я записал вас на магнитофон,— сказал Лестер.

— Ну, и как получилось?

— С технической точки зрения мы сделали все возможное. Если вы были довольны исполнением, то мы начнем передачу хоть сейчас.

— Пожалуй, лучше, если вы поставите запись. Это звучит смешно, но мне кажется, я бы очень волновалась, если бы играла для этого существа, какое бы оно ни было.

— Ну, что за глупости! Старина Джо не кусается.

— Может, и не кусается, но я все-таки прошу поставить запись.

Итак, запись передали. Последовала такая реакция:

— Очень интересно. Пожалуйста, повторите первую часть со скоростью, увеличенной на тридцать процентов.

После того, как это было сделано, пришло сообщение:

— Лучше. Очень хорошо. Я хочу поразмыслить об этом. До свидания.

— Боже мой, вы прикончили его, Энн! — воскликнул Марлоу.

— Но я не понимаю, как музыка может нравиться Джо. В конечном счете музыка — это звук, а как было выяснено, для Джо не существует звуков,— удивился Паркинсон.

— С этим я не согласен,— сказал Мак-Нейл.— Хотя с первого взгляда кажется, что наше восприятие музыки неотделимо от звуков, на самом деле это совсем разные вещи. Наш мозг воспринимает электрические сигналы, идущие от ушей. В данном случае звук используется просто как удобное средство для возбуждения в мозгу электрических импульсов определенного типа. Имеются достаточные основания полагать, что музыкальные ритмы отражают главные электрические ритмы нашего мозга.

— Это очень интересно, Джон! — воскликнул Кингли.— Тогда выходит, что музыка является наиболее прямым выражением деятельности нашего мозга.

— Нет, так, пожалуй, чересчур сильно. Я бы сказал, что музыка является наилучшим крупномасштабным отражением работы мозга. Но речь дает более полное представление о тонкой структуре мозговой активности.

Дискуссия продолжалась до глубокой ночи. Все сказанное Облаком подробнейшим образом обсудили. Веро-

ятно, наиболее поразительное замечание сделала Энн Холси.

— В первой части сонаты си бемоль мажор есть пометка для метронома, требующая совершенно фантастического темпа, гораздо более быстрого, чем может достичь любой обычный пианист и, конечно, совершенно недостижимого для меня. Вы обратили внимание на просьбу увеличить скорость? Меня просто дрожь пробирает, хотя, вероятно, это было всего лишь странное совпадение.

На этой стадии развития событий все привели к выводу, что следует сообщить политическим властям о действительной природе Облака. Правительства разных стран опять налаживали работу радиопередатчиков. Было обнаружено, что если передавать вертикально вверх трехсантиметровые волны, ионизация атмосферы может поддерживаться на уровне, удобном для связи на десятисантиметровых волнах. Нортонстоу еще раз стал мировым центром связи.

Никто особенно не радовался тому, что приходится огласить сведения, касающиеся Облака. Каждый чувствовал, что связь с Облаком будет изъята из-под контроля Нортонстоу. А было еще много такого, что ученые хотели бы узнать. Кингсли был категорически против передачи информации политикам, но на сей раз ему пришлось подчиниться общему мнению, что, как это ни печально, сохранять в тайне новые сведения больше нельзя.

Лестер записывал на пленку все разговоры с Облаком, и теперь они были переданы правительствам на десятисантиметровых волнах. У правительств всех стран, однако, не было никаких сомнений относительно целесообразности хранить все в секрете. Простые люди так никогда и не узнали о существовании жизни в Облаке, тем более, что в дальнейшем события приняли такой оборот, когда секретность стала совершенно необходимой.

В то время ни одно правительство не располагало односантиметровым передатчиком и приемником подходящей конструкции. И связь с Облаком, по крайней мере временно, должна была осуществляться из Нортонстоу. Специалисты в США указывали, однако, что связь на десятисантиметровых волнах с Нортонстоу и передачи оттуда на волне в один сантиметр позволят правительствам США и других

стран установить с Облаком контакт. Было решено, что Нортонстоу станет центром не только для передачи информации по всей Земле, но и для связи с Облаком.

Обитатели Нортонстоу разделились на два лагеря. Те, кто поддерживал Кингсли и Лестера, считали, что нечего принимать план политиков и надо откровенно послать к чертям все правительства. Остальные, во главе с Марлоу и Паркинсоном, доказывали, что открытое неповиновение ничего не даст, и политики могут в случае необходимости добиться своего силой. За несколько часов до очередной передачи от Облака между двумя группами разгорелся жаркий спор. Было принято компромиссное решение: сделать приспособление, позволяющее отключать приемник десятисантиметровых волн, чтобы правительства могли только слышать Облако, но не разговаривать с ним.

И это решение провели в жизнь. В тот день самые высокопоставленные и высокочтимые персоны слушали Облако, но не могли отвечать. Случилось, что Облако произвело плохое впечатление на своих августейших слушателей, ибо Джо начал откровенно высказываться на сексуальные темы.

— Не можете ли вы объяснить мне такой парадокс? — сказал он. — Я вижу, весьма значительная часть вашей литературы посвящена тому, что вы называете «любовью»; главным образом, так называемой «плотской любви». В самом деле, из предоставленной мне литературы около сорока процентов, по моим подсчетам, посвящены этому предмету. Тем не менее, нигде в литературе не разъяснено, в чем же заключается «любовь»; то, чем она кончается, всегда тщательно скрывают. Это привело меня к убеждению, что «любовь» должна быть каким-то редкостным и необычайным процессом. Можете представить мое удивление, когда, наконец, я выяснил из медицинских учебников, что «любовь» всего лишь очень простой, обычный процесс, свойственный и большинству других животных?

Эти слова вызвали бурное недовольство со стороны высокопоставленных и высокочтимых представителей рода человеческого. Лестер заткнул им рты, отключив динамик.

— А ну, молчать, — сказал он, после чего передал микрофон Мак-Нейлу. — Полагаю, это по вашей части, Джон. Попробуйте ответить Джо получше.

Мак-Нейл попытался:

— С чисто логической точки зрения производить на свет

и воспитывать детей — дело весьма незавидное. Для женщины это означает страдание и бесконечные заботы. Для мужчины это означает лишнюю работу в течение многих лет, чтобы содержать семью. Итак, если бы мы были полностью логичны в половом вопросе, мы бы, вероятно, вообще не заботились о продолжении рода. Поэтому природа позаботилась сделать нас полностью и абсолютно нелогичными. Как это ни странно, если бы мы не были столь нелогичны, мы просто не могли бы существовать. Это касается, вероятно, и всех других животных.

Лестер указал на мигающие огоньки.

— Политики пытаются пробиться... Вашингтон, Лондон, Тимбукту... Соединить их, Крис?

— Конечно, нет. Держите их за глотку, Гарри. Джон, спросите Джо, как он воспроизводит себя.

— Как раз об этом я и хотел спросить, — сказал Мак-Нейл.

— Ну, так давайте. Посмотрим, насколько он деликатен, когда речь идет о нем самом.

— Крис!

Мак-Нейл обратился к Облаку:

— Нам было бы интересно узнать о вашем способе размножения: сильно он отличается от нашего?

— Да. Размножение, появление нового живого существа происходит у нас совершенно иначе. Видите ли, если бы не несчастные случаи или непреодолимое желание уничтожить себя — такое случается с нами иногда, как и с вами — я мог бы жить бесконечно. Следовательно, в отличие от вас у меня нет необходимости породить кого-то, кто остался бы после моей смерти.

— Сколько же вам сейчас лет?

— Несколько больше пятисот миллионов.

— И ваше рождение было, так же как возникновение жизни на Земле, следствием какой-то спонтанной химической реакции?

— Нет. Во время наших путешествий по Галактике мы подыскиваем подходящие скопления вещества — облака, которые можно заселить. Мы делаем это примерно так же, как вы сажаете черенки от деревьев. Если бы я, например, обнаружил подходящее облако, еще не наделенное жизнью, я снабдил бы его сравнительно простой «нервной системой». Я посадил бы туда то же, из чего сделан я сам, часть себя самого.

Таким образом можно избежать тех многочисленных опасностей, с которыми сталкивается спонтанно возникающая разумная жизнь. Возьмем хотя бы такой пример. Как я уже объяснял в одной из наших предыдущих бесед, радиоактивные вещества не должны ни в коем случае попадать в мою нервную систему. Для этого у меня есть специальный весьма сложно устроенный электромагнитный экран, который препятствует доступу любого радиоактивного газа к моим нервным центрам — иначе говоря, к моему мозгу. Стоит только этому экрану выйти из строя, как я почувствую сильнейшую боль и вскоре погибну. Выход из строя экрана — один из возможных несчастных случаев, о которых я только что говорил. Суть этого примера в том, что мы можем снабдить своих «потомков» как экранами, так и разумом для управления ими, тогда как практически невероятно, чтобы такие экраны могли появиться в ходе самопроизвольного развития жизни.

— Но ведь это должно было случиться, когда появился первый из вашего рода, — возразил Мак-Нейл.

— Я не верю, что вообще когда-либо существовал «первый», — ответило Облако.

Мак-Нейл не понял этого замечания, но Кингсли и Марлоу переглянулись, как бы говоря: «Ого, вон он куда гнет! Что бы сказали сторонники теории «взрывающейся вселенной»! *

— Обеспечив своих «потомков» такими защитными средствами, — продолжало Облако, — мы предоставляем им в остальном развиваться по своему усмотрению. Здесь я должен объяснить важное различие между нами и вами. Число клеток в вашем мозгу почти не изменяется с момента рождения. Поэтому ваше развитие заключается в том, что вы учитесь использовать наилучшим образом мозг фиксированной емкости. В нашем случае дело обстоит совершенно иначе. Мы можем увеличивать свой мозг сколько угодно. И, конечно, можем удалять или заменять изношенные или испорченные части. Наше развитие заключается, таким образом, как в развитии самого мозга, так и в том, что мы учимся использовать его наилучшим образом для решения возникающих перед нами проблем. Теперь вам должно быть ясно, что наши «дети» начинают со

* Имеется в виду теория, по которой вселенная возникла в результате «первичного взрыва». (Прим. перев.).

сравнительно простого устройства мозга; по мере того, как мы взрослеем, наш мозг становится все больше и сложнее.

— Не могли ли бы вы описать так, чтобы нам было понятно, как создаются новые части вашего мозга? — спросил Мак-Нейл.

— Думаю, что могу. Сначала я изготавливаю сложные молекулы нужных типов из имеющихся химических продуктов, запасы которых у меня всегда под рукой. Затем молекулы укладываются соответствующим образом на поверхности твердого тела, образуя «нервную структуру». Материал твердого тела выбирается так, чтобы его температура плавления не была слишком низкой — лед, например, не подходит в данном случае, — и чтобы в электрическом отношении это был хороший изолятор. Поверхность тела также должна быть хорошо подготовлена, чтобы закреплять «нервную структуру» — мозговое вещество, как вы бы сказали, — там, где нужно.

Схема «нервной структуры», конечно, самое трудное. Надо добиться, чтобы новый мозг действовал как единое целое при выполнении своих задач. Необходимо также, чтобы этот новый узел не начинал работать самопроизвольно, а ждал поступления соответствующих сигналов от остальных частей моего мозга. Обмен такими сигналами между старой и новой частями мозга может происходить по многим каналам. В результате работа нового мозга может контролироваться, и он включается в общую нервную сеть.

— У меня еще два вопроса, — сказал Мак-Нейл. — Как производится доставка энергии к вашим нервным элементам? У человека для этого есть система кровоснабжения. Есть ли у вас что-либо подобное этой системе? Во-вторых, какого приблизительно размера ваши нервные элементы?

Последовал ответ:

— Размер меняется в зависимости от того, для какой цели служит данный элемент. Твердое тело, на котором он строится, бывает от одного-двух до нескольких сот метров. Да, у меня есть нечто, подобное системе кровоснабжения. Доставка нужных веществ осуществляется потоком газа, который постоянно омывает нервные элементы. Но поток этот приводится в движение не сердцем, а электромагнитным насосом. Следует отметить, что насос имеет неорганическую природу, поэтому при насаждении нового очага жизни «родитель» обязательно обеспечивает своего

«потомка» таким насосом. Идущий от насоса газ захватывает питательные вещества, затем проходит вблизи нервных элементов, которые поглощают различные нужные для работы мозга молекулы. Отработанные продукты деятельности организма выделяются в этот же поток газа и затем фильтруются в органе, подобном вашим почкам. Поток очищенного газа поступает опять в электромагнитный насос.

Чрезвычайно важно, что мое сердце, почки и кровь имеют неорганическую природу. В случае, если они перестают работать, ничего страшного не происходит. Если мое «сердце» начинает плохо работать, я просто подключаю запасное «сердце», которое держу всегда наготове. Если выходят из строя мои «почки», я не умираю, как ваш композитор Моцарт. Я опять-таки перехожу на запасные «почки». Пополнять объем крови я также могу практически неограниченно.

Вскоре после этого Джо «покинул трибуну».

— Все-таки потрясающе, насколько общими оказываются принципиальные основы жизни,— заявил Мак-Нейл.— Детали, конечно, сильно отличаются: газ вместо крови, электромагнитное сердце и почки и так далее. Но общая структура организма почти одинакова.

— И то, как он достраивает свой мозг, имеет что-то общее, мне кажется, с программированием для вычислительных машин,— сказал Лестер.— Вы обратили внимание, Крис? Это очень похоже на составление новой подпрограммы.

— Я думаю, наше сходство не случайно. Я как-то слышал, что коленный сустав мухи очень похож по своей конструкции на человеческий. Почему? Да потому, что существует, видимо, только одна хорошая конструкция коленного сустава. Точно так же существует какой-то единственный вполне определенный принцип, в соответствии с которым может быть построено разумное существо.

— Но почему вы думаете, что этот принцип единственный? — спросил Мак-Нейл Кингсли.

— Мы знаем, что вселенная построена в соответствии с некоторыми основными законами природы, которые постигает или пытается постичь наша наука. Мы склонны к некоторому зазнайству, когда, обозревая свои успехи в этой области, мы говорим, что вселенная построена логично с нашей точки зрения. Но это то же, что ставить телегу впереди лошади. Не вселенная построена логично с нашей

точки зрения; это мы и наша логика развились в соответствии с логикой вселенной. Таким образом, можно сказать, что разумная жизнь есть нечто, отражающее самую суть строения вселенной. Это справедливо как для нас, так и для Джо. Вот почему у нас оказывается так много общего, вот почему в разговоре у нас обнаруживается нечто вроде общих интересов, несмотря на столь большое различие в нашем детальном строении. Ибо в основных чертах как мы, так и Джо построены по принципам, которые вытекают из общего устройства вселенной.

— Эти политики все еще пытаются пробиться. Проклятье, пойду выключу лампочки,— сказал Лестер.

Он направился к панели с лампочками, которые вспыхивали, извещая о том, что из разных стран поступают какие-то сообщения. Минуту спустя он вернулся на свое место, задыхаясь от смеха.

— Здорово! — еле выговорил он, его душил смех.— Я забыл прекратить трансляцию нашего разговора на десятисантиметровых волнах. Они слышали все, наши разговоры насчет того, чтобы держать их за глотку и прочее. Сейчас они, конечно, в дикой ярости. Ну что ж, теперь, я считаю, все стало на свои места.

Никто, казалось, не знал, как быть. Наконец, Кингсли подошел к пульту. Он переключил несколько тумблеров и сказал в микрофон:

— Нортонстоу. Говорит Кристофер Кингсли. Если есть какие-либо сообщения, передавайте.

В динамике послышался раздраженный голос:

— А, наконец-то. Это вы, Нортонстоу? Мы пытаемся связаться с вами уже три часа подряд.

— Кто это говорит?

— Громер, министр обороны США. Должен вам сообщить, что вы говорите с весьма рассерженным человеком, мистер Кингсли. Я жду объяснений относительно вашего возмутительного поведения сегодня.

— В таком случае, боюсь, вам придется еще подождать. Даю вам тридцать секунд, и если за это время ваши высказывания не облекутся в приемлемую форму, я отключаюсь опять.

Голос стал более спокойным, но и более угрожающим:

— Мистер Кингсли, я уже слышан о вашем невыносимом характере, но сам я сталкиваюсь с вами впервые. К вашему сведению, я намерен принять меры, чтобы этот раз был и последним. Это не предостережение. Я просто говорю вам со всей ответственностью, что очень скоро вы будете удалены из Нортонстоу. Вопрос о том, куда вы будете удалены, я предоставляю вашему собственному воображению.

— Я хотел бы отметить, что в своих планах относительно меня, мистер Громер, вы не учли одного очень важного обстоятельства.

— Какого именно, смею я спросить?

— Что в моей власти вообще уничтожить весь Американский материк. Если вы сомневаетесь в правдивости моих слов, спросите своих астрономов, что случилось с Луной вечером 7 августа. Вам следовало бы также принять во внимание, что мне потребуется менее пяти минут, чтобы привести в исполнение эту угрозу.

Кингсли переключил несколько тумблеров, и лампочки на контрольной панели погасли. Марлоу был бледен; на лбу и над верхней губой у него выступили капельки пота.

— Нехорошо, Крис, нет, нехорошо,— сказал он.

Кингсли смутился.

— Мне очень жаль, Джефф. У меня совершенно вылетело из головы, что вы американец. Еще раз прошу прощения, но имейте в виду, я ответил бы то же самое и Лондону, и Москве, и вообще кому угодно.

Марлоу покачал головой.

— Вы неправильно поняли меня, Крис. Я возражал не потому, что Америка — моя родина. В любом случае я прекрасно понимаю: вы его просто запугиваете. Меня беспокоит, что такие угрозы могут иметь чертовски опасные последствия.

— Чепуха. Не стоит делать из мухи слона. Газеты учили вас думать, будто политики — важные персоны, и вы никак не можете отвыкнуть. Они, вероятно, понимают, что я пытаюсь их запугать, но пока остается какая-то вероятность, что я могу осуществить свою угрозу, они не решатся пустить в ход самое сильное свое оружие. Вот увидите.

Однако, как показали дальнейшие события, в данном случае прав был Марлоу, а не Кингсли.

РАКЕТЫ И БОМБЫ

Через три часа Кингсли разбудили.

— Извините, что я разбудил вас, Крис, но случилось нечто важное, — сказал Гарри Лестер.

Убедившись, что Кингсли окончательно проснулся, он продолжал:

— Паркинсона вызывает Лондон.

— Да, времени они не теряют.

— Но ведь мы не можем допустить этого разговора. Это слишком большой риск.

Некоторое время Кингсли молчал. Затем, видимо, на что-то решившись, он сказал:

— Я думаю, нужно пойти на этот риск, Гарри, но мы будем стоять у него над душой во время всего разговора. Мы можем быть уверены, он не проболтается. Дело вот в чем. Хотя я и не сомневаюсь, что длинная рука Вашингтона может дотянуться и до Нортонстоу, нашему правительству, по-моему, не очень-то будет приятно, если ему начнут давать распоряжения, что оно должно делать на своей собственной территории. Следовательно, мы сейчас имеем то преимущество, что на нашей стороне симпатии нашего народа. Если не дать Паркинсону провести этот разговор, мы лишимся такого преимущества. Пойдемте к нему.

Когда они разбудили Паркинсона и сообщили ему о вызове, Кингсли сказал:

— Послушайте, Паркинсон, я буду говорить откровенно. Что до нас, мы все время вели честную игру. Верно, мы поставили много условий перед тем, как переселиться сюда, и мы потребовали, чтобы эти условия были выполнены. Но в свою очередь мы честно сообщали вашим людям все, о чем узнавали сами. Верно и то, что мы не всегда оказывались правы, но причина наших ошибок теперь совершенно ясна. Американцы тоже организовали соответствующее учреждение, но им руководили политики, а не ученые, и от него поступало меньше информации, чем из Нортонстоу. Вы отлично знаете, если бы не наши предупреждения, смертность в минувшие месяцы была бы значительно выше.

— Куда вы клоните, Кингсли?

— Я просто хочу дать вам понять следующее: мы вели честную игру, хотя временами и могло казаться, что это не так. Мы продолжали играть в открытую, даже когда обнаружили истинную природу Облака, и передавали информацию, получаемую от него. Но с чем я не могу смириться, так это с напрасной тратой времени, которое отводится Облаком для связи с нами. Нечего рассчитывать, что Облако будет без конца с нами разговаривать, слишком мы для него мелкая рыбешка. И я ни в коем случае не буду, если это окажется в моих силах, тратить драгоценное время на политическую болтовню. Нам слишком многое еще нужно узнать. Кроме того, если политики ударятся, как на женевских совещаниях, в дебаты о повестке дня, Облако, вероятно, вообще не выдержит. Оно не захочет тратить время на разговоры с болтливыми идиотами.

— Мне всегда очень лестно слышать ваше мнение о нас. Но я все еще не понял, к чему вы клоните.

— Вот к чему. Вас запрашивает Лондон, и мы собираемся присутствовать при разговоре. Если в ваших словах промелькнет хотя бы тень сомнения относительно моего заявления о союзе между нами и Облаком, я продырявлю вам череп гаечным ключом. Пошли.

Оказалось, что Кингсли составил себе неверное представление о ситуации. Премьер-министр всего-навсего хотел узнать у Паркинсона, как он считает, есть ли хоть малейшее сомнение в том, что Облако может стереть с лица Земли целый континент, если оно действительно этого захочет. Паркинсон без труда ответил на этот вопрос. Он заявил вполне откровенно и без колебаний о своей полной уверенности, что Облако это сделать может. Премьер-министр удовлетворился таким ответом и, сделав несколько несущественных замечаний, закончил разговор.

— Очень странно,— сказал Лестер Кингсли, когда Паркинсон ушел досыпать.— Слишком много от Клаузевица,— продолжал он.— Их интересует только сила оружия.

— Да, им, видно, никогда не приходило в голову, что кто-нибудь может обладать оружием невиданной силы и не применить его.

— Особенно в таком случае, как этот.

— Что вы имеете в виду, Гарри?

— Ну, разве не аксиома, что всякий нечеловеческий интеллект должен быть злым?

— Полагаю, что да. Действительно, в девяноста девяти процентах историй о нечеловеческом интеллекте он мерзок по природе. Я всегда объяснял это тем, что трудно создать по-настоящему убедительного мерзавца, но, возможно, здесь и более глубокие причины.

— Да, люди всегда враждебно относятся к тому, чего не понимают, а по-моему, политики не очень-то поняли, что происходит. И вы еще думаете, они поверят, что мы со стариной Джо — друзья? Как бы не так.

— Если только они не рассматривают нашу дружбу, как сговор с дьяволом.

Первое, что предприняло правительство США после угрозы Кингсли и после того, как Лондон подтвердил разрушительную мощь Облака, была срочная постройка односантиметрового передатчика и приемника того же типа, что в Нортонстоу (при этом они воспользовались информацией, которую ранее получили из того же Нортонстоу). Технические возможности Америки были столь велики, что работу выполнили в чрезвычайно короткий срок. Но результаты оказались обескураживающими. Облако не отвечало на американские передачи, не удалось перехватить также ни одного сообщения от Облака в Нортонстоу. Эти неудачи были вызваны двумя причинами. Неудача с перехватом была вызвана серьезной технической трудностью. Как только связь между Облаком и Нортонстоу приняла характер беседы, отпала необходимость в очень быстрой передаче информации, как например, в период, когда Облако изучало нашу человеческую науку и культуру. Это позволило сильно уменьшить ширину полосы, на которой велась передача, что было весьма желательно для Облака, так как благодаря этому сообщения с Земли создавали меньше помех при приеме сообщений от обитателей других галактик. Ширина полосы была столь мала и так низка была мощность передачи, что американцы не смогли найти точную длину волны, на которой они могли бы перехватить связь. Причина, по которой Облако не отвечало американцам, была проще. Облако не отвечало, если в начале сообщения не было специально закодированного сигнала, а правительство США не знало кода.

Неудача со связью вызвала к жизни новые планы. Весть о них произвела в Нортонстоу впечатление разорвавшейся бомбы. Новость сообщил Паркинсон.

— Почему на свете столько дураков? — завопил он диким голосом, врываясь в кабинет Кингсли.

— Отлично, наконец-то у вас появились проблески сознания, — прокомментировал Кингсли.

— И вы среди них, Кингсли. Теперь мы находимся в страшно запутанном положении из-за вашего идиотизма в сочетании с кретинизмом Вашингтона.

— Ладно, Паркинсон, вот вам кофе и успокойтесь.

— Пошли вы к черту со своим кофе! Слушайте. Давайте вернемся к 1958 году, когда никто еще не слышал об Облаке. Вспомните гонку вооружений, вспомните о том, как США вслед за Советами стали готовить межконтинентальные ракеты с водородными зарядами. И как ученый вы понимаете, что запустить ракету на шесть или семь тысяч миль от одной точки земной поверхности в другую — это в общем то же самое, что запустить ракету в космическое пространство.

— Паркинсон, вы что, хотите сказать...

— Я говорю вам, что работа в США над этой проблемой продвинулась гораздо дальше, чем Британское правительство могло себе представить. Мы узнали об этом только день или два назад. Мы узнали об этом, только когда правительство США заявило, что они запустили ракеты, запустили их в Облако.

— Дураки непомерные! Когда это случилось?

— На этой неделе.

— Пойдемте к Марлоу и Лестеру и подумаем все вместе, что можно предпринять, чтобы предотвратить катастрофу.

Мак-Нейл был в это время у Марлоу, и он тоже принял участие в обсуждении. Когда Паркинсон повторил свой рассказ, Марлоу сказал:

— Свершилось. Это то, чего я опасался, когда мы ругались с вами на днях, Крис.

— Вы хотите сказать, что предвидели это?

— Ну, не точно, если говорить о деталях. Я не представлял себе, что они так далеко продвинулись со своими злосчастными ракетами. Но я печенкой чувствовал, что-нибудь такое должно случиться. Видите ли, вы слишком увлекаетесь логикой, Крис. Вы не знаете людей.

— Сколько этих ракет было послано? — спросил Лестер.

— По нашим сведениям, больше сотни.

— Ну, не думаю, чтобы это имело особое значение, — заметил Лестер. — Энергия сотни водородных бомб может казаться огромной для нас, но она ничтожна по сравнению с энергией Облака. По-моему, это так же глупо, как пытаться убить носорога зубочисткой.

Паркинсон покачал головой.

— Насколько я понял, они не пытаются разнести Облако в клочья. Они пытаются его отравить!

— Отравить! Как?

— Радиоактивными веществами. Вы слышали, как Облако рассказывало, что может случиться, если радиоактивные вещества проникнут сквозь его экран. Они все это узнали из слов самого Облака.

— Да, я думаю, несколько сот тонн сильно радиоактивного вещества — это совсем другое дело.

Заговорил Кингсли.

— Радиоактивные частицы могут вызвать ионизацию в очень неприятных местах. Вернемся к старому разговору о том, что мы работаем на постоянном токе, а Облако на переменном. Для работы на переменном токе на больших расстояниях необходимы высоковольтные системы. В нашем теле не может возникать высокое напряжение, поэтому оно может работать только на постоянном токе. Но Облако должно иметь высокие напряжения, чтобы осуществлять высокочастотную связь на больших расстояниях. А при больших напряжениях несколько заряженных частиц в определенных местах в изолирующем веществе могут привести к чертовски серьезным повреждениям.

— А экран? Может быть, он не пропустит ракеты внутрь Облака? — спросил Марлоу.

— Видно, в этом заключается самая мерзкая часть плана, — ответил Кингсли. — Экран, вероятно, действует на газ, а не на твердые тела, так что он не может остановить ракеты. А пока они не взорвутся, не будет никаких радиоактивных веществ, и я думаю, главное в том, чтобы они не взрывались, пока не проникнут сквозь экран.

Паркинсон подтвердил это.

— Верно, — сказал он. — Они должны автоматически направляться к любому твердому телу значительных размеров. Таким образом, они попадут прямо в нервные центры Облака. По крайней мере, таков замысел.

Кингсли вскочил и зашагал по комнате, продолжая говорить:

— Все равно, это дикая глупость. Действительно, в первых, это может не сработать, или, предположим, это принесет Облаку серьезный ущерб, но не убьет его. Последуют ответные действия. Облако может уничтожить всю жизнь на Земле так же безжалостно, как мы давим муху. По-моему, оно никогда не выказывало особого восторга по поводу жизни на планетах.

— Но оно бывает всегда так рассудительно во время бе-сед,— вставил Лестер.

— Да, но из-за неистовой боли оно может потерять всю свою рассудительность. Во всяком случае, не думаю, чтобы разговоры с нами занимали хоть сколько-нибудь значительную часть мозга Облака. Оно, вероятно, одновременно делает тысячи других дел. Нет, я не думаю, что мы можем надеяться на сколько-нибудь деликатное отношение. Но это только одна сторона дела. Ничуть не лучше, если удастся убить Облако. Прекращение его нервной деятельности приведет ко взрывам колоссальной силы — назовем это его предсмертной агонией. По нашим масштабам, запасы энергии в Облаке неимоверно грандиозны. В случае неожиданной смерти вся эта энергия высвободится — и опять у нас ни малейшего шанса выжить. Все равно, что вас запрут в загоне с бешеным слоном, и еще похуже, как сказал бы ирландец.

Наконец, и от этого тоже можно с ума сойти, если Облако убито и нам настолько повезло, что мы избежали всех этих возможностей подохнуть, мы вынуждены будем жить постоянно с диском газа вокруг Солнца. И все мы знаем, чем это пахнет. Таким образом, со всех точек зрения эти действия непонятны. Вам ясна психологическая подоплека этого дела, Паркинсон?

— Как это ни странно, но, по-моему, ясна. Несколько минут тому назад Джефф Марлоу заметил, что вы всегда мыслите логически, Кингсли, но здесь нужна не логика, нужно знание людей. Возьмем для начала ваш последний аргумент. Из того, что мы узнали от Облака, можно заключить, что оно собирается оставаться около Солнца примерно от пятидесяти до ста лет. Для большинства людей это все равно, что навсегда.

— Это совершенно разные вещи. За пятьдесят лет произойдут значительные изменения в земном климате, но не

произойдет столь коренных перемен, как в случае, если бы Облако осталось здесь навсегда.

— Я в этом не сомневаюсь. Я только говорю, что для подавляющего большинства людей совершенно все равно, что произойдет через пятьдесят, или, если хотите, через, сто лет. Что до двух других возможностей, то тут уж идут на риск.

— Значит, вы согласны со мной?

— Нисколько. При каких обстоятельствах вы пойдете по пути, сопряженному с громадным риском? Нет, не пытайтесь отвечать. Я скажу вам. Ответ таков: вы пойдете на опасные действия, если все другие возможности будут казаться еще худшими.

— Но другие возможности не хуже. Была возможность ничего не предпринимать, и это не было связано ни с каким риском.

— Это было связано с риском, что вы станете всемирным диктатором!

— Чепуха! Я не из того теста, из какого делают диктаторы. Моя единственная агрессивная черта — я терпеть не могу дураков. Разве я похож на диктатора?

— Да, Крис,— сказал Марлоу.— Не с нашей точки зрения, конечно,— добавил он поспешно, пока Кингсли не успел взорваться,— но с точки зрения Вашингтона — да. Когда человек разговаривает с ними, как с умственно отсталыми школьниками, и когда оказывается, что этот человек обладает невиданной мощью, можете ли вы осуждать их за несколько поспешные выводы?

— И еще есть причина, по которой они никогда не пришли бы к другому решению,— добавил Паркинсон.— Можно, я расскажу историю моей жизни? В детстве я учился в привилегированной школе. В таких школах особенно способных ребят обычно поощряют к изучению классиков, и, хотя, может быть, нескромно с моей стороны так говорить, я тоже этим занялся. Я получил стипендию в Оксфорде, учился довольно хорошо и обнаружил на двадцать втором году жизни, что голова моя напигована бесполезными знаниями, во всяком случае для человека, не обладающего особо выдающимися способностями — а я ими не обладал. Ну, я и поступил на административную службу. И она привела меня к теперешнему моему положению. Мораль этой истории такова: я пришел в политику совершенно случайно, а не преднамеренно. То же самое случается и

с другими — я не уникам и не претендую на это. Но нас, случайных рыбешек, ничтожное меньшинство, и мы обычно не занимаем особо влиятельных постов. Почти все политики избирают политическую карьеру потому, что она их привлекает, потому, что они стремятся быть в центре внимания, потому, что им нужно чувствовать свою власть.

— Какая исповедь, Паркинсон!

— Теперь вы видите, куда я клоню?

— Пока еще весьма смутно. По-вашему, ход мыслей у ведущих политиков таков: они не могут себе представить, что кому-то перспектива стать диктатором может казаться совершенно неприемлемой. Но почему перспектива нашей диктатуры над миром, пусть совершенно нелепая, как мы знаем, могла показаться им худшим вариантом, чем те пагубные действия, которые они предприняли?

— Полная и окончательная потеря власти — самая ужасная перспектива, которую политики могут вообразить. Все другое перед этим меркнет.

— Паркинсон, вы меня убили. Видит бог, я весьма невысокого мнения о политиках, но я не могу себе представить человека, сколь бы плох он ни был, для которого личное честолюбие значит больше, чем судьба всего живого.

— О мой дорогой Кингсли, как мало вы знаете людей! Вам известно библейское изречение: «Да не будет знать твоя правая рука, что творит левая»? А известно вам, что оно означает? Оно означает — держите свои мысли в маленьких, удобных непроницаемых отделениях, никогда не давайте им взаимодействовать и противоречить друг другу. Оно означает, что можно ходить в церковь один раз в неделю и грешить все остальные шесть дней. Не воображайте, что кто-нибудь предвидит, как эти ракеты могут принести гибель человечеству. Ни в коем случае. Это рассматривается как смелый удар по агрессору, который уже однажды причинил столько вреда населению Земли и привел даже сильнейшие нации на грань гибели. Это дерзкий ответ демократии на угрозу потенциального тирана. О, я не смеюсь, я говорю совершенно серьезно.

— Но это же такая нелепость!

— С нашей точки зрения — да. С их — нет. Не приписывайте своего образа мыслей другим.

— Откровенно говоря, Паркинсон, по-моему, эта передряга лишила вас здравого смысла. Не может быть, чтобы

все было так скверно, как вы думаете. Откуда вы узнали об этих ракетах? Из Лондона?

— Да, из Лондона.

— В какой-то степени это честно с их стороны.

— К сожалению, я должен вас разочаровать, Кингсли. Я не могу этого доказать, но думаю, никогда бы мы об этом не узнали, если бы Британское правительство могло присоединиться к США. Вы должны понять, эта страна менее других обеспокоена вашим предполагаемым господством над миром. Нечего себе глаза закрывать, Британия неуклонно и быстро теряет положение одной из ведущих стран мира. Возможно, Британское правительство не очень бы огорчилось, если бы США, Советы, Китай, Германия и остальные страны оказались в подчинении у группы людей, обосновавшихся на Британских островах. Возможно, они думают, что будут ярче сиять в лучах вашей, или, если позволите, *нашей* славы. Они надеются, быть может, обвести вас вокруг пальца так, чтобы вы передали эффективный контроль в их руки.

— Как ни странно, Паркинсон, но было время, когда я считал себя сверхчеловеком.

Паркинсон усмехнулся.

— Впервые в вашей жизни, Кингсли, мой дорогой друг, я скажу вам с жестокой откровенностью то, что вам должны были сказать много лет назад. Как циник вы никуда не годитесь — вас кто угодно заткнет за пояс. По существу, и я говорю это совершенно серьезно, вы — неправый идеалист.

Марлоу вмешался в разговор.

— Может быть, все-таки, когда вы покончите с самоанализом, мы обсудим, что делать дальше?

— Совсем как в чеховской пьесе, — заметил кто-то.

— А все-таки интересно и весьма тонко, — сказал Мак-Нейл.

— Что нам делать, решить очень просто, Джефф. Расскажем все Облаку. Это единственное, что нужно сделать, как ни крути.

— Вы уверены в этом, Крис?

— Конечно, какие могут быть сомнения? Сначала я изложу наиболее эгоистические соображения. Мы, видимо, сможем предотвратить гибель всего живого на Земле, так как Облако, возможно, смягчится, если мы его предупредим. Но, несмотря на то, что говорил Паркинсон, я сделал

бы то же самое, даже если бы этого мотива и не существовало. Пусть это звучит странно, и слова не совсем точно передают мою мысль, я считаю, что поступить так значит поступить *человечно*. Но я думаю, что этот вопрос мы должны решать сообща и, если не все с этим согласны, будем голосовать. Мы могли бы спорить еще много часов, но мне кажется, каждый уже все обдумал и решил про себя. Итак, голосуем. Лестер?

— Я за.

— Марлоу?

— Согласен.

— Мак-Нейл?

— Да.

— Паркинсон?

— Согласен.

— Для интереса, хотя это опять похоже на Чехова, объясните нам, Паркинсон, почему вы согласились? С нашей первой встречи и по сей день я считал, что мы с вами по разные стороны баррикад.

— Меня обязывала работа, а я хотел выполнять ее добросовестно. Сегодня, кажется, я освободился от этой добросовестности и обрел новую, истинную добросовестность. Возможно, я и сам становлюсь идеалистом, но я согласен с тем, что вы понимаете под человечностью.

— Итак, договорились, мы вызываем Облако и сообщаем ему об этих ракетах.

— Может быть, посоветоваться с другими? Как вы думаете? — спросил Марлоу.

Кингсли ответил:

— Пусть это звучит по-диктаторски, но я решительно против какого-либо расширения дискуссии. Во-первых, если мы посоветуемся со всеми и в результате будет вынесено противоположное решение, я наложу на него запрет — придется стать диктатором. Но есть и еще одно обстоятельство — нам всем могут просто перерезать глотки. Мы всегда презирали общепризнанные авторитеты, но выражали это в полушутливом тоне. Обвинить нас в нарушении законов нельзя, суд такого иска и рассматривать не станет. Но тут дело обстоит иначе. Если мы передаем Облаку эту информацию, а ее можно назвать военной информацией, мы берем на себя громадную ответственность, и я против того, чтобы другие делили с нами эту ответ-

ственность. Я не хочу, например, чтобы Энн была к этому причастна.

— А вы что думаете по этому поводу, Паркинсон? — спросил Марлоу.

— Я согласен с Кингсли. Вспомните, фактически мы совершенно бессильны. Мы даже не можем воспрепятствовать полиции арестовать нас, когда им вздумается. Конечно, Облако, быть может, захочет нас поддержать, в особенности после этого случая. Но потом мы опять можем оказаться без поддержки; или же Облако вообще прекратит всякую связь с Землей. И останется у нас в руках только блеф. Пока блеф проходит успешно, и нет ничего удивительного, что он удается. Но мы не можем блефовать всю жизнь. Более того, даже если нам удастся заполучить Облако в качестве союзника, в нашей позиции все равно остается губительная брешь. Это звучит очень лихо: «Я могу стереть с лица земли Американский континент», но ведь вы прекрасно знаете, что никогда мы на такое не пойдем. Так что в любом случае нам остается блеф и только.

Эти слова несколько умилили пыл собравшихся.

— Тогда совершенно ясно: мы должны держать свой план в строжайшем секрете. Кроме нас, никто о нем ничего не должен знать, — заметил Лестер.

— Соблюдать секретность не так просто, как вы думаете.

— Что вы имеете в виду?

— Вы забываете, что информация была получена мной из Лондона. В Лондоне уверены, что мы собираемся известить Облако. Поэтому все будет в порядке, пока идет наш блеф, но если он не...

— Раз уверены, значит надо действовать. Уж если нас все равно ждет наказание, то можно пойти и на преступление, — прервал Мак-Нейл.

— Да, надо действовать. Хватит разговоров, — сказал Кингсли. — Гарри, наговорите на пленку объяснение. Затем начинайте его непрерывно транслировать. И не бойтесь, что кто-нибудь, кроме Облака, перехватит нашу передачу.

— Ну, Крис, объяснение лучше составьте вы. Вы лучше умеете говорить, чем я.

— Ладно, начнем.

После пятнадцати часов передачи пришел ответ от Облака. Лестер отыскал Кингсли.

— Оно хочет знать, как мы такое допустили. Ему это не нравится.

Кингсли вошел в отдел связи, взял микрофон и продиктовал следующий ответ:

— Нападение предпринято вне всякой связи с нами. Я думал, это будет ясно из моего предыдущего послания. Вам известны основные факты, касающиеся организации человеческого общества, которое разделено на множество групп, имеющих самостоятельное управление, так что ни одна группа не контролирует деятельность других. Следовательно, вы должны понять, что ваше прибытие в солнечную систему не было воспринято другими группами так же, как это восприняли мы. Вам, может быть, будет интересно знать, что, предупредив вас, мы очень сильно рискуем не только своей безопасностью, но, возможно, и своей жизнью.

— Господи! Вы не должны были говорить этого, Крис. Вы не смягчите его гнев такими разговорами.

— Почему бы и нет. Во всяком случае, если нас подвергнут репрессиям, так хоть выскажемся напоследок.

Вошли Марлоу и Паркинсон.

— Вам будет приятно узнать, что Крис сейчас пытался умиловить Облако, — заметил Лестер.

— Господи, он что, пошел по стопам Аякса?

Паркинсон внимательно посмотрел на Марлоу.

— Вы знаете, это очень похоже на идеи древних греков. Они верили, что Юпитер мечет молнии, восседая на грозовом облаке. Совсем как у нас сейчас.

— Удивительно, правда? Только бы это не кончилось для нас в духе греческой трагедии.

Однако трагедия была ближе, чем кто-либо предполагал.

Пришел ответ на послание Кингсли.

— Сообщение и аргументы поняты. Из того, что вы сказали, я заключил, что эти ракеты не были посланы из близкой к вам части Земли. Если в течение следующих нескольких минут я не получу опровержения этому, то буду действовать согласно выработанному мною решению. Вам, быть может, интересно узнать, что я изменю направление движения ракет относительно Земли на противоположное. Направление будет изменено на обратное, но скорость останется та же. Это будет сделано в момент, когда каждая ракета пролетит целое число дней. Когда

ракеты повернутся, к их движению будет добавлено небольшое возмущение.

Облако смолкло. Кингсли тихонько свистнул.

— Господи, ну и решение,— прошептал Марлоу.

— Простите, я не совсем понял,— проговорил Паркинсон.

— Ну, изменение движения ракет на обратное означает, что они полетят назад по своим траекториям — заметьте, что все это относительно Земли.

— Вы хотите сказать, что они попадут в Землю?!

— Конечно, но это еще не все. Если они повернут назад через целое число дней, чтобы лететь обратно по тем же траекториям, то, когда они достигнут Земли, они попадут точно в те же точки, из которых были пущены.

— Почему точно в те же?

— Потому что через целое число дней Земля будет находиться в той же фазе своего вращения.

— А что значит «относительно Земли»?

— Это значит, что учитывается вращение Земли вокруг Солнца,— сказал Лестер.

— И движение Солнца вокруг центра Галактики,— добавил Марлоу.

— И, значит, те, кто послал ракеты, получают их назад. О, боги, воистину соломоново решение.

Кингсли сначала только слушал этот разговор. Теперь он сказал:

— Еще одна последняя пикантная подробность для вас, Паркинсон: к движению будет добавлено малое возмущение, так что мы не можем *точно* знать, куда они попадут. Мы знаем лишь приближенно, с точностью до сотен миль, или, возможно, до тысяч миль. Я выражаю вам сожаления по этому поводу, Джефф.

Казалось, Марлоу постарел сразу на много лет.

— Могло быть хуже; можно утешаться хоть этим. Слава богу, хорошо еще, что Америка — большая страна.

— Ну, вот и конец нашей секретности,— заметил Кингсли.— Я никогда не верил в секретность, и теперь это ударило по мне. Еще одно соломоново решение.

— Что вы имеете в виду, какой конец секретности?

— Гарри, мы должны предупредить Вашингтон. Если сотня водородных бомб упадет через несколько дней на США, они, по крайней мере, должны рассредоточить население больших городов.

— Но если мы расскажем, что мы сделали, нас просто разорвут в клочья.

— Знаю. Все равно мы должны идти на риск. Как вы думаете, Паркинсон?

— Вы правы, Кингсли. Мы должны их предупредить. Но нельзя допустить ошибки, иначе наше положение будет совершенно безнадежным. Нужно продолжать этот блеф, иначе...

— Не к чему выпутываться из беды, в которую мы еще не попали. Первое, что надо сделать — это связаться с Вашингтоном.

Кингсли включил десятисантиметровый передатчик. Марлоу подошел к нему.

— Не так просто с этим справиться, Крис. Если вы не возражаете, я это сделаю. И я бы хотел беседовать с ними наедине. Не хочу попадать у вас на глазах в унижительное положение.

— Нелегко вам будет, Джефф. Но если вы так решили, что ж, валяйте. Мы вас оставим, но помните, мы будем рядом на тот случай, если вам понадобится помощь.

Кингсли, Паркинсон и Лестер оставили Марлоу отправлять сообщение — сообщение, которое явилось следствием тягчайшей государственной измены в том смысле, в каком любой земной суд понимает государственную измену.

Приблизительно через час Марлоу бледный, как полотно, и обессиленный вернулся к остальным.

— Им, конечно, не очень это все понравилось, — только и сказал он.

Еще меньше понравилось американскому правительству то, что спустя два дня водородная бомба стерла с лица земли город Эль Пасо, а другая попала в юго-восточную часть Чикаго. Хотя правительство США предприняло срочные меры по рассредоточению населения, это рассредоточение было, конечно, неполным, и более четверти миллиона человек погибло.

Гибель людей от стихийного бедствия вызывает скорбь, даже глубочайшую скорбь, но она не вызывает гневного возмущения. Совсем другое дело, если люди гибнут в результате преднамеренных действий человека. Слово «преднамеренных» здесь важно. Одно преднамеренное убийство может вызвать куда более бурную реакцию, чем десять тысяч смертей на дорогах. Можно понять, почему четверть

миллиона погибших при взрывах бомб произвели на правительства во всем мире значительно большее впечатление, чем катастрофические бедствия в период великой жары и затем в период великого холода. Тогда все это было воспринято как стихийное бедствие. Но правительство Соединенных Штатов гибель сотен тысяч людей от водородных бомб рассматривало как убийство гигантского масштаба, осуществленное кучкой отчаянных негодяев, которые для удовлетворения своего ненасытного честолюбия заключили союз с какой-то штукой в небе; людьми, которые предали весь род человеческий. Отныне ученые в Нортонстоу были обречены.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ОБЛАКО УХОДИТ

История с ракетами и водородными бомбами принесла Кингсли много жестоких и непримиримых врагов. Но, против ожидания, на ближайшее время положение Кингсли и его друзей сильно упрочилось. Ответный удар продемонстрировал устрашающую силу Облака. Всем уже было ясно теперь, что Облако причинит Земле непоправимый ущерб, если ученые из Нортонстоу попросят его об этом.

Вашингтон раньше сомневался, готово ли Облако стать на сторону Кингсли; теперь таким сомнениям уже не осталось места. Обсуждали возможность стереть Нортонстоу с лица земли межконтинентальными ракетами. Серьезного сопротивления со стороны Британского правительства не будет — ведь его собственное поведение далеко не безупречно; тем не менее от этого плана скоро отказались. Точность попадания ракет была недостаточной, а неточная бомбардировка могла привести к невероятным и бессмысленным разрушениям.

Но увы — сознание своей силы не подняло дух обитателей Нортонстоу, во всяком случае тех, кто был в курсе дела. К ним теперь относился и Вейхарт. Он поправился от жестокого гриппа, который вывел его из строя в самые

тяжелые дни. Но скоро его пытливый ум проник в существо дела. Однажды он участвовал в забавном споре. Споры теперь затевались часто. Прежние сравнительно беззаботные дни прошли. Им не суждено было возвратиться.

— Я подозреваю, что эти возмущения в движении ракет не случайны, ими словно управляли умышленно, — начал Вейхарт.

— Что вы хотите сказать, Дэйв? — спросил Марлоу.

— Ведь если выпустить, не целясь, сотню ракет, едва ли можно попасть в два города. Поэтому я прихожу к выводу, что ракеты летели не случайно. Я думаю, их направили именно на эти цели.

— Тогда непонятно, — заметил Мак-Нейл, — почему только две ракеты попали в цель?

— Может быть, только две были нацелены, а может быть, точность прицела оказалась недостаточной.

— Странная аргументация.

Но Вейхарт не сдавался, он продолжал:

— Мне совершенно ясно. Если эти штуки имели определенную цель, им было гораздо легче в нее попасть, чем если они летели как придется. А раз они попали в цель, то, очевидно, значит, их полет направлялся.

— Ну, что ж, самое правильное — спросить об этом Облако. Это единственный способ решить вопрос. Спор здесь не поможет.

Тут все вспомнили о весьма неприятном обстоятельстве. После истории с ракетами всякая связь с Облаком прекратилась. И ни у кого не хватало духа попытаться ее возобновить.

— Вряд ли Облаку такой вопрос придется по вкусу. Похоже, оно на нас разгневалось, — заметил Марлоу.

Но как они узнали через два или три дня, Марлоу был неправ. Неожиданно пришло сообщение, что Облако собирается улететь от Солнца дней через десять.

— Невероятно, — сказал Лестер Паркинсону и Кингсли. — Раньше казалось, что Облако твердо намерено остаться лет на пятьдесят, не меньше, а может быть, и на сто.

Паркинсон разволновался.

— Должен сказать, для нас теперь это хуже всего. Как только Облако уйдет, мы — конченные люди. Ни один суд на свете не оправдает нас. Сколько еще времени можно надеяться на связь с Облаком?

— Ну, что касается мощности передатчиков, мы можем держать связь лет двадцать, а то и больше, даже если оно будет улетать с максимальной скоростью. Но судя по последнему сообщению, нам вообще не удастся поддерживать с ним контакт, пока оно ускоряется. По-видимому, электрические поля в его внешних частях станут в это время беспорядочными, и слишком много появится электрических «шумов», в таких условиях связь невозможна. Так что пока идет ускорение, связь будет прервана и, вероятно, на несколько лет.

— О боже, Лестер, вы хотите сказать, что у нас осталось всего десять дней, а потом несколько лет мы ничего не сможем сделать.

— Именно.

Паркинсон простонал:

— Тогда нам конец. Что же делать?

Тут в разговор вступил Кингсли:

— Ничего тут особенно не придумаешь. Но, во всяком случае, попробуем выяснить, почему Облако решило улететь. Оно, видно, изменило свои планы совсем неожиданно, и тут должна быть какая-то веская причина. Интересно, в чем дело. Посмотрим, что оно нам скажет.

— Может быть, мы вообще не получим никакого ответа, — сказал Лестер угрюмо.

Но ответ пришел.

— Мне трудно объяснить все так, чтобы вы поняли. Речь идет о вещах, о которых ни я, ни вы ничего не знаем. Прежде мы с вами не обсуждали вопросов религии. Религиозные верования людей, по-моему, крайне нелогичны. Раз и вы смотрите на них так же, значит, не было смысла поднимать этот вопрос. Коротко говоря, обычная религия нелогична, потому что она пытается осмыслить нечто, лежащее вне вселенной. Вселенная включает все, и ничто не может находиться вне ее. Идея «бога», сотворившего вселенную, — механистический абсурд, явно придуманный по аналогии с человеком, творящим машины. Я считаю, что в этом мы с вами согласны.

Но многое остается таинственным. Вам, вероятно, приходилось размышлять, существует ли более высокая ступень интеллекта, чем ваша. Теперь вы знаете, что существует. Подобным же образом и я размышлял, существует ли разум, высший в сравнении с моим. Насколько мне известно, такого нет ни в нашей, ни в других галактиках.

И все же есть веские доводы в пользу того, что такой высший разум играет определяющую роль в нашем существовании. Иначе кто же решил, как должна вести себя материя? Чем определяются ваши законы физики? Почему эти законы такие, а не другие?

Эти проблемы исключительно трудны, так трудны, что я не в состоянии решить их. Одно ясно — такой разум, если он существует, никоим образом не может быть ограничен ни во времени, ни в пространстве.

Хотя эти проблемы, как я сказал, предельно трудны, есть основания считать, что решить их можно. Около двух миллиардов лет назад один из нас утверждал, что нашел такое решение. Он сообщил об этом по радио, но не успел объяснить, в чем дело, так как передача внезапно прервалась. Попытки возобновить контакт с существом, о котором идет речь, оказались безуспешны.

Аналогичный случай повторился опять около четырехсот миллионов лет назад. Я тогда только что родился и хорошо помню, как все было. Помню восторженное известие, что решены величайшие загадки природы. Я ждал, «затаив дыхание», как вы сказали бы, но опять связь внезапно прервалась. И опять не нашли никаких следов существа, которое вело передачу.

То же самое только что повторилось в третий раз. И случилось так: тот, кто утверждает, что сделал великое открытие, находится лишь немногим дальше двух световых лет отсюда. Я — его ближайший сосед, и поэтому мне нужно немедленно направиться к нему. Вот почему я ухожу.

Кингсли взял микрофон.

— Что вы надеетесь узнать? Есть ли у вас достаточный запас пищи?

Пришел ответ:

— Благодарю за участие. У меня есть запас пищевых химических веществ. Он невелик, но его хватит, если я буду двигаться с максимальной скоростью. Я хотел отложить свой уход на несколько лет, но для этого нет оснований. Вы спрашиваете, что я надеюсь узнать. Я надеюсь разрешить старый спор.

Считалось и, по-моему, без особых на то причин, что эти необычайные явления — результат ненормального состояния нервной системы, приводящего к самоубийству. Для таких существ, как мы, самоубийство может означать гро-

мальный ядерный взрыв, причем все тело разлетается. Может быть, поэтому не удалось найти никаких остатков погибших.

Сейчас я могу подвергнуть эту теорию решающей проверке. Ведь это явление, что бы оно собой ни представляло, произошло очень близко. Я смогу туда добраться за двести-триста лет. Это короткий промежуток времени, остатки взрыва, если там был взрыв, не успеют полностью исчезнуть.

В конце передачи Кингсли оглядел лабораторию.

— Ну, ребята, это, видимо, одна из последних наших возможностей задавать вопросы. Составим список. У кого есть предложения?

— Что случилось с этими типами, если они не кончали жизнь самоубийством? Спросите, нет ли у него каких-нибудь предположений на этот счет, — сказал Лестер.

— Интересно знать, постарается ли оно не повредить Земли, когда будет покидать солнечную систему, — сказал Паркинсон.

Марлоу кивнул.

— Верно. Могут случиться три неприятности:

1. В нас попадает одна из тех газовых пуль, которые Облако выбрасывает при ускорении.

2. Наша атмосфера будет захвачена Облаком и уйдет вместе с ним.

3. Мы будем изжарены заживо либо отраженным от поверхности Облака солнечным светом, как было во время великой жары, либо выделившейся в процессе ускорения энергией.

— Идет. Задаем эти вопросы.

Ответ Облака на вопросы Марлоу оказался утешительнее, чем можно было ожидать.

— Я ни на минуту об этом не забываю, — сказала оно. — Я собираюсь создать экран, чтобы защитить Землю на ранних стадиях ускорения, а ускорение будет гораздо более мощным, чем замедление при моем приходе сюда. Без этого экрана вся жизнь на Земле, несомненно, погибнет, все сгорит. К сожалению, этот экран одновременно заслонит Солнце от Земли и лишит вас солнечного света примерно на две недели; но это, я думаю, не причинит серьезного вреда. На поздних стадиях моего ухода вы получите некоторое количество отраженного солнечного света, но нагрев

от этого будет не столь сильным, как во время моего приближения.

Трудно дать ответ на другой ваш вопрос так, чтобы вы поняли его при современном состоянии вашей науки. Грубо говоря, по-видимому, существуют естественные ограничения физического характера для типа информации, которой могут обмениваться мыслящие существа. Есть предположение, что существует как бы непреодолимая преграда для передачи информации, связанной с глубокими проблемами. Быть может, всякое разумное существо, которое пытается передавать такую информацию, как бы заглатывается окружающим пространством, то есть пространство замыкается вокруг него таким образом, что любая связь с другими существами того же ранга исключается.

— Вы понимаете это, Крис? — спросил Лестер.

— Нет, не понимаю. Но есть еще один вопрос, который мне хотелось бы задать.

И Кингсли спросил:

— Вы, вероятно, заметили, что мы не пытались задавать вопросов, касающихся физических теорий и фактов, неизвестных нам. Этот пробел произошел не от недостатка интереса, а оттого, что мы думали перейти к таким вопросам позднее. Теперь, оказывается, у нас такой возможности не будет. Можете вы нам посоветовать, как лучше использовать оставшееся время?

Пришел ответ:

— Я думал об этом. Здесь возникает принципиальная трудность. Наши беседы велись на вашем языке. Мы поэтому вынуждены были ограничиваться тем кругом идей, которые могут быть поняты при использовании вашего языка, а это значит, что мы по существу ограничивались вопросами, которые вы уже знаете. Ни о какой быстрой передаче совершенно новой информации не может быть и речи, пока вы не выучите кое-что из моего языка.

Не говоря о чисто практических трудностях, перед нами встает коренной вопрос: обладает ли человеческий мозг достаточной мощностью? Дать на него точный ответ я не могу. Однако, позволю себе сказать, что теории, которыми обычно объясняют появление гениальных людей, кажутся мне заведомо неверными. Гений — не биологическое явление. Дитя не может родиться гениальным; чтобы стать гением, нужно учиться. Биологи, которые думают

иначе, не считаются с данными собственной науки: человек как биологический вид не получил в процессе эволюции задатков гениальности, и нет оснований считать, что гениальность передается от родителей к детям.

То, что гении появляются редко, объясняется простыми вероятностными соображениями. Ребенок должен многое выучить раньше, чем он достигнет зрелости. Можно по-разному научиться делать такие арифметические действия, как, скажем, умножение. Это значит, что мозг может развиваться в различных направлениях, каждое из которых дает возможность умножать числа, но отнюдь не одинаково легко. Тех, кто развивается удачно, называют «сильными» в арифметике, а тех, кто вырабатывает в своем мозгу неудачные способы, называют «слабыми» или «неспособными». Отчего же зависит, как будет развиваться данная личность? Я уверен, что только от случая. И случай же определяет разницу между гением и тупицей. Гений — тот, кому повезло в процессе обучения. С тупицей случилось обратное, а обычный человек — это тот, кто не был ни особенно удачлив, ни особенно неудачлив.

— Боюсь, я слишком похож на тупицу, чтобы понять, о чем оно там толкует. Может быть, кто-нибудь объяснит? — заметил Паркинсон во время перерыва в передаче.

— Ну, если считать, что обучение может проходить разными путями, из которых один лучше, чем другие, то я думаю, что это действительно вопрос случая, — ответил Кингсли. — Это как пари на футболе. Вероятность того, что ребенок выберет самый лучший способ обучения для каждого из дюжины предметов, не больше, чем вероятность заранее угадать победителя в двенадцати футбольных матчах.

— Понимаю. И это объясняет, почему гений — такая редкая птица, верно? — воскликнул Паркинсон.

— Да, он встречается не чаще, чем человек, который выиграл все пари за целый футбольный сезон. Это также объясняет, почему гений не может передать детям свои способности. Везение не передается по наследству.

Облако возобновило передачу.

— Это наводит на мысль, что человеческий мозг от природы способен действовать гораздо совершеннее, если только вести обучение наилучшим образом. Вот это я и предлагаю сделать. Я предлагаю, чтобы кто-нибудь из вас попытался научиться моему способу мышления и потом

мы постараемся найти наилучший метод обучения. Ясно, что учиться придется не на вашем языке и связь нужно организовать совсем по-новому. Из ваших органов чувств наиболее подходят для получения сложной информации глаза. Правда, вы почти не пользуетесь глазами в обычном разговоре, но именно с помощью глаз ребенок воспринимает картину окружающего мира. И с помощью глаз я хочу открыть вам новый мир.

Мои требования будут сравнительно просты. Сейчас я их изложу.

Последовали технические детали, которые Лестер тщательно записал. Когда Облако кончило, Лестер сказал:

— Ну, это будет не так уж трудно. Что-то вроде громадного телевизора со множеством экранов.

— А как мы должны получать информацию? — спросил Марлоу.

— Ну, конечно, первичная информация будет поступать по радио, а затем через узкополосные усилители отдельные группы сигналов будут подаваться на электронно-лучевые трубки.

— Для каждого усилителя будет свой код.

— Правильно. Так что какая-то упорядоченная картина будет поступать на трубки, хотя ума не приложу, как мы будем в ней разбираться.

— Пора начинать. Времени у нас мало, — сказал Кингсли.

Настроение обитателей Нортонстоу значительно улучшилось после этой беседы. Вечером они, возбужденные и заинтересованные, собрались у только что установленной аппаратуры.

— Пошел снег, — заметил Барнет.

— Боюсь, нас ждет суровая зима, не говоря уже об этой двухнедельной арктической ночи, — сказал Вейхарт.

— Вы понимаете, к чему все это представление?

— Понятия не имею. Что можно узнать, глядя на эти трубки?

— И я тоже ничего не понимаю.

Первое сообщение Облака вызвало некоторое замешательство:

— Лучше, если участвовать будет только один человек, во всяком случае вначале. Позднее я смогу обучить остальных.

— А я-то думал, мы все получим билеты в ложу бель-этажа,— заметил кто-то.

— Нет, это правильно,— сказал Лестер.— Видите, аппаратура установлена так, что на нее удобно смотреть только сидя вот в этом кресле. Нам были даны специальные инструкции, как расположить места для зрителей. Я сам не понимаю, что все это значит, но надеюсь, мы все сделали правильно.

— Ну, вызовем добровольца,— объявил Марлоу.— Кто первый?

Последовала долгая пауза. Наконец Вейхарт вышел вперед.

— Если все боятся — я согласен быть первым подопытным кроликом.

Мак-Нейл пристально посмотрел на него.

— Есть одно обстоятельство, Вейхарт. Понимаете ли вы, что это опасная затея? Отдаете себе в этом отчет?

Вейхарт рассмеялся.

— Не волнуйтесь. Не в первый раз мне придется провести несколько часов, глядя на экран.

— Ну, смотрите сами. Если хотите попробовать, садитесь в кресло.

— Будьте осторожны с креслом, Дэйв. Может быть, Гарри специально для вас подключил к нему ток,— пошутил Марлоу.

Вскоре на экранах стали вспыхивать огоньки.

— Джо начинает,— сказал Лестер.

Трудно было сказать, вспыхивали огоньки в каком-то порядке или нет.

— Что он говорит, Дэйв? Вы что-нибудь понимаете?— спросил Барнет.

— Пока ничего не понятно,— ответил Вейхарт, закидывая ногу на ручку кресла.— По-моему, это полная неразбериха. Но я все-таки попробую найти в ней какой-нибудь смысл.

Время тянулось тоскливо. Большая часть общества потеряла интерес к переливающимся огонькам. Начались разговоры, и Вейхарта оставили наедине с экраном.

Наконец, Марлоу спросил его:

— Как дела, Дэйв?

Ответа не было.

— Эй, Дэйв, в чем дело?

Молчание.

— Дэйв!

Марлоу и Мак-Нейл подошли с двух сторон к креслу Вейхарта.

— Дэйв, почему вы не отвечаете?

Мак-Нейл тронул его за плечо, но ответа по-прежнему не было. Они следили за его глазами, направленными сначала на одну группу трубок, затем быстро перебегающими на другую.

— В чем дело, Джон? — спросил Кингсли.

— По-моему, он в каком-то гипнотическом состоянии. Похоже, сейчас он способен воспринимать что-либо только глазами, а глаза не отрываются от экранов.

— Как это могло случиться?

— Хорошо известно, что зрительные воздействия могут вызвать гипнотическое состояние.

— Вы думаете, оно было вызвано умышленно?

— Очень похоже на то. Едва ли это могло произойти случайно. И посмотрите на его глаза. Глядите, как они двигаются. Это не просто так, в этом какой-то смысл, глубокий смысл.

— По-моему, Вейхарт — не очень подходящий объект для гипнотизера.

— Согласен. Страшное зрелище и совершенно необычное.

— Что вам кажется необычным? — спросил Марлоу.

— А вот что. Обычный гипнотизер может пользоваться зрительными воздействиями, но он никогда не ограничивается только ими. Гипнотизер говорит своему объекту, он передает смысл словами. Но здесь нет слов. Чертовски странно.

— Интересно, ведь вы предупреждали Дэйва. У вас были какие-то предчувствия, Мак-Нейл?

— Да нет, ничего определенного. Правда, физиологи недавно обнаружили, что вспышки света при частоте, близкой к частоте сигналов в мозгу, производят необычное действие. С другой стороны, было ясно, что Облако может выполнить свое обещание только каким-то совершенно необычайным способом.

Кингсли подошел к креслу.

— Не думаете ли вы, что мы должны что-то сделать? Может быть, утащить его? Мы могли бы легко это сделать.

— Я бы не советовал, Крис. Он, вероятно, стал бы яростно сопротивляться, а это может быть опасно. Самое луч-

шее — оставить его в покое. Он пошел на это с открытыми глазами в буквальном и переносном смысле слова. Я, конечно, останусь с ним. Остальные должны уйти отсюда. Оставьте кого-нибудь на случай, если нужно будет связаться с вами — Стоддарт подойдет — и тогда я позову вас, если понадобится.

— Хорошо. Мы будем наготове, — согласился Кингсли.

Уходить из лаборатории никому не хотелось, но было ясно, что Мак-Нейл говорит дело.

— А то еще, чего доброго, всех нас загипнотизируют, — заметил Барнет, — только бы со стариной Дэйвом все обошлось, — добавил он с беспокойством.

— Можно, наверное, просто выключить установку. Но Мак-Нейл боится, как бы не наделать этим беды.

— Еще вызовешь у Вейхарта какой-нибудь шок, — сказал Лестер.

— Чертовски интересно, чему он сейчас учится, — сказал Марлоу.

— Скоро узнаем. Едва ли передача будет продолжаться много часов. Такого до сих пор не бывало, — заметил Паркинсон.

Но передача оказалась долгой, и постепенно все разбрелись по своим комнатам.

Марлоу выразил общее мнение:

— Ну, Дэйву мы помочь все равно не можем, а спать хочется. Я, пожалуй, пойду вздремну.

Стоддарт разбудил Кингсли.

— Доктор просит вас, мистер Кингсли.

Оказалось, что Мак-Нейл и Стоддарт уже перенесли Вейхарта в одну из спален — сеанс был закончен.

— Как дела, Джон? — спросил Кингсли.

— Не нравится мне его состояние, Крис. Температура быстро повышается. Думаю, вам незачем к нему идти. Он без сознания и едва ли придет в себя с температурой 40°.

— Как вы думаете, в чем дело?

— Не знаю, никогда в жизни ничего подобного не видел. Но если бы я не знал, что здесь происходило, я сказал бы, что у Вейхарта воспаление мозга.

— Это ведь очень серьезно?

— В высшей степени. Помочь ему мы все равно не можем, но, по-моему, вам надо быть в курсе дела.

— Да, конечно. Как вы думаете, отчего это?

— Я бы сказал, слишком напряженная работа нервной

системы и всех связанных с ней тканей. Но это тоже только предположение.

Весь день температура у Вейхарта повышалась, и к вечеру он умер.

По профессиональным мотивам Мак-Нейл хотел произвести вскрытие, но, щадя чувства окружающих, решил этого не делать. Он избегал людей и был полон мрачных мыслей — ведь он должен был предвидеть трагедию и принять меры, чтобы предотвратить ее. Но он не предусмотрел ни того, что случилось, ни того, что еще предстояло.

Первое предупреждение исходило от Энн Холси. Она прибежала к Мак-Нейлу, близкая к истерике.

— Джон, вы должны мне помочь. Это Крис. Он собирается убить себя.

— Что?!

— Он хочет сделать то же, что Дэйв Вейхарт. Я уже несколько часов его отговариваю, но он и слушать не желает. Говорит, что попросит эту штуку вести передачу с меньшей скоростью, чем когда она убила Дэйва. Вы думаете, это поможет?

— Как знать? Я ни за что не ручаюсь. Слишком мало об этом знаю.

— Скажите мне откровенно, Джон, есть хоть какая-нибудь надежда?

— Может быть. Но мне трудно сказать что-то определенное.

— Тогда вы должны его остановить.

— Попробую. Пойду и поговорю с ним напрямик. Где он?

— В лаборатории. Говорить бесполезно. Его нужно остановить силой. Это — единственный способ.

Мак-Нейл пошел прямо в лабораторию радиосвязи и забарабанил изо всех сил в запертую дверь. Голос Кингсли едва можно было расслышать:

— Кто это?

— Это Мак-Нейл. Впустите меня.

Дверь открылась. И Мак-Нейл сразу увидел — аппаратура была включена.

— Энн только что пришла и рассказала мне, Крис. Это чистое безумие. Ведь не прошло и нескольких часов после смерти Вейхарта.

— А вы думаете, Джон, я это делаю с удовольствием? Могу вас заверить, я люблю жизнь не меньше вашего. Но

на это нужно пойти, и непременно сейчас. Через неделю будет уже поздно, а такую возможность мы, люди, просто не можем позволить себе упустить. После бедняги Вейхарта едва ли кто-нибудь другой отважится, так что это мой долг. Я не из тех храбрецов, которые хладнокровно рассуждают о предстоящей опасности. Если я должен делать опасную работу, то предпочитаю браться за нее сразу — меньше будет времени на неприятные раздумья.

— Все это понятно, Крис, но никому от вашей смерти лучше не станет.

— Глупости. Ставки в этой игре очень высоки, так высоки, что стоит попытаться даже при небольших шансах на выигрыш. Это во-первых. А во-вторых, мои шансы, может быть, не так уж малы. Я уже связался с Облаком и попросил его уменьшить, насколько возможно, скорость передачи. Оно согласилось. Вы сами сказали, что это может устранить главную опасность.

— Может, да. А может, и нет. Кроме того, если даже вы избежите того, что погубило Вейхарта, могут быть другие опасности, о которых мы и не подозреваем.

— Тогда вы узнаете о них благодаря мне, а это облегчит дело для кого-нибудь еще — ведь после Вейхарта мне легче браться за дело. Ни к чему это, Джон. Решение мое бесповоротно, и я начну через несколько минут.

Мак-Нейл понял, что Кингсли не переубедишь.

— Ну, что ж, делать нечего, — сказал он. — Я думаю, вы не будете возражать, если я останусь здесь. У Вейхарта это продолжалось около десяти часов. У вас будет дольше. Вам понадобится пища, чтобы поддерживать приток крови к мозгу.

— Но я не могу делать перерыва для еды, Джон! Вы понимаете, что я должен сделать? Освоить целую новую область знаний, освоить ее всего за один урок!

— Я и не настаиваю на перерыве для еды. Я хочу время от времени делать вам инъекции. Судя по состоянию Вейхарта, вы этого даже не заметите.

— О, меня это нимало не тревожит. Уколы так уколы, если вам приятно. Но простите, Джон, пора приступать к делу.

Нет необходимости подробно описывать последующие события. С Кингсли все происходило примерно так же, как и с Вейхартом. Гипнотическое состояние продолжалось, однако, дольше — около двух дней. Наконец Кинг-

сли уложили в постель по указанию Мак-Нейла. В течение последующих нескольких часов обнаружились симптомы, устрашающе сходные с теми, что наблюдались у Вейхарта. Температура у Кингсли подымалась до 38... 39... 40°. Но затем жар стал спадать — температура установилась и час за часом стала медленно понижаться. И по мере того, как температура падала — росла надежда тех, кто был у постели больного: у Мак-Нейла и Энн Холси (она не отходила от Кингсли), у Марлоу и Паркинсона.

Больной пришел в сознание через тридцать шесть часов после окончания передачи. Несколько минут выражение лица Кингсли менялось самым неожиданным образом; иногда оно становилось совершенно неузнаваемым, и внезапно стало ясно, что с Кингсли творится что-то страшное. Это началось с произвольных подергиваний лица и нечленораздельного бормотания, которое быстро перешло в крики, а затем в дикие вопли.

— О боже, у него какой-то припадок! — вскричал Марлоу.

Наконец, приступ утих после того, как Мак-Нейл сделал укол и потребовал, чтобы его оставили одного с больным. Весь день остальные слышали время от времени заглушенные крики, которые затихали после новых инъекций.

Марлоу удалось уговорить Энн Холси выйти с ним погулять после обеда. Это была самая тяжелая прогулка в его жизни.

Вечером он мрачно сидел у себя в комнате, когда вошел Мак-Нейл, без сил, с потухшими глазами.

— Он скончался, — проговорил ирландец.

— О боже, какая ужасная трагедия, ненужная трагедия!

— Это еще более страшная трагедия, чем вы думаете.

— А что еще?

— Я хочу сказать, что он чуть не выпутался. После обеда он был в полном сознании около часа. Он объяснил мне, что произошло. Он боролся, и минутами я думал, что он победит. Но получилось не так. Наступил новый приступ и убил его.

— Но что же это было?

— Нечто совершенно закономерное, мы должны были это предвидеть. Мы не учли, какое невероятное количество нового материала Облако способно сообщить мозгу. Это, конечно, должно повлечь широкие изменения в структуре

многочисленных электрических контуров мозга, изменения местных сопротивлений в больших масштабах и так далее.

— Вы хотите сказать, весь мозг должен был полностью перестроиться?

— Нет, не совсем так. Перестройки не требовалось. Старые нервные связи мозга остались нетронутыми. Новые связи устанавливались параллельно со старыми, так что и те и другие могли работать одновременно.

— То есть, получилось так, как если бы мои познания были добавлены в мозг древнего грека?

— Да, но, пожалуй, в еще более крайней форме. Можете вы представить себе, какие жестокие противоречия будут раздирать мозг вашего бедного грека, привыкшего к представлениям о Земле как о центре вселенной и еще к сотне подобных анахронизмов, если внезапно на него обрушится запас ваших современных знаний?

— Да, нелегко ему придется. В конце концов, ведь все мы очень тяжело переживаем, если хотя бы одна из взлелеянных нами научных идей оказывается неверной.

— Именно, и представьте себе религиозного человека, который внезапно теряет веру, а это означает, конечно, что он узнает о противоречии между его, религиозными, и нерелигиозными убеждениями. Такой человек часто переживает тяжелый нервный кризис. А случай Кингсли был в тысячу раз хуже. Его убило невероятное возбуждение нервной активности, или, пользуясь ходячим выражением — ряд невообразимо жестоких душевных потрясений.

— Но вы сказали, он почти преодолел это.

— Так оно и было. Он понял, в чем дело и выработал своего рода план, как с этим справиться. Вероятно, он решил принять за правило, что новое всегда должно перебивать старое, каковы бы ни были противоречия между ними. Я наблюдал, как он целый час систематически прослеживал ход своих мыслей с этой точки зрения. Стрелка отсчитывала минуты, и мне казалось, что битва выиграна. Потом что-то случилось. Вероятно, какое-то переплетение логических ходов, неожиданное для него. Сначала расстройство мысли было незначительным, но затем оно начало нарастать. Он отчаянно боролся, но, видимо, у него иссякли силы, и наступил конец. Он умер спокойно — я ввел ему успокаивающее. Наверное, это была своего рода

цепная реакция в его мыслях, которая вышла из-под контроля.

— Хотите виски? Нужно бы предложить вам раньше.

— Теперь, пожалуй, выпью, благодарю вас.

— Не кажется вам,— сказал Марлоу, передавая стакан,— что Кингсли не годился для этого эксперимента? Кто-нибудь другой, с гораздо более низким умственным уровнем подошел бы больше? Если его погубило противоречие между старыми знаниями и новыми, то, несомненно, кто-нибудь с очень малым запасом старых знаний подошел бы куда лучше.

Мак-Нейл посмотрел на Марлоу поверх своего стакана.

— Интересно, как интересно, что вам это пришло в голову! Когда Кингсли уже перед концом пришел в себя, он сказал — я постараюсь вспомнить точно его слова: «Какая злая ирония,— сказал он,— меня эта история убила, а ведь Джо Стоддарт или кто-нибудь вроде него остался бы цел и невредим».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

А теперь, мой дорогой Блайс, я могу снова говорить, обращаясь непосредственно к Вам. Так как Ваша мать родилась в 1966 году, а ваша бабушка с материнской стороны носила фамилию Холси, вы поймете теперь, почему я завещал эти документы вам.

Остается сказать немного. Солнце появилось ранней весной 1966 года; однако холода продолжались. Но, удаляясь от Солнца, Облако принимало такую форму, которая могла отражать в направлении Земли часть падающей на него солнечной энергии. И уже в начале мая установилась теплая летняя погода, а это было особенно приятно после холодной зимы и весны. Итак, Облако ушло из солнечной системы. История Черного облака, как ее обычно понимают, пришла к концу.

После смерти Кингсли и ухода Облака те из нас, кто остался в Нортонстоу, не видели смысла продолжать свою прежнюю тактику. Паркинсон отправился в Лондон и объявил, что уход Облака был результатом наших благородных усилий. Эту версию было не так уж трудно поддерживать: истинная причина ухода Облака не могла прийти в голову никому за пределами Нортонстоу. Меня всегда огорчало, что Паркинсон позволил себе бросить тень на бедного Кингсли: изобразил его как своенравного упрямца и дал понять, что мы его убрали силой. Этому тоже поверили, ведь по вполне понятным причинам и в Лондоне, да и во всем мире, Кингсли считали крайне неприятной личностью. Смерть Кингсли делала эту версию совсем правдоподобной. Короче говоря, Паркинсону удалось убедить британское правительство не предпринимать мер против своих подданных и не соглашаться на высылку иностранцев. Другие правительства неоднократно требовали выдачи своих подданных, но по мере того как политическое положение становилось устойчивым и Паркинсон приобретал все больший вес в правительственных кругах, становилось все легче отражать эти нападки.

Марлоу и все остальные, кроме Лестера, остались в Англии. Их имена можно найти в научных журналах. Лестер, как я уже сказал, не захотел остаться. Вопреки советам Паркинсона, он стремился домой, в родную Австралию. Но ему не суждено было туда вернуться: пришло сообщение, что в пути он исчез с корабля. Марлоу оставался в близкой дружбе и с Паркинсоном и со мной до своей смерти в 1981 году.

Все события, описанные мной, уже отделены от нас пятьюдесятью годами. На сцену вышло новое поколение. Люди, которых я описал здесь, давно забыты. Но я по-прежнему вижу их всех так ясно: Вейхарт, молодой, талантливый, с едва сформировавшимся характером; кроткий Марлоу, вечно дымящий своим отвратительным табаком; Лестер, остроумный и веселый; Кингсли, блестящий, необычный, многословный. Этому поколению было свойственно ошибаться, оно не совсем понимало, куда идет. Но в некотором

смысле это было героическое поколение, неразрывно связанное в моем сознании с первыми звуками великой сонаты, которую Ваша бабушка играла в ту памятную ночь, когда Кингсли впервые разгадал истинную природу Черного облака.

Итак, я подхожу к концу, казалось бы, довольно безрадостному. Однако это не так. Я оставил под конец один сюрприз. Код! Вначале только Кингсли и Лестер имели доступ к коду, с помощью которого устанавливалась связь с Облаком. Марлоу и Паркинсон думали, что код погиб вместе с Кингсли и Лестером, но они ошибались. Кингсли передал его мне, когда в последний раз пришел в себя. Код находился у меня все эти годы, и я не мог решить, должен я раскрыть тайну его существования или нет. Предоставляю теперь вам решать эту проблему.

В последний раз примите мои наилучшие пожелания.

Джон Мак-Нейл.

ЭПИЛОГ

Я впервые прочел удивительный рассказ Мак-Нейла о Черном облаке в холодный, дождливый день — такой же январский день, какой пережил Кингсли много лет назад. И весь вечер я сидел перед камином у себя в комнате в Колледже королевы. Кончив читать рукопись (я закончил чтение с грустью, ибо Мак-Нейл покинул нас несколькими днями раньше с неумолимой неизбежностью, присущей только смерти), я распечатал последний оставшийся пакет. Внутри находилась маленькая металлическая коробка с катушкой бумажной ленты, пожелтевшей от времени. На ленте было пробито больше десяти тысяч крохотных дырочек, какие употреблялись в считывающих аппаратах старой конструкции. Это был код! Я мог швырнуть бумагу в огонь и в один миг всякая возможность дальнейшей связи с Облаком погибла бы навеки.

Но я сделал другое. Я заказал тысячу копий кода. Должен ли я разослать их по всему миру, чтобы кто-нибудь, где-нибудь, раньше или позже опять установил с Облаком связь? Хотим ли мы остаться большими людьми в маленьком мире или стать маленькими людьми в более обширном мире? Вот основная мысль, к которой ведет все это повествование.

Дж. Б.

17 января 2021 года.

*Перевод с английского Д. А. Франк-Каменецкого,
доктора физико-математических наук.*

Редактор перевода Н. Явно



Советская фантастика



Лидия Обухова

ЛИЛИТ

П О В Е С Т Ъ

...Лилит сама разрушила свой дом и удалилась в неведомые места, куда еще никто не проникал.

Из шумерийского мифа

ТАБУНДА

И все, что есть, началось
через мятеж.

Максимилиан Волошин

Звезда шла по кругам Вселенной.

Не следимая ничьим глазом с Земли, она упорно посылала азбуку своего луча. Но звери двигались по плоскости, а человеческим существам ночной небосвод затмевало утлое пламя костров; они не ощущали многомерности пространства.

Звезда приближалась, хотя была далеко, в расстоянии нескольких планетных поколений.

...Задремав, Лилит внезапно проснулась. Ей казалось, что между этими двумя мгновеньями прошло не больше, чем надо для взмаха руки; на самом деле она проспала два костра. Солнце давно зашло, и черное небо спутало ветви.

Ее разбудили звуки барабана. Она подняла голову. Накануне племя удачно охотилось; только один загонщик не избежал беды: лапа издыхающего зверя сорвала лоскут

кожи с его плеча. Но кровь скоро уняли, и теперь он веселился вместе со всеми возле общего костра.

Лилит с любопытством вытянула шею. Она спала, как и все дети, за частоколом, через который не смог бы перескочить зверь. Подстилка из охапок травы густым ароматом увядания перебивала остальные запахи. Зелень, прежде чем превратиться в груды желтых чешуек, выдыхала влагу; листья были еще живы, а цветы, как выброшенные на берег рыбы, раскрывали рты — их венчики впервые не сомкнулись перед вечером.

Лилит ладонью пыталась отогнать цепкий запах; глаза ее жадно ловили отсвет костра. В дымной красноватой мгле разносились звуки табунды: разрозненные удары, похожие на толчки крови. По жилам Лилит они проходили, как струи огня, вызывая то холод, то жар.

Она растерянно толкнула одного, другого, третьего из спящих. Толкнула грубо, как существо, которое само притерпелось к боли и привыкло причинять ее другим, не считая боль чем-то важным, не то, что голод!

Но никто не проснулся. Сверстникам с избытком хватало дня, они засыпали до заката; для них солнце никогда не обрывало своего шествия. Если же их будили из-за ночной тревоги, они лишь слепо хлопали веками: переполох представлялся сновидением.

Но Лилит с младенчества знала, что существует ночь — оборотная сторона мира. Об этом ей рассказывала мать, родившая ее близко к полуночи. Само имя «Лилит» означало темноту, мрак, когда даже редкие звезды скрыты за облаками — и все удивлялись: почему выбрано такое пугающее слово? Ведь другие женщины поручали своих детей дневным силам. Но мать Лилит захотела, чтоб ее дочь была дочерью ночи. В странном упорстве болезненной женщины, возможно, таилась надежда, что именно ее ребенок со временем преступит ночные страхи, как смелые пере шагивают магический круг.

Мать никогда не говорила об этом с Лилит, да и виделись они редко: отнятые от груди дети росли под присмотром старух, а мужчины и женщины были одинаково заняты добыванием пищи.

Люди племени Табунда (что означало «создавшие барабан») уже давно шли по лесам, останавливаясь только для охоты. Они изо всех сил стремились выбраться на открытое место, в травянистую равнину, подобную той, откуда при-

шли сами. Они чувствовали себя похороненными в дремучем лесу; его враждебная настороженность угнетала: никаких троп, кроме звериных! Случайные встречи с себе подобными оставляли лишь чувство недоумения: люди леса были дики и трусливы, они видели в каждом приближающемся врага и исчезали прежде, чем удавалось их окликнуть. А племя все шло и шло среди гигантских деревьев, источавших янтарные и стекловидные смолы. Лилит не могла знать, когда начался великий исход и что послужило ему причиной. Она родилась в пути. Для нее лес был уже родиной, а изъеденные грызунами поваленные стволы — колыбелью и приютом. Но мать Лилит говорила, что помнит ночное небо со многими огнями! До конца жизни, до самой своей ранней смерти, — она погибла, ужаленная змеей, — мать тосковала под низкими сводами деревьев, сквозь которые только иногда проглядывал искаженный продолговатый лик звезды.

Впрочем, едва ли и мать воочию видела то бескрайнее небо: ведь она была так молода, а лес так огромен! По наивности, неумению отделить себя от других людей, она могла просто населить свою память чужими рассказами: племя было беспомощно в отсчете времени; жизнь на равнине представлялась вчерашним днем.

Но куда двигались люди Табунды? Куда вообще текли все человеческие племена? Подобно воде, они заполняли впадины планеты.

Где-то на севере паслись овцебыки; в зарослях попадались лесные слоны, и пятнистая лошадь, большеголовая, с крупными зубами и узкой мордой, свирепо ржала и носилась по равнинам — но это был уходящий мир!

После того, как земля трижды глубоко вздохнула, то смежая замерзшие очи континентов, то широко раскрывая их — и тогда озера тающих ледников доверчиво вперялись в небеса, а потом вновь надвигалось оледенение, холодные ветры иссушали почву, она трескалась, разрушались морены, и желтоватая пыль неслась тысячи километров, пока не оседала где-нибудь слоями плодородного лёсса, — после всего этого сначала в сумрачных лесах, а потом на зеленых равнинах появился человек.

Он был незаметен, но не беспомощен. За него стояла его молодость!

История племени Табунда началась с создания барабана. Кожу убитого животного натянули на сплетенные кру-

гами ветви. Когда последние капли сока ушли из них, ветви высохли, барабан стал тугим и легким. Достаточно было самого поверхностного прикосновения, чтоб кожа его, задрожав, испускала странные звуки — еще бесконечно далекие от музыки, но уже ритмичные и волнующие.

Табунда — барабан — был ничьим. Его бережно переносили с места на место, укрывая от дождей; он считался достоянием каждого. Даже самым крошечным детям разрешалось иногда опустить смуглые замаранные ладошки на его певучую кожу.

Племя стало называться Табундой в подражание звуку барабана. Когда после удачной охоты все отходили от костров насытившись и не могли уснуть в теплую лунную ночь, тут-то и начиналось его главенство! Каждый спешил рассказать о своей храбрости, прилгнуть и похвастать, а так как слов было мало, приходилось вертеться вьюном, подпрыгивать, чтоб стать повыше ростом и, конечно же, бить в барабан: где много шума, там много силы!

...Проснувшись от звуков табунды, Лилит сначала и не помышляла о нарушении запрета. Он гласил достаточно ясно: с наступлением сумерек дети не должны покидать огороженное место ночлега. Но барабан звучал и звучал; его разрозненные такты обладали притягивающей силой, они словно пульсировали — и это было, как первый зов пробуждающегося существа.

Лилит расшатала колья, вслед за головой в дыру протиснулись узкие плечи. Не замечая царапин, она вырвалась на волю, подобно зверьку из силка.

Глаза ее скоро привыкли к темноте; она с удивлением убедилась, что различает все вокруг почти так же отчетливо, как и днем.

Неизмеримое пространство лесов, окружающих ее, кишело ночными страстями, погоней сильного за слабым. Пламя костра было похоже на открытую рану.

Ощутив холод росы, Лилит опомнилась. Костер светил ближе, изгородь осталась за спиной. Ей казалось, что множество глаз уставилось на нее: глаза деревьев, глаза травы, глаза пламени... Она задержала дыхание; сейчас на затылок должна обрушиться карающая лапа зверя. Девочка ждала возмездия; дрожь пробегала по ее коже, как по шкуре перепуганного волчонка.

И все-таки Лилит поступила так, как до нее и после нее делали миллионы людей: она не позволила страху пора-

ботить себя! Инстинкт самосохранения в одинаковой мере плодит трусов и толкает к смелости: ведь избежать опасности можно двояко — убегая от нее или же идя ей навстречу, чтобы убедиться в ее реальности.

Лилит поползла вперед.

А табунда гудел и гудел, и запах жареного мяса, которым угощались взрослые после удачной охоты, мирно витал над поляной.

Когда Лилит вступила в возраст, предшествующий зрелости, любой ее шаг стал опутан самыми стеснительными запретами. Она уже не спала с детьми за изгородью, но в некотором расстоянии от стойбища оставался очерчен как бы невидимый круг, который ей запрещалось переступать. Правда, с каждым переходом круг этот расширялся все больше и больше.

Люди племени Табунда шли уже так долго, что их кожа от постоянного сырого полусвета сделалась бледной. Но зато они сызмала хорошо разбирались в следах кабанов и лесных антилоп, безошибочно различали деревья с мягкой древесиной и с твердой, годной для дротиков, обламывали молодые побеги, ловко подстерегали съедобных насекомых и доставали птичьи яйца. Они жили, как все люди в те далекие времена: искали пищу и равнодушно проходили мимо железных руд.

В начале лета женщины племени отправились к дальней речной заводи, поросшей камышом. Им предстояло перевернуть целые поля вязкой грязи, отыскивая съедобные клубни и луковицы. Во время их отлучки об оставшихся детях заботились подростки. Лилит, самая старшая, с рассвета уходила бродить по окрестностям и возвращалась к полудню. Ее плетеный мешок почти всегда был набит мелкими плодами со светлой кожурой; их пекли на угольях, обложив кусками коры. Приносила она и черные волокнистые корни, которые тут же жарили, и дети, хорошенько разжевав их, глотали клейкий сок. Иногда ей везло: она подшибала ящерицу или находила больших белых гусениц. Приходилось довольствоваться любой пищей, пока не возвратятся сборщицы клубней и не напекут лепешек, а дротики мужчин не настигнут дичь.

Хотя дневной лес был пронизан нитями солнечного света, Лилит не углублялась в чашу. Она знала, что лес,

подобно водной глади, готов безжалостно поглотить неосторожного. Суша была еще неподвластна человеку, как до сих пор людям чужды моря и океаны: ведь даже жизнь обыкновенного стоячего пруда идет уже по собственным законам!

Лилит шла, становясь на всю ступню, и все-таки шаг ее казался бесшумным, словно ноги обладали умом и сами выбирали дорогу, пока она настороженно озиралась по сторонам.

Неожиданно перед нею упала тень человека. Мгновение понадобилось ей, чтоб скользнуть взглядом от длинных голеней и узких бедер к выпуклой груди, мускулистой шее, на которую была посажена голова с плотно прижатыми ушами, что придавало всему облику и нечто звериное, настороженное, и в то же время человечески благородное. Выцветшие рыжевато-коричневые пряди, стянутые лубяным обручем, падали на лоб.

Тень еще касалась босых ступней Лилит, а напряжение уже оставило ее. Она вздохнула с облегчением: ведь это был Одам, с которым они росли рядом, и лишь последний год разъединил их: Одам вступил в сообщество охотников, а Лилит оставалась под присмотром матерей.

Несколько мгновений они в смущении стояли друг перед другом. В травяном мешке Лилит поверх собранной снеди лежало два круглых плода с глянцевиной кожурой. Они были незрелы, узкое кольцо мякоти вязало язык, но все-таки годились в пищу. Лилит исхитрилась сбить их с самой макушки дерева. Солнечное пятно сквозь густые листья упало на кожуру, которая засверкала, подобно блику огня.

— Дай мне их, — сказал Одам. — Твое лицо приятно и красиво. — Это была обычная формула вежливости. Помедлив, он добавил: — Ты стала совсем большая.

Он протянул руку к мешку, Лилит сердито отстранилась. Неужели он мог забыть, что девушкам ее возраста предписывается молчание?

Одам продолжал смотреть на нее с улыбкой, но она отскочила, как распрямившееся деревце, и пошла прочь, на ходу стянув мешок ивовой веткой, потом вскинула его себе на голову и шла дальше, уже подобная кувшину с двумя поднятыми и изогнутыми руками.

— Хэо! — недоуменно окликнул ее он. И повторил нетерпеливее: — Хэо?!

Тогда Лилит с обидой крикнула, не оборачиваясь:

— Я не прошла обряда взрослости, разве ты не помнишь об этом? Нам нельзя говорить!

За ее спиной наступило растерянное молчание. Одам и сам-то совсем недавно сделался взрослым охотником; обычаи племени были для него святы, а теперь он нарушил один из них! Это привело его в замешательство. Однако он продолжал брести за девушкой, понурия голову.

— Мы ведь можем идти рядом молча, — пробормотал он, глядя в сторону.

Она не разжала губ. Ее взгляд, всегда ускользающий, диковатый, теперь упрямо устремлялся вперед. Одам шел, отступя на полшага, как и положено мужчине, прикрывающему женщину от неожиданной опасности сзади.

Лес размыкался перед ними и смыкался вновь. Цепкие стебли плюща и лиан образовали узорные стены между стволами. На зеленом мху загорались солнечные искры. Каждое упавшее дерево давало приют бесчисленным племенам насекомых; снуя по поверхности мертвой коры, они взблескивали металлическими панцирями, стрекотали и жужжали в ненасытном желании быстрее прожить свою короткую жизнь. Бледные гроздья хищных цветов раскрывали липкие зёвы. В верхнем ярусе зеленого здания перекрикивались птицы:

— Гораль-кор!

— Варр!

— Вик-вик!

Голоса были так громки, что на мгновение оба остановились, с детским любопытством задрав головы. Птицы продолжали неистово бить клювами. Одам прищелкнул языком, повторяя птичий звук. Лилит искоса одобрительно глянула на него.

— Возьми, — сказал вдруг Одам, ловя этот взгляд и срывая с плеча связку мелкой дичи. — Ешь.

— Твоя рука щедра и добра, — прошептала она потупившись.

Молодой голод охватил обоих вдруг с такой силой, что они тотчас остановились и, присев на корточки, разожгли огонь. Одам вращал между ладонями палку с заостренным концом в углублении куска мягкого дерева, а Лилит обложила ее пучком сухого мха, похожего на бледно-зеленый мех.

Дожидаясь, пока костер прогорит и на раскаленные угли можно будет положить ободранную тушку, Одам и

Лилит сидели по обе стороны огня. Они изо всех сил оберегали остатки молчания.

Чтоб пламя не подпалило волос, Лилит подобрала их травяным шнурком, который сплела мимоходом; как у всех людей племени, у нее были тонкие гибкие пальцы, способные к любому ремеслу.

От обложенного песком мяса пошел вкусный пар.

Одам сдерживал нетерпенье; он не хотел поступать, как другие мужчины, когда они голодны: отрезать ломоть сырого мяса и съесть его, едва опалив на огне. Ему хотелось дожидаться и получить свою пищу из рук Лилит.

Внезапно он вспомнил, как совсем маленькими они собирали улиток на отмели лесного озера, и когда разбили первую ракушку, горькая жидкость обожгла небо: им попался несъедобный моллюск!

Он весело прыснул, уйдя в воспоминание, но тотчас досадливо зацокал языком: ведь Лилит могла подумать, что он потешается над ней! И, поясняя, сделал указательным пальцем движение вниз ото рта, изображая символ яда. Лилит поспешно оглянулась, думая, что он предупреждает ее о змее. Одам успокоительно затряс головой.

— Горькая ракушка,— не выдержав сказал он.— Помнишь? Давно, на озере. Мы были, как оленята.

Они облегченно залились смехом, глядя друг на друга через колеблющийся горячий воздух. Общее воспоминание вернуло Лилит доверие.

— Мужчины возвращаются? Охота была удачной? — спросила уже сама девушка, усаживаясь поудобней и кладя подбородок на согнутое колено.

Одам отозвался:

— Мужчины возвращаются, но они еще далеко. Охота была удачной.

— Твои ноги быстры и легки,— одобрительно повторила Лилит, снова искоса посмотрев на него.

После еды они утолили жажду мутной водой ручья. Бронзовое солнце перешло с правой руки на левую.

Перед стойбищем они замедлили шаги. Их никто не должен был видеть вдвоем.

Одам подошел к Лилит вплотную и легким движением провел ладонью по ее лицу и плечам — так благодарят на праздниках удачливых танцоров. Он сам не знал, за что благодарил ее.

Кожа Лилит была прохладной и гладкой, как у молодой лягушки. Ее убегающий взгляд, вытянутые трубочкой губы, бурно дышащее тело, тонкие руки, более тонкие у плеча, чем у локтей, — все вдруг надвинулось на него, подобно дождевой туче. Коленам передалась дрожь земли. Это мгновение было похоже на вспышку зажженного небесного корня — молнии: длинно и коротко. Оно спутало время.

Когда оба очнулись, мешок с рассыпанными плодами лежал в одной стороне, а дротик Одама — в другой. Но они долго еще не могли разомкнуть объятий, и лишь много времени спустя порознь вернулись в стойбище.

Долгое отсутствие Лилит и Одама не было никем замечено. Племя гудело в необыкновенном волнении: лесному плену приходил конец! Погоня за зверем увела троих охотников так далеко, что вдруг они увидели между деревьями просвет.

Сначала никто из них не понял всего значения того, что открывалось постепенно перед их глазами. Они только заметили, что почва становится суше; вместо высокоствольных деревьев с непроницаемой кроной стали попадаться обширные поляны, стволы уже не были покрыты густым мертвенно-бледным мхом, на котором дрожали невысыхающие капли; щебенчатая песчаная земля хорошо впитывала излишнюю влагу.

Идти становилось все легче. Какие-то новые запахи просачивались в воздух: исчезла гнилая сырость болотистых ям, покрытых кувшинками. Дремучий лес, в котором блуждало несколько поколений Табунды, редел, расступался...

Охотники остановились, настороженные и смущенные. Преследуемый зверь ушел; они вспомнили об этом много позже. Перед ними уже не было деревьев, а лишь невысокая стена кустов. Несмотря на то, что рассвет едва наступил, какое-то копытное животное уже доверчиво паслось в их гуще, хрустя листьями и сочными ветвями. Охотники стояли с подветренной стороны.

Но вот один из них сделал шаг вперед. Невидимое животное с фырканием метнулось в сторону. Мужчина Табунды — тот, что сдвинулся с места первым, упрямо сведя брови, узкие и острые, как лезвие каменного ножа,

безрассудно устремился вперед. Мгновенье — он исчез за кустами.

Двое других не последовали за ним; не все рождаются героями. Тот, кто ушел, был виден еще некоторое время за кустами. Он казался высоким, хотя был только сухощав, как и все мужчины племени. Лицо его обрамляла негустая бородка, скрывавшая не столько подбородок, сколько худобу щек. Камень в форме рыбы с дыркой, просверленной током воды, надетый на толстую жилу, лежал ниже углубления на шее. Сейчас эта ямка бешено пульсировала. Он уже знал, что отныне среди племени ему будет имя «Вышедший из леса»! Потому что он, в самом деле, первым достиг его пределов.

Совсем иная страна начиналась за кустарником. Местность была ровная, немного волнистая, вплоть до цепи холмов, теряющихся в дымке. Клубы рассветного тумана ходили над всей долиной, словно она дышала. Птичьим хором звенели дальние островки роц.

— Лу! Лу! — завопил охотник остальным.

Возглас радости, первое человеческое слово, раздался над счастливой долиной. Травы из-за редких стволов внезапно поднялись перед отставшими, как бьющие струи. В невысоком солнце стебли блестели крупной росой. Что-то удивительное по цвету, по запаху, по простору — никогда не виданное — открылось перед ними, пьянило и ошеломяло их. Все трое были молодые охотники, ни они, ни их отцы не знали степей — и теперь стояли потрясенные!

Люди Табунды пробыли в долине до полудня, а когда воздух очистился, увидели дальний хребет с огромной белоснежной горой, словно плавающей посреди небес. Что это такое, они еще не знали, как не знали и их предки, которые вышли из обширной низменности, ставшей впоследствии морем.

Сборщицы клубней, услышав благую весть, поспешно вернулись в стойбище с пустыми руками, но никто не поставил им этого в вину.

Племя стало готовиться к дальнему переходу; всем хотелось, чтоб новое солнце застало их уже в пути. Почти до рассвета горели охранительные костры, и дозорные время от времени ударяли в табунду, словно отгоняя злые силы, которые могли надвинуться на стойбище. Впрочем, сознание человека не слишком перегружалось фантазией. В людях Табунды преобладали прямодушие и бесшабашность

несокрушимо здоровых людей. Загадки мира стояли перед ними еще в столь малом количестве, что они проходили сквозь них, как сквозь рассветную дымку — она не застилает зрения! Взгляд их был ясен и направлен лишь на ближние предметы.

И все-таки они не так уж скоро прикочевали к обетованной опушке. Лес словно не выпускал их: каждую ночь бушевали грозы, сверкали молнии и то одно, то другое высохшее дерево с грохотом падало на раскинутые ветви, будто убитый охотник. Ведь и деревья, как люди, умирают от ран и болезней...

Племя двигалось медленно, но смельчаки все чаще охотились на равнине и приносили оттуда незнакомых животных. Они возвращались позже остальных, утомленные, кичливые. Неизъяснимое блаженство примешивалось к стуку сердец тех, кто побывал на просторе, словно их богатырские грудные клетки тоже превращались в певучие гудящие табунды...

Перед Одамом равнина предстала впервые под шелковистым теплым дождем. Он долго вдыхал ее здоровый свежий ветер, запах холмов и луговин, одетых травами. Было непривычно и странно чувствовать себя видимым отовсюду; невольно он еще попятился к деревьям. Но не сравнимый ни с чем безбрежный дневной свет уже захватил его, и он стоял, приоткрыв рот, чтоб дышать светом, как воздухом.

Эти мгновенья облегчающей свободы прояснили ему что-то и в нем самом. Ведь с того дня, как он коснулся Лилит, жизнь его стала трудной и путаной. Он сделался угрюм и неловок. Уходя с охотниками, то и дело оступался; сухие ветви с треском ломались под его ступней. Наклоняясь над лесным ручьем, он медлил утолить жажду, потому что ему повсюду мерещились бегучие глаза Лилит. Прежний крепкий сон сменился прерывистым забытьем, и когда он просыпался по нескольку раз в ночи, ему стоило большого труда не вскочить и, слепо расталкивая спящих, не кинуться на поиски девушки.

Пламя желаний заставило его потерять остатки благоразумия. Хотя это случилось не вдруг.

Однажды Лилит прошла от него в трех шагах, не заметив. Взгляд ее был напряженным, ушедшим в себя. И такими же, словно невидящими руками она небрежно сжимала скорлупу большого ореха: серебряные капли падали

с доверху налитого сосуда. Они взблескивали на солнце и жужжали, как рой пчел. Жужжание, разумеется, наполняло только уши Одама. Он стоял неподвижно, пока Лилит проходила мимо, подобно сухой зажженной огнем ветви — ему палило губы! Но когда она скрылась, он со стоном припал к земле, на которую брызнуло несколько капель из ее сосуда, пытаясь охладить щеки этой прозрачной влагой... Смутно и странно было у него на душе.

Лишь здесь, на равнине, он наконец понял, чего хотел: он хотел одну Лилит! Хотел, чтоб она заботилась о его огне и собирала ему коренья, пока он уходит с мужчинами на охоту. Сладкий миг возвращения к ней внезапно встал перед ним так ярко, словно они прожили рядом, в телесном единении, уже долгие годы: вдвоем разжигали костер, скребли свежую шкуру и засыпали потом на ней, чувствуя боками приятную теплоту меха и тлеющих углей...

Хотя люди Табунды не принуждались к брачным союзам, но и не были вовсе свободны в выборе. Существовали сложные кровные связи. Влияли соображения родичей при обсуждении возраста, здоровья, личных заслуг, способностей жениха и невесты. Среди всех этих подводных камней, хорошо известных взрослым, но пока неизвестных Одаму, предстояло ему начать путь, чтоб достигнуть цели: получить Лилит из рук старейшин и себя отдать ей, со всеми теми церемониями, которые сопровождают брачное торжество.

Правда, Лилит, прежде чем ее можно сватать, должна пройти еще обряд взрослости, который издревле заключался в том, что девушку лишал девичества тот любой, наиболее удачливый мужчина племени, который сумеет первым проникнуть к ней через оградительный кордон женщин.

Это был веселый, озорной, почти спортивный обряд, где состязались не только в ловкости и хитроумии, но и перебрасывались остротами, блистали умением петь, танцевать, находчиво награждать друг друга прозвищами и вообще всячески изощряться в веселье. Пассивная роль отводилась только одному существу: самой девушке, которая, прежде чем стать полноправной женщиной, свободной в решении общих дел племени, должна прожить последние часы своего детского возраста в абсолютном повиновении. Голос ее не раздавался в общем гаме. Она сидела в полутьме шалаша и ждала того, кто войдет к ней.

Веселая свалка, а иногда и целые побоища разыгрывались перед входом, но к ней это доходило подобно шуму волн ко дну водоема.

Она ни в чем не участвовала и никого не выбирала. Да и мужчина, впервые познавший эту юницу, не имел на нее особых прав. Даже если ночная мистерия не проходила бесследно, отцом ребенка считался последующий супруг, а не он, состязатель.

Одам вовсе не ощущал неприязни к будущему кратковременному сопернику. Но мог ли он ждать спокойно этого обряда теперь, когда они с Лилит нарушили запрет и тайно провинились перед племенем? Его ужасала тяжесть наказания, которая по обычаю должна обрушиться на Лилит. Спасенье только в одном: именно он должен оказаться впереди всех и войти в шалаш. Так же, как впоследствии только он станет мужем Лилит!

С равнины Одам вернулся с добычей. Хотя острый рог козла пропорол ему мышцу, но рану присыпали золой, и теперь Одам, слегка ослабев от потери крови, находился тем не менее в приподнятом, почти опьяненном состоянии — подвиг всегда придает человеку ощущение неиссякаемой силы! Он впервые вернулся в стойбище не вместе с охотниками, а в окружении их. Одам тотчас отправился разыскивать свою мать. Не потому, что был с ней особенно близок, но именно женщины хранили в племени чистоту кровных связей и знали все тонкие счета родства.

Мать сидела на песчаном бугорке, плетя из ивового лыка двойные веревки для сетей. Этим занимались все женщины в свободное время; сетей нужно было очень много, они легко рвались: коряга или крупная рыба без труда пробивали брешь.

Увидев Одама, мать не прекратила своего занятия, лишь сжала рот, уже слегка запавший, ожидая, что он скажет. С годами лицо ее стало худым, и брови, сходящиеся у переносицы, придавали ей мрачное, а порой и исступленное выражение.

Одам положил на бугорок часть печени, которая полагалась удачливому охотнику. Мать вежливо приняла дар. Она не удивилась, что подросток сын думает о женитьбе. Началось перечисление всех подходящих девушек. Имени Лилит среди них мать не назвала. Одам подумал сперва, что это из-за ее возраста и обеспокоенно прервал; нет, он не стремится стать чьим-то мужем немедленно, готов обож-

дать, пока подрастут... Он назвал несколько ровесниц Лилит. И опять ее имя, которое обожгло ему небо и оставило кровь, для матери прошло незамеченным. Обстоятельно, со свойственной женщинам страстью к сватовству, она продолжала разбирать достоинства других девиц. Одам ерзал в нетерпении. И тут его постиг удар, всю необратимость которого он полностью даже не осознал сразу: его брак с Лилит невозможен! Они принадлежали к общей ветви родства.

Он слушал мать еще какое-то время, потом поднялся и ушел, унося на спине, как ношу, ее пронзительный взгляд.

Отказаться от женщины, когда в мечтах он прожил подле нее целые счастливые годы? Когда каждый его сон кончался мигом их счастливого единения — разве это когда-нибудь удавалось мужчине раньше или позже Одама?!

Несколько дней он ходил в угрюмом молчании. Такое состояние предшествует действию или убивает волю окончательно. Покладистый, несвойственный бунтам нрав Одама скорее заставлял предположить последнее, и так бы оно, может, и случилось в конце концов, если б не существовало самой Лилит!

Ее обурежала жадность к будущему! Она стремилась к Одаму, словно он был магнитом: его прикосновение оставалось в памяти жгучим, как жало осы. Весь тот страх и освобождение от страха, которые так потрясли ее при нарушении запрета, заставляли связывать именно Одама с переполнением внутренних сил. Ей казалось, что прилепившись к нему, она обретет, наконец, успокоение.

Лилит изменилась не только внутренне, но и внешне, и все это заметили. Черные волосы, которые она перестала смазывать глиной и жиром, развевались теперь наподобие птичьего крыла, и когда она проходила мимо, все смотрели на нее со смутной тревогой, словно в самом деле она могла вот-вот подняться и улететь.

Красота Лилит, этого подростка, притягивала многих. Мужчины смотрели ей вслед, она волновала сны. Старейшины уже многозначительно переглядывались за ее спиной. Наконец обряд взрослости для Лилит был назначен ими на третий день после выхода из леса.

Лилит сидела во мраке шалаша с бьющимся сердцем, пытаясь разглядеть в щели, кому же сопутствует удача?

Но женщины окружали ее слишком плотным кольцом. Иногда лишь выкрикивались имена нападающих.

Среди состязателей особенно выделялся Тот, Кто Первым Вышел Из Леса — он не ошибся, теперь его называли именно так. О, как он изменился с тех пор! Взгляд его сквозил холодом, как черный камень, не согретый солнцем. Он был намного старше и сильнее Одама; и упорство, с которым он устремлялся к шалашу, заставляло Одама напрягать изворотливость.

Женщины, которые сначала лишь хохотали, отталкивая многих искателей, теперь невольно подчинились азарту двоих: крепкие руки били наотмашь, все чаще мелькали свежие ссадины, появились первые капли крови...

Из тьмы каких веков пришел этот обычай: оборонять женщину от мужчины? Ведь уже и праматерям Табунды никто не угрожал обидой; они были равноправны, как это могло лишь быть при общей скудной и убогой жизни племени.

Давно ни одна девушка не привлекала столько внимания, как Лилит. Была ли она красавицей? Понятие красоты меняется со временем. Мужчины Табунды, желая сказать приятное своим женщинам, говорили: плечи твои широки, а грудь упитанна.

Старейшины племени с беспокойством следили за разгоревшейся борьбой: ожесточившись, можно нанести серьезное повреждение. Правда, это ведь был первый праздник с тех пор, как они вышли из леса! Перед ними лежали теперь степи и цепь холмов, откуда всегда можно оглядеться, легко отыскать добычу, составить ясное представление о местности. Стойбище разбили на опушке; их овеял здоровый воздух предгорий, а рядом, в оставленных лесах — болотистые озера в изобилии снабжали съедобными клубнями; корни неизвестных степных трав употреблялись пока с осторожностью.

Как же было не отпраздновать долгожданный исход из леса вместе с совершеннолетием такой девушки, как Лилит? И старейшины, не вмешиваясь, одобрительно кивали головами, гордясь женщинами Табунды, которых можно заполучить лишь с таким трудом.

По условиям игры мужчины не должны наносить ответных ударов; они могли только пробиться тяжестью тела.

Женщины заметили целеустремленность Того, Кто Первым Вышел Из Леса — и стена их сплотилась еще крепче. Его собственная жена с попеременными криками ревности и жалости наносила ему удары. Ей смутно припомнилось, что ее самое он не добивался с такой ожесточенностью. И все-таки она была возбуждена и весела, как и остальные: исполнялся древний обряд — новая женщина вступала в племя.

Одама вскоре оттеснили от центра борьбы. Соперник неумолимо, словно таран, вновь и вновь бросался под удары, разрывая вереницу защитниц шалаша. Уже и остальные невольно отступились, следя за единоборством. У Одама в изнеможении опустились руки. Но он стоял неподвижно ровно столько, чтоб на него перестали обращать внимание вовсе, и тогда отчаянным молниеносным прыжком кинулся под ноги тем, кто стоял сбоку, разбивая себе грудь и лицо о выступившие на поверхности корни...

Раздался единодушный вопль растерянности и досады; его могли еще оттащить от самого отверстия шалаша, но старейшины видели, как Лилит протянула руку, — и ударили в барабан, возвещая, что обряд окончен.

А ведь и соперника отделяло от Лилит всего полшага! Он метнул на Одама темный холодный взгляд, полный ярости, но тотчас отвернулся с принужденным смехом. Жена, готовая все простить, положила руку на его кровоточащее плечо. Они вместе отошли прочь. Вскоре и голоса остальных отдалились. Солнце зашло, вспыхнули праздничные костры, готовилось обильное пиршество. До Одама и Лилит больше никому не было дела.

Некоторое время в шалаше слышалось только тяжелое прерывистое дыхание юноши; он видел нечто темное в углу, это была, конечно, Лилит. Но она не сделала движения к нему.

— Говори, — прошептал Одам, облизывая разбитые губы. — Когда я слышу твой голос издали, он пахнет, как ветвь с цветами. Если же ты обратишь его ко мне, он наполнится соком плодов.

Он заговорил так потому, что гортань его пересохла. Речь Одама была проста и предметна, как и сама мысль.

Лилит поняла и молча протянула выдолбленный сосуд, Одам надолго припал к нему. Глаза его привыкли к темноте, он уже различал смутное пятно лица и черные — черней самой ночи, — волосы Лилит. После утоления

жажды в нем вновь зашевелилась горестная мысль: ведь сегодняшняя ночь должна остаться единственной в их жизни! Уже следующее утро разведет их с Лилит навсегда. Любовь для Одама значила только одно: он спешил получить то, что хотел. Его ум оставался во многом животным умом, он всецело следовал инстинктам, способность рассуждать еще только-только появлялась в нем. Он протянул руки к девушке, стремясь привлечь ее к себе. Но она отстранилась.

— У меня только одно сердце,— сказала она глухо.— Пусть и у тебя не будет двух.

А это означало: не лги, не скрывай, не притворяйся.

— Ты знаешь? — пробормотал Одам упавшим голосом.

— Да,— ответила Лилит.

И вдруг она зарыдала. Не так, как хнычут дети. Что-то подобное яростному крику зверя было в ее плаче. Мимолетная радость предстоящей ночи тотчас отступила от Одама. Он почувствовал, что с потерей Лилит лишается всего. Его мысли заметались с лихорадочной быстротой.

— Лилит,— воскликнул он, беря ее за руку.— Дух двоих сильнее, чем одного!

Это была простая формула ободрения; ведь он еще не знал, как поступить. Но Лилит поняла его иначе.

— Да, дух двоих силен,— подтвердила она, и в темноте стало видно, как диковато вспыхнули ее глаза.— Когда мужчина и женщина хотят друг друга, их нельзя разлучить. Мы уйдем из племени.

Решение осенило Лилит внезапно. Но в тот же миг словно все затвердело внутри нее — так она сделалась непреклонна!

У Одама же вначале захватило дух от одной этой ужасной святотатственной мысли; разве он когда-нибудь слышал, чтоб бросали племя по своей воле? Человек Табунды от рождения принадлежит племени; живет и умирает по его законам. Но здесь, рядом с Лилит, он ощутил в себе исполинское мужество: даже такую страшную жертву готов он принести своей приязни!

— Хаг, мы уйдем,— сдавленно повторил он.

Они разобрали стенку шалаша, обращенную к лесу, и выскользнули наружу. Первые шаги проползли, подобно змеям, потом побежали пригнувшись, почти доставая руками до земли. Свет костра заметно отдалялся, звук праздничного барабана становился еле слышен. Вокруг

них шумел лес, не переставая, как прибой о каменистый берег. Деревья — высохшие или пораженные молнией — падали позади с тяжким грохотом, их ветви, цепляясь за соседние кроны, устрашающе трещали. В непроглядной темноте то и дело раздавался звериный вой со вскрикиванием, наполняя сердца тоской: человек не создан для ночи, он порождение дня! С темнотой ему надлежит укрываться в убежище.

И, однако, они бежали в лес, прочь от огня и защиты. Наверное, это был один из первых бунтов против того, что принято считать добродетелью. Добродетелью племени Табунда издревле было повиновение его обычаям: ведь именно они сплотили людей, помогли им уцелеть в борьбе с природой. Законы — для всех времен механизм необходимый, хотя и суровый. Но такими же необходимыми оказались впоследствии и вспышки неповиновения — черновые наброски будущих законов, более справедливых для новых людей.

Одам и Лилит пустились в ночной лес, полностью отрешившись от благоразумия; они поручили себя инстинкту. Разум не заменяет собою всего: когда он не может подсказать выхода, оставляя человека на краю гибели, тут-то и воскресает инстинкт с его последней отчаянной попыткой сделать невозможное.

Одам и Лилит бежали без остановки, не углубляясь в чащу, но и не выходя на открытое место. Рассвет застал их у подножья каменистой гряды. Деревья группами росли то на широких уступах, то по крутым скатам — и тогда казалось, что они стоят вниз головой.

Первые лучи солнца упали на обнаженные скалы: они сделались красно-бурого цвета. Белоснежная, почти четырехугольная гора, видимая с равнины у стойбища, главенствовала и здесь над дальним хребтом, только выдвигала другое свое исполинское плечо. Под его защитой долина маленькой реки блаженствовала в безветренной, почти тепличной атмосфере. Но едва поворот течения уводил ее из-под охранительных стен, почва становилась тощей и не производила ничего, кроме горьких трав да жидкой акации, а по откосам росли сухощавые кусты красноватого оттенка.

Даже не осмотревшись хорошенько, лишь найдя подобие крова, Лилит и Одам вздохнули с облегчением: появился приют, спасенье от хищников, укрытие от

непогоды. Они были голодны, но утомление пересилило: войдя в пещеру, сухую и без запаха зверя, они тотчас заснули, как дети уткнувшись лицом друг в друга.

Синий день пламенел над ними; бесчисленные насекомые трещали и свистели в травах, грелись на солнце непуганные ящерики, птицы и травоядные жили своей обычной дневной жизнью, но Лилит и Одам проснулись перед вечером лишь затем, чтоб оградить вход в пещеру частоколом.

Они напились из близкой реки, отыскав ее по влажности воздуха и жирным травам на берегу. Затем поспешно вернулись под защиту камней — наступали сумерки, самое опасное время, без оружия и без огня страшно сделать даже шаг!

Они были терпеливы к голоду, хотя прошло уже более суток с тех пор, как они что-то ели. Но оба снова молча легли на охапку свежей травы, застенчиво касаясь друг друга пальцами. За короткое время приключилось столь многое, что они не знали даже, как и о чем теперь говорить? Мечты их были бедны, но когда они брались за руки или трогали друг друга плечами и коленями, через ощущение теплой кожи словно передавалось и движение их внутренних токов; сигнал дружелюбия, подкреплявший скудный язык слов.

Крупные звезды затеплились над частоколом. Все вокруг вновь наполнилось рычаньем и фырканием и звуками погони. Разыгрывалась обычная трагедийная ночь дикого леса — время страха, но не любви. Одам и Лилит замерли за убогой оградой. Так они провели несколько бессонных часов, чутко ловя приближающиеся шорохи. Лишь перед рассветом внутреннее чувство подсказало им, что опасность миновала, они немедленно заснули, проспав почти до восхода солнца.

А утро принесло свои заботы: надо было подумать об оружии и еде; бегство кончилось. Теперь они очутились совсем одни, без чьей-нибудь помощи и поддержки, как первые люди на земле!

Земля переживала свое младенчество. Все три ее лика были еще гладки: плуг не прошелся по почве, оставляя первые морщины, киль корабля не взбороздил безмятежность вод, а винт самолета не пропорол воздух. Но

радость поиска была и тогда одной из самых животворящих сил в человеке! Она создавала ощущение полноты бытия. Первый шаг вдохновлял на следующий.

Человек — бесстрашное, выносливое создание. Стихия борьбы за жизнь, бушевавшая вокруг него, была его родной стихией. Близость к простым законам — когда убивают ради пищи, а не из ненависти — формировала его ум, сметливый, но не коварный. Зверь не казался врагом, он был скорее собратом, который может в тяжелое время спасти от голода; а в сытое они расходились, не тронув друг друга. Первые тотемы могли появиться, как порыв благодарности, а вовсе не из желания умиловить страшные силы природы. Ведь люди по-своему хорошо знали тогда окружающий их мир. По следам животных они находили воду; подобно птицам, устраивали ночлег на деревьях. Мир разумных и неразумных существ не разграничивался еще так резко.

И люди уже тогда создали общество, которое представляется нам теперь примитивным и промелькнувшим так быстро, как искра в серой предрассветной мгле, а на самом деле оно обнимало эпоху в истории самую длительную. Ведь человечество, едва родившись, сделало свой первый шаг именно в коммунизм; тогда были заложены основы всех последующих установлений, возникла речь и мышление, пробились начатки культуры, появились первые приемы техники, медицины и искусства. И все это шло на пользу объединенному человечеству. Неважно, что оно было еще так малочисленно!

Утром разразилась гроза. Мутные ручьи, грохоча камнями, побежали с недалеких гор. Все живое попряталось, водяное небо накрыло землю, капли падали мелко и быстро, словно отовсюду раздавалось тиканье насекомых. Но вот туча прошла, стало развидневаться. Тьма и печаль, которые охватили природу, как бы утекали сквозь дыру в небосводе: все больше и больше появлялось на нем белых и голубых пятен. Наконец, косой луч умытого солнца прошел по мшистым камням, они стали куриться паром, земля заиграла мелкими лужами. Деревья, как звери, стряхивали с себя воду.

Лилит и Одам стояли у отверстия пещеры: новый мир омылся для встречи с ними! Они были счастливы.

Но вдруг оба насторожились: послышалось легкое шуршанье. Под деревом, копошась в сбитых недавней бурей ветвях, паслось небольшое стадо козерогов. Тусклая песочная шерсть самца почти сливалась с серым стволом. Его могучие широкие рога, двумя полумесяцами закинутае за спину, казалось, вовсе не отягощали головы — она чутко поворачивалась по ветру, ловя враждебные запахи. Самки и козлята паслись спокойно.

Одам сжал узловатую дубинку — другого оружия у него пока не было — и с воинственным криком выскочил из укрытия.

— Ухр! Ухр!

Козероги метнулись в сторону, камни служили им укрытием. Начался неравный бег: человек не знал местности, звери уходили.

Но Одам преследовал их терпеливо, как все охотники Табунды. До тех пор, пока ворон, вещая птица, похожая на жженую головешку, с синим белком вокруг гордого карего глаза, поводя острым крылом, отрывисто вполголоса не прокаркала над его головой, словно мурлыкая по-вороновьи: время охоты кончилось. Наступал жаркий полдень.

И, уже спускаясь обратным путем по склону, разозленный неудачей, Одам вдруг оцепенел: в трех шагах от него, в жгучих густых травах, уткнувшись мордой в камень и выставив один кривой, похожий на клык рог, спал козерог — одиночка, утомленный зноем...

Мускулы Одама переливались и шевелились, как змеи. Он тащил первую добычу, которую одолел без помощи сородичей. Он нес ее для Лилит.

Но когда она навстречу ему примчалась почти вприпрыжку, с тем открытым громким смехом, который Одам любил у нее с детства, боднула его в плечо, как бы приглашая порезвиться и отпраздновать удачу вместе — он нахмурился и отстранился. Что годилось для любовных игр, те ласки и вольности, которые они позволяли себе в темноте, вовсе не подходили к серьезному делу добывания пищи.

Он направил взгляд мимо нее и прошел к месту, где следовало разложить костер: огонь — дело женщин. Одам начал свежевать тушу, как будто был один. С детства он видел, что так поступали все охотники, какие бы похвалы

и славословия ни сыпались вокруг на них. Лилит стояла в недоумении. То, что он впервые оттолкнул ее, еще не обидело. Она помедлила только секунду, прежде чем приняться за извечные обязанности женщины. Но какая-то часть радости ушла из ее сердца.

В тот день они были сыты как никогда. Зверь принадлежал им целиком; возле не было стариков и детей, которым в племени отдавались лучшие куски.

Они сами насыщались печенью и нежным жиром почек, выуживали из костей мозг, разгрызали хрящи. Они опьянели от пищи и, удалившись за частокол своей пещеры, оставили за оградой тлеющие угли, которые еще долго пугали ночных хищников, привлеченных следами человека и запахом крови на земле.

В темноте к Лилит вернулся прежний Одам: насытившись мясом, они не могли насытиться друг другом. Одам вспомнил охоту, был полон ею и горд. Лилит подсказывала слова, когда ему их не хватало. Она угадывала даже то, что он не мог вспомнить, словно сама подстерегала зверя и, метнув дубину, слышала предсмертный изумленный болезненный хрип животного.

Они уснули блаженно. Страна снов мало рознилась от их дневного мира. Они все так же охотились, готовили пищу, искали ночлег. Ничего непонятного не случилось ни на яву, ни в сновидениях.

Травянистые предгорья с купами деревьев и близкой рекой они застали в самую благодатную пору: созревали плоды, кусты пестрели ягодами, звери водили подросших детенышей на водопой. Правда, уже не было сладких весенних стеблей, но зато завязывались мучнистые клубни, а под деревьями сохранилось много прошлогодних орехов и желудей. Лето обещало быть счастливым и сытым.

Первое движение пальцев Лилит казалось почти неосмысленным: голубоватая глина мягко растягивалась, округлялась, подобно облаку, у которого ветер меняет очертания. Лилит запрокинула голову. Взгляд ее медленно опускался по очертаниям горы — и глина стала под ее пальцами горным пиком. Но тотчас превратилась в ствол дерева. Потом возник козерог с закинутыми на спину рогами. Взгляд ее больше не блуждал, он сосредоточился на грубом торсе, на подгибающихся задних но-

гах. Это было подобие живого, но такое нелепое! Она захотела разрушить его тотчас.

Но зверь уже двигался, втягивался, угрожал. Цвет и мускулы играли на боках... И вдруг все остановилось: зверь напрягся, но не исчезал, он был в бегу — и неподвижен!

Одам смотрел через ее плечо на плоский влажный блин, на острый камень в перепачканных руках. Линия пошла по комку глины, и контуры головы, спины, брошенных вперед копыт предстали перед изумленным Одамом: ведь он знал этот осколок кварца, отброшенный им за ненадобностью при выделке наконечников. А теперь оказывается, камень способен на странное: он удержал еще одного зверя!

Глина высохла, рисунок твердел. Одам нахмурился и отвернулся. Лилит опустила голову, черное крыло ее волос, свесившись, прикрыло лицо. Одам медленно побрел прочь; бесполезное, ненужное женщине занятие — чертить по глине камнем — чем-то задевало и оскорбляло его.

Но Лилит не смотрела ему вслед; ее губы были полуоткрыты, ноздри шевелились, она продолжала вдыхать запах полусырой глины. Она не смела тронуть бегущую линию; зверь продолжал жить. Она боялась спугнуть его. Наконец, она закинула голову, чтоб вздохнуть поглубже, и увидела стремительный силуэт улетающей птицы — линия вытянутой головы с острым клювом, острый хвост.

Ощущение всемогущества вспыхнуло где-то внутри нее мгновенно, подобно искре. Она стерла бегущего зверя, выровняла поверхность и тем же камнем, сама не зная как, несколькими линиями воссоздала улетевшую птицу. Невозможно было не узнать ее: клюв, крылья, хвост... Лилит засмеялась. Уходящий Одам слышал ее смех; но не обернулся.

Из мягкого кома, ставшего вновь бесформенным, Лилит слепила человеческую фигурку. Задумавшись, стала намечать лицо, руки... Перед ее мысленным взором стояла мать, едва дожившая до двадцати четырех лет. Все люди Табунды умирали рано; они рождались выносливыми, но уж если заболели, то напрасно родичи лили на открытую рану кипяток, заставляли больного сутками дышать дымом костра, поили настойкой муравьиной кислоты...

Мать Лилит ушла на ту сторону мира на рассвете, когда еле держалась на небосводе последняя звезда, названная за это Сердцем Дня. Тело привязали к бревну и пустили по течению лесной реки. Женщины, плача, кричали вслед похоронную песню:

В день нашей смерти
Приходит ветер,
Чтобы стереть
Следы наших ног,—

Так пели женщины.

Ведь если бы этого не было,
То казалось бы, что мы
Все еще живы.
Поэтому приходит ветер,
Чтобы стереть следы наших ног.

Узкое лицо матери с выдающимся подбородком и припухлыми губами — теми вытянутыми трубочкой губами, которые так напоминали у ее дочери надкушенный плод! — это материнское, давно мертвое лицо, и ее волосы, разделенные по темени на две волны, никогда не уходили из памяти Лилит. Впалые щеки, высокие скулы, летящий вперед взгляд — странно, как много и как мало взяла от всего этого дочь!

Вечерами, вспоминая мать, Лилит смотрела на звезды. Выросшая в лесу, она никак не могла привыкнуть к их обилию и следила их течение терпеливо, безмолвно, как погружают взгляд в струи воды.

Одама же небо оставляло равнодушным. Когда зажигалась первая звезда, это было лишь знаком, что скоро на охоту выйдут ночные звери, а день человека окончен. Дремота склеивала ему веки, он устраивался поудобнее и засыпал.

Лилит слушала поступь мягких лап, паденье плода, крики сов.

—Оа,— тихо звала она.

Ее молодой муж не шевелился. Среди многих звезд одна, становящаяся с каждым вечером все крупнее и крупнее, словно кто-то подкидывал в нее хворост, смотрела ему в лицо. Он не обращал внимания.

Все было смутно. Какая-то жажда палила изнутри, чувство столь неоформившееся и странное, что в конце концов оно утомляло Лилит и она тоже засыпала.

— Какие сны повисли на твоих ресницах? — со смехом спрашивал Одам поутру.

Лилит знала, что он не верит ей и лишь подтрунивает, но не могла удержаться: ее переполняло желание облечь в слова смутные грезы.

— Одна из звезд, самая большая на небе, вчера смотрела в твое лицо,— начала она и тотчас увидела, как гримаса неудовольствия скользнула по его губам: ему не нравилось, когда она впутывала его в свои выдумки.— Ты спал, а мне захотелось подняться повыше. Ведь небо плотно, как камень, если на нем такое множество костров! Тогда звезда спустила свой луч, и я ухватила за него, как за веревку...

Одам невольно с опаской бросил взгляд на ее тонкую руку, словно на ней до сих пор мог остаться след от серебряного лезвия звезды. Но тотчас рассердился и на себя и на Лилит. Ведь он делил все вещи и явления на два ряда: те, которые он знал — и тогда уже знал их очень хорошо: съедобны они, враждебны, опасны, полезны ли,— и те, которых не знал, которые ему были не нужны и ничем не угрожали. О них он просто никогда не задумывался. Нет, он не намерен был слушать рассказы Лилит, опасаясь хоть в чем-нибудь уступить ей внутренне. Тогда, он чувствовал, у него не останется опоры; его завертит, понесет по течению каких-то иных мыслей и представлений, которых он не мог предвидеть, не понимал, а следовательно, инстинктивно чурался.

Утром он уходил на поиски камня для топора и накопачников. Камень нужен был «сырой» — свежий, не высушенный солнцем. Одам знал, что такие камни выкапывали из земли; но, пожалуй, можно отколоть и от пласта, подобрав острые осколки?

Лилит же весь день оставалась возле пещеры. Она сделала углубление для очага, а свод над ним обмазала глиной. Тут-то она впервые и заметила, что глину можно растягивать, придавая комку разную форму. Это было ее собственное открытие: люди Табунды не лепили горшков, сосудами служили бычьи пузыри, скорлупа, выдолбленное дерево, сшитая кожа, мелкого плетенья корзины. Понемногу у Лилит собрался полный набор домашней утвари. Одам подарил ей нож из пластины сланца — широкий, с просверленным отверстием, чтоб она могла повесить его к поясу.

Поблизости от своей пещеры она ставила силки на мелких животных, собирала желуди, которые толкла потом каменным пестом. Чтоб испечь лепешки, она выкапывала круглую яму, на дне ее раскаляла камни, покрывая их густым слоем листьев. Раскатанное тесто снова засыпала листьями и слоем земли, а наверху разжигала костер. Наутро был готов хорошо пропеченный свежий хлеб, иногда с начинкой из ягод, рыбы или земляных червей, и они съедали его целиком, не оставляя ни куска.

Одам и Лилит впервые никому ничего не были должны. Они оказались вдруг свободны, свободны абсолютно от всего, словно находились в пустыне.

У Одама это вызвало озабоченность. Инстинктивно он еще оглядывался: если поблизости нет людей, то, может, найдется хотя бы тотем — диковинный камень, дерево, неизвестный зверь, к которому можно прилепиться душой? А Лилит мечтала, что над ними загорится теперь новое солнце, иное, чем над людьми Табунды! Жарче или тусклее? Как они заслужат.

Нельзя слишком осуждать Одама за косность: он держался за то, что знал. У него еще не было примеров для сравнения; никакой опыт минувших веков не руководил им. Он цеплялся за крохи своего прежнего знания так же естественно, как естественно Лилит переступала старое.

Когда Одам возвращался, она опрометью бежала за свежей водой к реке — неглубокой и теплой. И вдруг начинала следить за стайкой голубых рыб. Входила за ними в воду, шла, шла, пока волна не касалась губ или Одам, тщетно дожидавшийся ее у пещеры, не начинал звать и искать ее.

Она смущенно выходила на берег, вода стекала с ее волос, руки были пусты. Ведь она не охотилась на рыб; она просто смотрела на них.

Зимние и летние месяцы, как большие и малые волны, перекачивались, погасая. Ощущение времени, конечно, существовало у Одама и Лилит, но точный отсчет его начался намного позднее, это было уже завоеванием мысли. А мысль идет по ступенькам. Шаг за шагом. Как и человек.

Хотя язык племени Табунды был скуден, все вокруг уже было названо людьми: небо называлось небом, а

вода — водой. Разве только обособления доставало. Множество хищников просыпалось в лесу в час сумерек и с ревом выходило за добычей. Но если они не угрожали человеку, то что в них? Съедобные корни, которые попадались Лилит изредка, не назывались ею никак, упоминалось лишь частое: кислица, сладень, горький лист.

Это было время бурного словотворчества! Почти каждый день приходилось наткаться на новинки. Лилит и Одам следовали ходу своих младенческих ассоциаций. Некоторые слова задерживались в памяти, но чаще вспыхивали и гасли, подобно искрам. Уже через несколько дней знакомая вещь оборачивалась новым свойством, получая и новую кличку. Так, небо могло быть светлым. Водяным при дожде. Страшным, если гремел гром. Для нас оно тоже кажется разным, но вместе с тем неизменно остается «небом». А для современников Лилит существовали как бы отдельные стихии, часто враждебные друг другу: страшное небо пожирало, подобно необъятной пасти, светлое. Но, в свою очередь, побеждалось водяным небом и, омытое потоками дождя, возвращало людям безоблачное, голубое.

Лилит и Одам употребляли много глаголов, которые вертелись вокруг ежедневных нужд. Но не было слов просто: «есть», «пить», «прятаться», «чувять запах». Каждый раз это был конкретный глагол: «пить воду холодного ручья», «прятаться от лохматого зверя», «чувять запах из-за дерева, растущего одиноко».

Лилит и Одам жили скорее в мире запахов, чем в мире цветов и звуков. Не только тонко ощущали их, но и страстно привязывались: Лилит натиралась диким укропом, собирала полынь, сушила бальзамические корни.

Слова «любить» не было в языке Табунды. Сила влечения выражалась особыми словами, подобных которым не сохранил ни один современный язык. Для смерти чаще употреблялся иносказательный образ: «уйти на ту сторону мира», «уйти с водой». К смерти примыкал сон. Сны — краешек приоткрывшейся тайны. Они похожи на вести из-за гор; всегда существовало представление о прекрасном, которое находится где-то очень далеко...

Но напрасно было бы искать в языке Табунды нравственных понятий! Добро и зло определялось силой. Грусть, жалость, воспоминания — все это существовало, конечно, только люди еще не умели их назвать.

Одам собирался на охоту. Несколько дней их преследовали неудачи: ловушки оставались пусты. Запасы, собранные Лилит, иссякли, да еще вблизи появились незнакомые следы крупного хищника — не он ли распугал всю дичь? Одам до рассвета укрылся недалеко от водопойной тропы, и действительно, с первыми проблесками солнца из-за груды лиловых камней показалась камышовая спина тигра. Он двигался легко, бесшумно, пригнувшись к земле и, наконец, убедившись в безопасности, прилег на каменное ложе реки, обнаженное сейчас засухой. Передние лапы у него были широкие, мощные, рыже-золотого цвета, а задние тоньше, в узких поперечных полосах. Налакавшись вдоволь, хищник зевнул, когти его зацарапали по камню. Он поднялся лениво и двинулся вдоль реки. Несколько дней Одам и Лилит боялись покидать пещеру, но следы тигра в окрестностях больше не попадались.

И вот теперь Одам спешно пополнял снаряжение; от куска кремня с помощью каменного отбойника отделял узкие и острые пластины. Он научился делать это одним ударом; возле него лежала уже целая грудa заготовок, годных для ножей, проколов, отщепов и наконечников. Лилит же нацарапывала издыхающего быка на дротике — символ будущей удачной охоты. Орнамент, который представился бы нам только сочетанием наклонных палочек, на самом деле олицетворял силу и удачливость охотника: его копыта и дротики должны лететь густо, как дождь! И куда от них тогда спастись зверю? Изголодавшаяся Лилит вкладывала в свое искусство все упорство, все пожелание удачи Одаму.

Но вскоре она как бы забыла об утилитарной стороне своей работы. Ее зверь был могуч! Он шел по равнине, слегка наклонив рогатую голову. Ветер нес ему навстречу множество запахов — и Лилит невольно шевельнула ноздрями. Острый каменный резец сам собою опустился на ее колени. Она повела вокруг туманным взглядом. Неподалеку качался цветок. В его крупную чашечку вползали пчелы, цветок жужжал изнутри; и Лилит заслушалась, откинув волосы от уха. Она не замечала, как текло время — солнечное, летнее...

Лилит верила в своего зверя — маленького, крашеного охрой быка! Нужно было изобразить его издыхающим, а он все шел и шел посреди равнины, не чуя опасности —

и Лилит вдруг стала проводить вокруг него ломаные черточки: это шумели травы! Они пахли медом и сытостью. Они даровали жизнь красношерстому...

Она вздрогнула, потому что ее окликнул Одам, который сделал это неохотно: он вообще не должен заговаривать с женщиной перед охотой. Нет, она не стала прилежной женой, эта Лилит, которой он так добивался! Она не протянула ему молча дротик, а сидела и мечтала, уставившись перед собой. Его все больше раздражала эта праздность и особенно то, что он был вынужден прибегать к помощи Лилит: ведь сам он не мог выцарапать кремнем никакого подобия даже самого слабосильного животного!

Не глядя, он взял у нее дротик и сунул его в колчан к остальным. Лилит знала, что этот заговоренный дротик полетит в самый ответственный момент, и чувствовала себя виноватой, предвидя неудачу; ведь она нарисовала спасшегося, а не сраженного зверя! Значит, так и случится.

Она проводила Одама долгим взглядом, смиренно обещая ему про себя, что тотчас отправится подальше в горы, чтобы набрать меда горных пчел, поставить несколько ловушек для грызунов или отыскать гнездо с неоперившимися птенцами.

Лес, росший у пещеры, перевалил через холм. Лилит задержалась у начала оврага: здесь еще можно было его обойти. Глинистый обрыв начинался безобидной ямкой, корни деревьев протягивали над нею мост. А на изломе, прямо из земли сочилась светлая струйка. Лилит нагнулась и напилась. Вода оказалась терпкой, щипала язык. Крошечный каскад уходил под корни и только десятью шагами ниже снова появлялся, уже ручьем. Он не шипел, не булькал — он был еще так мал!

Лилит забыла, зачем шла. Голод больше не мучил ее. Ее снедало любопытство. Она опять напилась воды, спускаясь с холма, но овраг стал глубже, ей пришлось цепляться за ветви и пучки трав. Вода набирала силу, в ней можно было уже омочить ступни. Дальше уровень ее повысился до лодыжек. Лилит шла и шла, словно замороженная; ее потрясла внезапная догадка — ведь это была река! Та река, что течет по равнине. А здесь было ее лоно. Она, Лилит, дочь Ночи, видела рождение реки.

Смутные мысли овладели ею. Если река имеет свое начало, то где-то она кончается, как и лес? А где кончается гора, белая, упирающаяся в небо?.. На этом все обрывалось. Она почувствовала себя утомленной. Ей снова хотелось есть.

Лилит поднималась все выше, мимо липких пахнущих деревьев, одетых иглами, как ежи. Под ногами сновали серо-желтые ящерицы с коричневым узором на спине. Одну ей удалось подшибить и испечь на сухих рододендронах. Росли вокруг водосборы, похожие на огромные лиловые колокольчики. На северном склоне попадались фиолетовые ромашки.

Воздух стал суше и холоднее, но под деревьями сохранялись теплые островки. Лилит останавливалась под ними, чтоб согреться. Вдали она увидела неровное белое пятно. Как всегда, сталкиваясь с неожиданным, она помедлила, но не отступила. Пятно не двигалось; едва ли это было живое существо? Что-то в окраске успокаивало.

Лилит подошла ближе, присела на корточки и дотронулась. Палец наткнулся на холодное. Она ступила ногой: пятно подломилось, как скорлупа. В проломе виднелись одеревенелые травинки. Она сгребла полную горсть этой ломкой скорлупы, но с удивлением ощутила, что та мягка, невесома и, кроме того, исчезает на глазах: руки Лилит стали мокры, а больше ничего не было!

Однако на земле скорлупа оставалась. Лилит попятилась, обошла ломкое белое пятно и долго оглядывалась. Пятен попадалось все больше. Они лежали такие безмятежные, сверкающие на солнце! Ноги уходили в них все глубже. Смутная догадка, что и высокая гора, похожая на неподвижное облако над долиной, была вся сплошь составлена из такого твердого, пушистого, — мелькнула у Лилит. Но ступни ее зазябли, и у нее хватило здравого смысла не подниматься выше.

Это был поистине день чудес: она то и дело натыкалась на находки и счастливо избегала опасностей.

Так, на поляне вдруг увидела охотящегося питона в черно-желтых узорах. Люди Табунды ценили змеиную кожу: она шла на колчаны для охотников, щеголихи вшивали ее узкими полосами в праздничную одежду.

Но встреча с огромной змеей могла иметь смертельный исход. Лилит притаилась за колючим кустом можжевельника.

Питон быстро и часто высовывал узкий язык, поднимая свою изящную маленькую головку, так похожую на стебель с цветком. Перед ним сидел парализованный зверек. Питон подтягивался к нему все ближе. Красные змеиные глаза, неизвестно что видя вокруг себя в этот момент и чем пренебрегая, неподвижно горели по обе стороны головы...

И вдруг случилось непредвиденное: на змею обрушился враг — узкий маленький хищник с воинственно поднятым вверх хвостом. Гад заметался, пытаясь стряхнуть его. Но закус острых зубов на загровке не разжимался.

Лилит не стала дожидаться конца схватки. Она подползла к заостренному кролику, так и не очнувшись от предсмертного гипноза, добила его камнем и, перекинув за спину, как законную добычу, пустилась прочь.

Возвращаясь, она сбилась с прежнего пути.

День кончался, Лилит беспокоилась и шла упругими, почти летящими шагами. Местность как будто понижалась; из ребер горы выступал скальный камень, закурчавились кусты ежевики с поспевающими ягодами.

Внезапно вязкая желтая струйка, огибавшая муравьиные кочки по сухой земле, пересекла ей дорогу. Она омочила конец палки и поднесла ко рту. Это был дикий мед, переполнивший дупло. Лилит опустила на колени, ртом припала к дарованному яству. Только насытившись, она отыскала дупло, острым сланцевым ножом вырезала соты: столько, сколько могла вместить ее заплечная корзинка.

День быстро угасал. Лилит вновь поднялась выше на безопасное место, к голым камням. Сосна низкорослая, как горбун, шуршала на вершине ветвями. Это был безостановочный унылый гул. Лилит натаскала палой ливы, веток, сгребла валиком песок и устроилась у корней на ночлег. Даже мех мертвого кролика грел ее. Костер зажечь она побоялась.

Час за часом то задремывая, то пробуждаясь, она ждала рассвета. Серые облака спутанной куделью уже клубились и дышали над горами. Самых гор еще не было видно, они лишь вылуплялись из предутренней мглы.

Слоистые камни и мягкая земля под ногами казались единственной реальностью; облака летели вверх, как проливной дождь, купол неба пьяно валился набок. Шло отделение тверди от хлябей.

Смертный холод проникал до костей. Ветер трогал губы. Но дышалось свободно и гордо: весь мир лежал под ногами Лилит! И он был сейчас мал, с неровными пятнами лесов и пустошей.

Пели, просыпаясь, птицы. Единоборство вершины с тьмой кончилось.

И вдруг в сером пепле неба, как огненный зуб, прорезалось солнце. Оно было простое и одинокое. Ни одного луча вокруг, словно поднялся мухомор из золы вчерашнего костра.

Лилит вскочила, вскинув затекшие руки:

— Лу! Я вижу тебя, солнце!

Она никогда не бывала здесь раньше. В прогалине лежало узкое горное озеро. С вечера окутанное туманом, оно сливалось с неясным очертанием берега. Но утром вода стала гладкой, зеленовато-серой. По берегам валялись сотни разноцветных мертвых бабочек; ни одна рыба не плескалась в озере. Лилит наклонилась — дно показалось ей кровавым. Она ступила в воду, которая была не выше колен, и вытащила комок с грубыми твердыми гранями. Он был окрашен красным. Поколебавшись, Лилит лизнула — и бурно возликовала. Ведь это соль! Найти соль — что могло быть драгоценнее?!

Теперь она уже не спешила домой: ей нужно сперва сплести мешок. И пока она укладывала богатую находку, произошло необыкновенное.

Раздался мерный странный треск, какое-то жужжание сверху; Лилит подняла голову. Небо было засыпано белыми ракушками; мелкие облачка покачивались, словно отражение в воде. И прямо с неба падали большие серые яйца. Приближаясь к земле, они становились громадными.

Лилит метнулась под защиту кустов и камней; мешок, куски соли, корзина с сотами остались на берегу. В решительный момент инстинкт опережает разум; инстинкт должен помочь человеку уцелеть во что бы то ни стало.

Серые гиганты мягко опустились на воду, придвинулись вплотную к берегу, и гладкая скорлупа одного из них, не лопаясь, как это бывает у настоящих птичьих яиц, а словно приоткрывшись, выпустила из своего чрева странное существо...

Со вторым и третьим яйцом произошло то же самое.

Лилит машинально отмечала появление выходящих двадцатипятиричным счетом, принятым в Табунде: мизинец, безымянный, средний, указательный, большой... Если б она продолжала, то следующим было бы запястье, плечо, ключица, мочка уха, висок, темя и вновь: висок, мочка уха, ключица... Система, принятая в племени, позволяла доходить до значительных величин.

Но яиц было всего пять, как и пятеро вышли наружу. Лилит ни секунды не сомневалась, что перед нею живые существа. Ведь они спустились сверху, а не явились из чащи, куда уходят вместе с водой души покойников. Правда, она еще никогда не задумывалась об этом, но почему бы там, между звезд и облаков, тоже не жить людям и зверям?

И все-таки ей было страшно, она боялась выдать себя малейшим движением и как ящерица замерла между камней.

Острые глаза Лилит не были всевидящими. Взор ее скользил бездумно мимо выходящих на поверхность руд; падающая вода не вызывала мысли о движении; злаковые втуны колосились по ложбинам. Человек проходил еще столь легкой стопой, крался так осторожно, что природа не замечала его присутствия.

Люди не знали ничего о силах реальных — тяготении, распаде атомов, электричестве. Волоокский взгляд человека способен был подолгу парить над вещами, едва касаясь их поверхности. И вдруг вспыхивала искра: он наталкивался на что-то, что пробуждало мысль.

Лилит бежала опрометью до тех пор, пока не услышала звонкие удары, тысячекратно повторенные эхом: Одам трудился топором в поте лица.

Звук расщепляемого дерева показался очень обыденным, человеческим, и Лилит перевела дух. То странное высокое стрекотание, лязг и щелканье, поразившие ее у озера не меньше, чем вид удивительных существ, которые двигались, может быть, даже осмысленно и оборачивали в ее сторону ужасные личины с выпуклыми глазами — все это понемногу растворилось в мирной картине знакомого леса и звука топора. Прекрасного каменного топора, над которым Одам трудился пять восходов.

Щеки Лилит горели, она тяжело дышала. Прежде чем

ранства концентрируется больше материи, и связь внутри нее прочнее. В зоне молодых разбегающихся галактик — наоборот. Это и было первым световым сообщением, полученным из космоса и расшифрованным учеными Лаолы-Лиал. Последующие расшифровки внесли коррективы во все расчеты будущего...

Оказалось, что галактика, в которую входила планета, была создана искусственно другою, умирающей цивилизацией. Заканчивая свой цикл, эта цивилизация исполнила долг всякой жизни — воспроизвела себе подобное. Чтоб завещать тот же долг будущей разумной жизни, которая неизбежно разовьется на новорожденной галактике, был запущен сложный спутник-сигнал. Его орбита была рассчитана так, что как раз к тому времени, когда молодая галактика войдет в зону фиолетового смещения, спутник-сигнал попадет в сферу ее притяжения и станет кружить, привлекая внимание разумных существ.

Световые импульсы, построенные на системе цифр, должны объяснить как тайну происхождения этой галактики, так и неизбежность ее скорого конца. А следовательно, возможного повторения эксперимента: запуска энергетического ядра для следующей искусственной системы.

Ученые погибшей инопланеты открыли, что их галактика давно уже вошла в зону фиолетового смещения, то есть в зону сжатия, и неуклонно движется к своей гибели — к тому великому центру спрессованной первоматерии, которая, как гигантский котел, одновременно и выстреливает в пространство новорожденные галактики и втягивает в себя, на подтопку, галактики, прошедшие положенную им траекторию. Таков круговорот в одном из уголков звездной вселенной.

Все это было расшифровано несколькими поколениями ученых Лаолы-Лиал. И вот тут-то возникла дерзкая, небывалая мысль: не только завещать будущему зародыш искусственной галактики, но и спасти целиком свою собственную цивилизацию! Эвакуировать ее на подходящие планеты зоны красного смещения, зоны молодости.

Не только повторить извечный круг развития, но и попробовать подняться на ступень выше. Цивилизация Лаолы-Лиал, привнесенная на молодую планету, будет продолжаться во времени — и, может быть, именно тогда удастся, наконец, перекинуть мост в антимир?

Лаолитяне смогут научить юное человечество галактик красного света тому, чего достигли сами, сократить их путь познания, и какие новые перспективы смогут открыться тогда перед объединенным разумом мозгоподобных — перед теми существами, которые развиваются в едином ключе мышления, независимо от их внешнего облика!

Однако около ста лет эта идея продолжала оставаться лишь прекрасной мечтой. Не было реальных средств осуществить переброс: скорость светового луча явно оказывалась недостаточной.

Ведь все скорости, включая световую, подчинены криволинейности пространства. В мире сложных притяжений между двумя точками нельзя провести прямую: она неизбежно изогнется под действием сил гравитации. На Лаоле-Лиал, как и на Земле, камень, брошенный вверх, возвращается обратно. Но, чтобы разорвать пути Земли, нужна только первая космическая скорость: всего восемь километров в секунду. Можно предположить, что на огромном Юпитере она будет большей, а на Меркурии меньшей.

Возможно, дело в «массе» гравитации самого тела? Камень, брошенный во вселенную, изгибает прямизну полета. Даже скорость света не может разбить путь гравитации мироздания... Мироздания ли? Или только одной своей Метагалактики? Не властвуют ли между Великими Звездными Островами уже иные законы иной физики?

Так зародилась идея, условно названная «движением по хорде». Было доказано, что движение по хорде «пробивает» криволинейность пространства, выводя корабль на иные просторы, где практически скорость вообще безгранична.

Однако сам этот «вывод» кораблю мог дорого стоить! В пределах Метагалактики скорость выше скорости светового луча уничтожает, аннигилирует материю. Но... ведь научились же в далеком прошлом лаолитяне управлять во времени цепной реакцией и атомного распада и синтеза?

И вот один из ученых Лаолы-Лиал выдвинул головокружительную теорию цепной аннигиляции.

Даже привыкшие ко всему рассудительные лаолитяне ахнули. Случилось необычное: в них проснулся атавистический страх нового. Свобода мнений, давно ставшая законом, поколебалась: все бросились на одного.

Гигантский план переселения невозможно было осуществить силами нормальной экономики. Планета, уже привыкшая к изобилию, должна была добровольно сесть на голодный паек и в течение тысячелетия отдавать все силы своей энергетике далекому будущему. Жертва огромная! Лаолитяне заколебались. Они достигли столь многого, а предполагаемая гибель цивилизации была еще на расстоянии почти полумиллиона лет!..

И все-таки, вставая в сознание нескольких поколений, идея броска победила. «Движение по хорде» стало величайшим открытием веков, которое можно было эстафетой передать в другие миры. Как революционно изменило оно сознание! Как должно было сблизить, объединить разумные существа разных звездных систем!

Почти все ресурсы Лаолы-Лиал были отпущены на снаряжение экспедиций в разные концы вселенной, но с неперменным вектором в зону молодых галактик красного смещения. Этот невообразимой дальности путь,— путь пока вслепую! — мог натолкнуть лаолитян на планеты с разумной жизнью иного строения: кристаллической или энергетических сгустков. Но им не разрешалось тратить время на исследование, в задачу входило искать лишь планеты коллоидных структур с подходящим кислородным режимом (который отчасти они могли бы потом приспособить и изменить).

Задача заключалась не только в том, чтобы послать в глубь космоса живых исследователей, но и передать своевременно их информацию обратно на планету. Иначе, при гигантском разрыве во времени, терялся сам смысл поисков: астронавт и планета начинают жить несообщающейся, бесплодной друг для друга жизнью.

Информация передавалась на Лаолу-Лиал путем особых автоматических станций-носителей. В пути они развивали суперсветовую скорость, при которой атомы материи полностью меняют структуру. В таком компрессорном, сверхсжатом состоянии, по расчетам лаолитян, находился и центр Метагалактики, вечно рождающее чрево Вселенной...

Приближаясь к Лаоле-Лиал,— а время заранее обусловлено и рассчитано: каждые шестьдесят лет по планетному эталону,— корабль замедлял скорость, доходя до нормальной, субсветовой. Обратному превращению атомов способствовала мощь специального галактического генератора, созданного лаолитянами.

К тому времени, когда родился Безымянный — лаолитянин, который вторым вышел из летательного аппарата на Соленом озере и был так назван Лилит, считавшей по пальцам, — жизнь Лаолы-Лиал уже три века была подчинена нуждам плана «Движение по хорде».

Но пока что на очереди стоял лишь Великий поиск: серия межгалактических разведок. Переселение целой планеты не могло осуществиться силами одной Лаолы-Лиал. Оно могло удаться только в том случае, если обитаемые планеты других галактик также подключат свою мощь. Их задачей будет снабжать во время пути корабли небесных астронавтов энергетическим сырьем.

Безымянный попал на Землю уже немолодым.

Корабль шел по кругам вселенной долго. Достаточно, чтоб перебрать в уме историю многих звездных миров.

Но когда Безымянный задумался о самом себе?

В ранней молодости он жил одно время на искусственной площадке в двухстах тысячах километров от планеты.

Там их было четверо, они сменялись каждые полгода. У них была хорошая связь с планетой, и время проходило довольно быстро. Каждый вел свои наблюдения, а дикий вид черной небосферы с косматым, лишенным розовой окраски солнцем и бесчисленными светилами, незаходящими и негаснущими, понемногу примелькался, хотя и не вызывал удовольствия.

Безымянный вырос на хорошо организованной планете в эпоху расцвета и величия ее цивилизации. Его миром правили целесообразность и жажда познания. Человек был избавлен от всех тревог, связанных с бытом и собственной безопасностью. Культура не представлялась больше только как увеличение потребностей: потребности давно были сведены к минимуму; безграничной оставалась лишь возможность развивать свои задатки. На планете царила самая совершенная из дисциплин: дисциплина понимания. Понятия бунта, индивидуализма; личной власти просто не существовали уже.

И в то же время лаолитянин в каждое мгновение своей жизни чувствовал крепкую связь с остальными; знал — точно определенное — свое место в обществе; видел осязаемую пользу от собственного труда. Он был убежден, что в любую минуту ему придет на помощь вся Лаола-Лиал, все ее мощные ресурсы!

В этом не было жертвы, потому что каждый являлся активной частью общества, и никто не существовал сам по себе.

Задолго до истечения положенного срока неожиданной лучеграммой Безмянного вызвали на планету.

Товарищи оживились и немного позавидовали ему: ведь он возвращался в мир дневного света! Но зависть их была доброжелательна. Для иных чувств не существовало почвы: каждый исполнял свое дело и никто не был выделен перед другими.

Безмянный получил самые точные координаты времени; он не мог просрочить и долю секунды, иначе его приземление не произойдет там, где намечено.

Вся работа космической площадки была посвящена вопросам гравитации, поэтому и способ передвижения был выбран гравитационный — несколько медлительный, но дающий пищу приборам.

Туалет гравитолетчика начался задолго до отлета. Товарищи проверили все системы, подключили к связным и регулирующим устройствам питание, и вот уже Безмянный, облаченный в прочный и громоздкий скафандр с прикрученным шлемом, прозрачным спереди, стоял на краю площадки, опустив руку в раздутой перчатке на леер. Ему нужно только выпустить эти перила и шагнуть в космос, в черную безграничность.

Нельзя сказать, что это приятное ощущение. Атавистический страх перед бездной держался в какой-то клеточке сознания. Впрочем, внимание Безмянного было сосредоточено на сигнале времени. Едва получив его, он выпустил леер и сделал шаг в пустоту. Искусственное притяжение перестало действовать, и им полностью овладели гравитационные силы планеты.

Он хорошо изучил ее отсюда — ведь планета закрывала своим крупным диском значительную часть пространства. А сейчас он начал медленно приближаться к ней.

Так медленно, что первые часы товарищам казалось: он просто неподвижно парит в космосе. Они прекрасно видели его лицо сквозь прозрачный шлем. Он улыбался.

Они еще постояли у края, помахали ему и разошлись: у каждого были дела, а он уже перестал быть частью их группы, получив собственное, отличное от них задание.

Приблизительно через два часа кто-то опять появился у леера, огораживающего площадку, и несколько

удивился, кажется, что Безымянный еще находился так близко. Ему снова помахали, и он помахал.

На станции наступила условная ночь. Он тоже задремал внутри своей скорлупы. Приборы показывали, что силы гравитации все ускоряют его движение — и он верил приборам, но сам ничего не замечал. Может быть, гигантский диск планеты и вырос за сутки — ему она казалась все такой же. Немного четче он различал лишь ее материки; облачный покров менялся на разных сторонах, да плоскости превращались в выпуклости — вот и все. А между тем он летел довольно быстро. Все путешествие было рассчитано на восемь планетных суток. Конечно, светоплан проделал бы этот путь за минуту, но приборы накапливали сведения: гравитационные полеты представляли сейчас особый интерес. Жаль только, что сам гравитолетчик оставался как бы не у дел — действовали автоматы; он превращался в простую набивку скафандра.

Нехорошо было так думать, но пустота и чернота раздражали его. И потом, впервые в жизни что-то оставалось скрытым: ему не сообщили цели вызова.

Все, что делали люди Лаолы-Лиал, они делали разумно и добровольно. Отсутствовал сам термин «повиновение». И вызов без объяснения невольно кольнул Безымянного.

Летящему в космосе кажется, что именно он центр вселенной: отовсюду его обтекает одинаково отдаленная от него небосфера, словно он находится посреди гигантского черного шара.

Так он летел в пустоте, иногда прикрывая шлем заслонкой, чтоб отдохнуть от вида копошащихся огней космоса, или бездумно, разглядывал родную планету, мечтая о встрече с женщиной, которая как раз к его возвращению должна была стать матерью их ребенка.

А теперь Безымянный появится намного раньше. Интересно, знает ли она уже об этом? Она не любила неожиданностей.

Из трех женщин, которых любил Безымянный, самой далекой от него оставалась первая: лаолитянка Лихэ. И все-таки иногда ему казалось, что, умирая, ему хотелось бы тронуть именно ее бестрепетную надежную руку.

Она никогда не принадлежала ему всецело; она никому не принадлежала! Любовь занимала столь малое место в ее жизни, что временами он чувствовал себя неловко: ему казалось, что он отвлекает ее от чего-то гораздо более важного. Она не огорчалась их частыми разлуками и не слишком горячо жаждала встреч. Ребенка она решила родить по трезвому размышлению, после того, как исследования эмбриолога-генетиста подтвердили, что завершение ее физического развития нуждается в подобном толчке.

Она была хорошо тренирована, абсолютно здорова и равна в обращении. Ровна, как дорога, на которой не случается ни аварий, ни нечаянных встреч.

И однако он любил ее робко и неистово! Ему приходилось все время следить за собой, чтоб не прорвалась наружу тайная нежность — он не хотел быть осмеянным ею. Божественный дар — смех — превращался на устах Лихэ в карающий бич. Она видела во всем только повод к юмору. И никогда — к печали. Была ли она умна? О, очень! Добра? — «А что это такое?»

Они познакомились ранней весной на сборах студентов. Семинары проводила сама молодежь без всякого участия старших. Это была как бы последняя проба сил перед вступлением в жизнь. И в то же время клуб встреч и развлечений.

Лихэ уже тогда увлекалась теорией кибернетического бессмертия. Как это ни странно, она была идеалистка. Очень трезвая, очень расчетливая, но идеалистка.

Ментальное поле — поле излучений психической деятельности всякого разумного существа — практически открытое сравнительно давно, нуждалось в теоретическом обосновании. Что происходит с психической энергией человека после смерти? При распаде материи? Мозг, хранилище информации, абсолютно материален. Никакой мистики нет и в излучениях мозга: это вид волн определенной частоты. Как всякая волна, они имеют способность перемещаться в пространстве независимо от пославшего их источника. То есть обладают как бы последующим независимым бытием?

— Разве нельзя представить, — говорила Лихэ, и голос ее звучал гипнотизирующе ровно, — что вселенная... нет, не наша галактика, а вся вселенная, не подвластная пока нашим изучающим устройствам, что эта вселенная

построена по единому разумному плану? Тогда появление мыслящих существ преследует определенную цель: они лазутчики на перифериях мироздания. Смысл их жизни — накопить информацию об окружающем. Но что дальше? Неужели только воспроизвести на свет детеныша и умереть? Заметь: детеныша подобного себе лишь биологически. Интеллект передается в недостаточной степени. А накопленный потенциал знаний вообще пропадает! Тебе не кажется, что это нерациональная трата сил в природе?

Безымянному не казалось. Он был сторонником другого течения, по которому природа представлялась ареной случайностей. И только в результате многих проб — которые могли состояться, а могли и нет! — островками выкристаллизовывается жизнь.

Однако он не стал прерывать Лихэ столько же из деликатности, сколько и из желания слышать ее голос.

Они сидели на траве, в далеком уголке заповедника. День клонился к вечеру. Сквозь густые листья древовидных кустарников просвечивало небо. Заря была голубовато-пурпурного цвета. Синего в ней было больше, чем розового. Пламя огромных энергий цвело и распускалось наподобие гигантского цветка.

Лихэ полулежала, подперев голову рукой. Запястья у нее были сухощавы, а движения мелки и быстры. Глаза странные — было в них что-то пробивающее, подобно пулям: они пронзали, кололи — вовсе не желая причинить боль! Взгляд, как сигнал с другой планеты: он преодолевает огромные расстояния. Он в полете. Его почти можно тронуть... Но он еще не дошел.

Лихэ навсегда осталась непознанным существом для Безымянного. Хотя он в тот же вечер стал ее мужем.

Когда сгустились короткие сумерки, а потом поочередно взошли луны — каждая в своей фазе — они невольно придвинулись поближе. Может быть, потому, что стало холоднее. Сначала он не ощущал никакого волнения. Ее голова доверчиво прижалась к его плечу. Но одна из лун ударила снопом серебряно-лилового света в ее лицо с сомкнутыми веками — и древние силы вспыхнули в обоих.

Они замерли, словно прислушиваясь сами к себе. Это был волшебный миг, когда лопаются бутоны папоротника...

В лесу становилось все светлее. Разноцветные луны перекрещивали лучи, как прожектора. Прошел час. Оба не шелохнулись. Может быть, они были смущены или счастливы? Это трудно сказать.

Наконец он проговорил, с трудом разжав губы:

— Я так люблю тебя, Лихэ!

Она отозвалась:

— Я тоже.

Самое неожиданное началось потом. Вопреки обычаю и здравому смыслу, они не захотели расстаться. Им даже пришлось кое-чем пожертвовать ради этого, хотя большая тяжесть жертвы упала на Безымянного. Это он остался возле Лихэ. Из двух своих профессий ему пришлось пока выбрать наименее любимую — врача. Тем более, что это позволяло работать в одной лаборатории с Лихэ.

Но он по-прежнему не сочувствовал поиску единого ментального поля, куда якобы устремляются после смерти людей излучения их мозга. Представление о бессмертии, как о гигантском хранилище информации, и только одна-единственная клеточка в нем — это ты сам, вернее, то, что выкачал, высосал из тебя мировой кибернетический паук, — представлялось Безымянному отвратительным. Вызывало протест и то, что именно могло представлять объективную ценность для Великой кибернетики. Уж, конечно, не его сомнения, не тревожная любовь к Лихэ, не то редкое щемящее чувство родства с почвой, растениями и немногими оставшимися зверями на Лаоле-Лиал. А для него подсознательное как раз и составляло наиболее ценную часть собственного «я». В нем он черпал внутреннюю убежденность в своем будущем развитии.

«Кибероментальщики» — как он непочтительно называл их про себя — настолько ему надоели, что примерно через год он взбунтовался и решил переменить работу. Теперь с Лихэ они могли видеться только время от времени. Впрочем, на Лаоле-Лиал такое положение было обычным для большинства мужчин и женщин. Брак давно не привязывал их к общему дому. Лихэ — увлеченная, деловитая, готовая вышутить любой порыв чувствительности, но неизменно правдивая и надежная, — продолжала оставаться его женой. Таинственным существом за семью печатями!

Ночью, когда на ее сомкнутые веки падал серебряно-

лиловый свет «их луны» (так он называл ее, конечно, про себя), он повторял мысленно: «Милая моя Лихэ, умная Лихэ, пожалуйста, не говори ничего и не улыбайся. Пусть у меня остается хоть какая-то иллюзия, что я тебе нужен. Ведь люди могут быть не только собеседниками и единомышленниками: им нужно еще пристанище. Мое плечо — пристанище для тебя!»

О желании иметь ребенка она сказала ему просто; никакой жизненной тайны этот акт для нее в себе не заключал. Вопросы пола разбирались еще в школе, юноши и девушки знали достаточно, чтоб не испытывать ни особого любопытства, ни стыда.

Безымянный как врач смог проверить себя и ее сам. Лабораторные пробы носителей наследственности заняли около недели. Оба точно знали время зачатия. Ничему, что хотя бы отдаленно напоминало любовь, в эту ночь не оставалось места.

Для беременности Лихэ все складывалось очень удачно: поиски ментального центра постепенно сворачивались из-за необходимости экономить энергию для межгалактических экспедиций. Она оказалась свободной и могла выносить и родить ребенка, не нарушая медицинских правил.

Безымянный рассчитывал прожить все это время возле нее, как вдруг ему неожиданно предложили войти в состав очередной смены на гравитационной космической площадке. Это была как бы проверка при отборе в Большие полеты.

Лихэ обрадовалась его поездке прежде, чем он успел решить, согласен или нет. Если б он отказался, она бы очень удивилась. А он избегал ее удивлять: ему чудилось, что с каждым таким удивлением она смотрела на него все трезвее...

Вот так и получилось, что с гравитационной площадки он прямо был зачислен в экипаж экспедиции с маршрутом — Млечный Путь! Подготовка заняла всего два года. Его дочь была еще на руках, когда они обе с Лихэ поехали вместе с ним на космодром. Всю дорогу его терзала мысль, что прежде, чем корабль достигнет первого объекта, его дочь вырастет, состарится и, возможно, умрет. А ему исполнится только двадцать четыре года!

Жена, как ему казалось, томилась последние часы на космодроме, словно внутренне она уже распрощалась с ним. Корабль еще не взлетел, а они ушли друг от друга.

И хотя ему суждено было на невообразимое время пережить не только ее, но и своих дальних потомков, правнуков той крошечной девочки, что копошилась на руках у матери, и младенческий запах которой он еще ощущал на губах,— все-таки Лихэ ожидала жизнь более наполненная, чем у него. Он не сомневался, что она скоро найдет ему заместителя и будет счастлива.

А ему предстояла любовь почти бессмертная. Воспоминания, вскормленные одиночеством.

Когда он любил короткое время другую женщину, Элиль, встретив ее на одной из дальних чужих планет, ему казалось, что он просто перенес на нее запас неизрасходованной любви к Лихэ. Дочь, родившаяся у него там, тоже словно переняла черты оставленного ребенка. И только покинув и их, потеряв в необратимой пропасти времени, он постепенно понял, что они были ему дороги сами по себе, что любил он именно их, а не тех, забытых... И мучась поздним раскаянием, невозможностью загладить вину, взглянуть на них еще раз иными, раскрытыми глазами, он вновь переживал в воспоминаниях свое падающее счастье.

Долгая жизнь его проходила в молчаливом мужании; в страстях, которые накапливались и накапливались, подобно току в силовых полях.

Планета Зеленая Чаша входила в галактику Равноденствия: она достигла самой границы фиолетового смещения, но еще не переступила ее. Зеленая Чаша — прекрасное озеро, блиставшее из космического далека, как полированное зеркало, — вовсе не была верхом благополучия. Все усилия ее человечества направлялись на осушение и охлаждение планеты: блуждающий болид, предположительно из антивещества, тысячелетие назад столкнулся с планетой, растопил полярные шапки, залил вселенским потоком материки и, — главное, — нарушил режим биогеносферы. Ушли под воду леса, перестав выдыхать кислород. Избыток углекислого газа, как ватная подкладка, перетеплил тело планеты; она потела и прела.

От сильной радиации огромная часть животных погибла, но некоторые, наоборот, получили толчок к развитию в гигантских формах. На отмели выползали ожившие рептилии: тритоны и ящерицы превратились в брон-

тозавров, глупых, как пробка, сонных и благодушных. Тиранозавры с полуметровыми зубами раздирали их. Отовсюду несся звук жевания, перемежаемый плеском волн.

На эту задыхающуюся полумертвую планету была направлена энергия не только остатков собственного человечества, но и помощь двух других разумных планет галактики. За несколько веков горные склоны покрылись могучими лесами. С особой быстротой они «глotalи» углекислоту и росли, как на дрожжах. У океана, у душной атмосферы насильственно отнимался избыток тепла, превращаемый в энергию. Этой энергии было так много, что Зеленая Чаша охотно готова была поделиться ею с будущими переселенцами; уже сейчас промышленность начала перестраиваться, чтоб накапливать, век за веком, материал для аннигиляции. Материал этот получали путем разложения воды — и, таким образом, осушение давало добавочную пользу.

«Рудное поле» океана оказалось тоже чрезвычайно богатым: моллюски накапливали медь, медузы — цинк и олово. Так «водная цивилизация» Зеленой Чаши, перевернув всю предыдущую историю, открыла перед обитателями планеты и совершенно особые перспективы, толкнула на разработку оригинальных проблем: богатства воды полностью заменили богатства недр!

Почва, раньше варварски разрушаемая пахотой, ныне освобождалась от «продовольственного налога». Забота о прокормлении человечества легла исключительно на поля водорослей.

Морская вода — материнское молоко для планктона — вместе с тем содержала в себе все, что нужно и для живых организмов, для формирования их панциря и костей, мышц и крови. Пища, насыщенная фосфором, кальцием и белком, обогатила мозг планетян, переродив их и нравственно.

Удивительная была эта планета, покрытая бескрайними, бурно дышащими морями! Зеленой Чашей называлась она, и слово «зеленый» стало синонимом прекрасного.

Безымянный долго не мог привыкнуть к ее блеску, простору, оголенности и вместе с тем к обостренному братству всех живых существ перед лицом молчаливых вод и столь же бескрайнего неба.

Казалось, здесь, на его глазах пишется книга Бытия. «Да будет заполнена пустота! — гласит ее первая заповедь. — Пусть воды отступят, появится земля и будет прочной. Подобна туману, облаку или пыли была земля при своем сотворении, в начале своей телесности. Потом горы появились из воды, горы и долины; кипарисовые и сосновые рощи пустили побеги по поверхности».

Чувство покоя и вместе с тем наполненности каждого мига никогда больше не овладевало Безымянным с такой силой, как во время нескольких лет его жизни на Зеленой Чаше. Рядом с женщиной, носившей имя Элиль.

На его долю всегда приходился больший контакт с жителями других миров и более пристальное проникновение в их жизнь. Его товарищи занимались энергетикой, математическим анализом силовых полей. Они налаживали обмен информацией с учеными и инженерами — язык цифр был поистине вездесущ! А Безымянный изучал разницу биогеносфер, этнографию и особенности развития интеллекта. Или же занимался раскопками на безжизненных планетах.

В глубине души он все больше переставал чувствовать себя только сыном Лаолы-Лиал. Перед ним распускалось звездное дерево вселенной: из эры дымящихся океанов на раскаленном ложе магмы он переходил в тихие мертвые миры пористой пемзы. Жизнь раскрывалась в самых неожиданных проявлениях от коллоидно-кислородной структуры до непознанной еще никем из себе подобных — кристаллической. И затем, — скорее угадывались! — формы в виде энергетических шаров, силовых сгустков.

Но все это лишь в одной половине бесконечности! Вторая — таинственные антимиры — оставалась пока скрытой.

...О ненасытная душа! Перескочив бездну времен, создав свое собственное время, победив пространство, добьешься ли ты, наконец, того абсолютного знания, о котором мечтали алхимики и философы? Неужели ты всемогущ, мозгоподобный?!

Внешне Элиль не была похожа на Лихэ, как отличались и сами их планеты. Безымянный не сразу научился понимать, что Элиль прекрасна.

Она была дочерью нескольких звездных рас. После космической катастрофы, которая и привлекла обеспокоенное

внимание других обитателей галактики Равноденствия, оскудевшее человечество охотно роднилось с пришельцами. Новые токи вливались в жилы покорителей воды. Менялся их облик, расширялась способность воспринимать новое. Культура шла дорогой внутреннего обогащения.

Безымянного в Элиль привлекала особая музыкальность линий и черт, она двигалась, говорила, как другие поют. Над анализом преобладала фантазия: она и ее соплеменники жили в вымыслах так же свободно, как лаолитяне среди цифр. Это покоряло и обезоруживало; впервые мечта — гонимое и осмеянное дитя разума — нашла себе отечество. Безымянный, который некогда так тщательно прятал порывы нежности от зорких безжалостных глаз Лихэ, рядом с Элиль ужасался собственной черствости. Словно половина манящего мира Зеленой Чаши оставалась для него скрытой. Он различал какие-то контуры, звуки... и все расплывалось.

Элиль была терпелива. В теплые звездные ночи, которые были не черными, как глухой космос, а живыми, теплящимися — отражение созвездий населяло, подобно странным рыбам, глубину вод, а бриллиантовая роса галактик освещала лица, — в эти ночи голос Элиль передавал ему историю планеты.

Он плохо видел ее черты: только стройный осеребренный лоб да полет глаз, почти собачьих в своем проникновении и преданности. Ведь в его родной галактике, кроме Лаолы-Лиал, не было ни одной населенной планеты, поэтому лаолитяне долго придерживались взгляда, что разумная жизнь — величайшее чудо, дарованное им одним. Они невольно выделяли в космосе противоборствующие силы.

Элиль, напротив, была полна доброжелательства. Глаза ее с пристальной лаской вглядывались в окружающее. Она не считала разум привилегией одних человекоподобных.

— Почему тебе кажется, — говорила она, — что мир состоит из бессознательных атомов, и лишь твоя мысль кладет всему начало? Пока мы дошли до идеи винта, некоторые цветы уже обладали таким приспособлением. Их семена в легких спиралях готовились к длительным путешествиям. А как героически, самозабвенно отрываются подводные растения, чтоб оплодотворить открытую

чашечку на длинном стебле, уже поджидающую их на поверхности?

— Такая «мудрость» принадлежит виду в целом, — с досадой возражал Безымянный. — Только случайно природа достигает цели: она побеждает множеством.

— Конечно, — ласково соглашалась Элиль. — Но мзгоподобные не соперники, а соревнователи природы!

Да, вот чего в ней не было — властности! Только самоотданность. Доброта, которая давно перестала быть суровой. Целая цепь поколений нянчила свою больную планету и понемногу оживила ее. Внутренним законом каждого стало уважение к любому проявлению жизни.

Безымянный со стыдом ощущал, что они — обитатели мудрой планеты фиолетовой зоны, — уйдя бесконечно далеко в познании мира, расчленив его на вес и число, отвергнув всякую власть чуда над своим сознанием, вместе с тем обеднили и запустили собственный вертоград.

— Закрой глаза и разум угаси, — нараспев читала Элиль старое заклинание. — Я обращаюсь только к подсознанию. К ночному «я», что правит нашим телом. Творит не воля, а воображение. Весь мир таков, каким он создан нами. Достаточно сказать себе, что это совсем легко — и ты без напряженья создашь миры и с места сдвинешь горы...

Он слушал ее голос, как внимают древним рунам, которые были похоронены на дне сознания, а теперь всплывали, всплывали... И он уже узнает их в лицо.

Тысячелетие назад, рассказывала Элиль, мир Зеленой Чаши раздирался войнами и антагонизмом рас. Планету однажды посетили прилетевшие из космоса, но формы связи были еще несовершенны. Прилетевшие не смогли подняться обратно, не сумели даже подать о себе никакой вести на родную планету и остались здесь навсегда. Их потомки, вооруженные высокими знаниями, употребили их во зло. Они стали основателями господствующей расы, хотя через несколько столетий полностью смешались с аборигенами. Разность рас оставалась скорее символической.

Эпоха угнетения захватила многие века. Люди рождались и воспитывались в страхе, раболепстве. Высокая техника не приносила ничего, кроме разочарований.

Мятежи и ропот прорывались революциями, но только последняя увенчалась успехом. От системы насилия сразу отпала четверть планеты. Новорожденный мир без рабов должен был огрызаться, подобно волчице в своем логове. Зеленая Чаша, — тогда с преобладанием суши и массивами высочайших безлюдных гор, — все больше и больше походила на гибнущий остров.

Ученые открыли, что из недр мирового пространства к системе солнца Зеленой Чаши движется блуждающий болид. Долго не могли установить его природу. Возникло страшное предположение: космическое тело из антивещества. Угроза гибели нависла над всем живым, как слепой меч. Жизнь сделалась невыносимой. Испуганное человечество искало прибежища в суеверьях, обезбоженный мир снова населялся мрачными силами, которые невидимо угрожали со всех сторон.

В эти смутные десятилетия разнеслась сенсационная весть о новой — уже третьей — расе, обитающей в высокогорных районах планеты. Она стояла на уровне каменного века и до сих пор не имела никаких общений с разумным миром. Вспыхнуло всеобщее тревожное волнение: во что бы то ни стало всем захотелось увидеть таинственного «ледового человека».

И вот в район высочайших гор почти одновременно отправились экспедиции обеих враждующих сторон. Кроме научного интереса, их подталкивало соперничество. Они столкнулись у вечных снегов — это была единственная дорога вверх! — и, проведя несколько дней в распрях, дальнейший путь продолжали довольно миролюбиво: ведь оба отряда были немногочисленны, а быт скалолазов суров и требует взаимной поддержки.

Однако на каждом привале вспыхивали неудержимые дискуссии по моральным, социологическим и расовым проблемам. Истина начинала уже проклевываться, как птенец из скорлупы. Фанатизм тоже несколько смягчился. Когда вчерашние враги предстали друг перед другом в облики парней, способных на выручку, стремление побеждать постепенно сменилось желанием убедить.

Первая бомба отступничества разорвалась неожиданно. Уважаемый член экспедиции, аристократ и потомок по прямой линии правящей династии, в споре стал на сторону своих антагонистов. Опешили и те и другие. Вооруженный логикой и наследственной культурой отщепенец

как бы громил самого себя. Все разошлись молча. На высоте четырех тысяч метров нет условий для изгнания или обструкций. Они продолжали путь, тем более, что стали попадаться зримые следы «ледовых людей», остатки их пиршеств — потроха птиц и грызунов (а этого не оставляет ни одно животное!). Вероятность встречи с «ледовым человеком» возросла.

Однажды перебежчика все же спросили наедине, со всевозможной осторожностью: «Высокочитимый, не будем касаться убеждений, но как вы с вашим воспитанием можете поддерживать наших спутников поневоле, этих узколобых сектантов, нетерпимых, лишенных и тени внутреннего изящества, бунтовщиков?»

Тот сокрушенно покивал головой. Гребешок негнушихся ресниц на мгновение прикрыл его ромбические зрачки с синеватыми прожилками усталости. «О да, да. Они таковы, вы совершенно точно обрисовали их дурные стороны: неизящны, грубы, к тому же невежественны. Но у меня не оставалось выбора: в остальном-то они правы!»

После того, как за скалой мелькнула уже вполне реальная косматая фигура, возникли новые трудности: как поступать дальше? Изловить и связать? Пристрелить? А если это, действительно, тоже разумное существо?

Они в недоумении уставились друг на друга; надо было выработать общий план действий, а следовательно, и кодекс общей морали. Причем немедленно! Вот тут-то и готовилась либо рухнуть, либо обостриться вековая вражда... Но все кончилось гораздо страшнее.

В некое утро, едва проснувшись, они увидели, что небо под ними (они находились уже очень высоко) пылает безмолвным ужасным светом. Впоследствии древняя эпическая книга так описала это событие: «Густая смола пролилась с неба. Лик земли потемнел и начал падать черный дождь; ливень днем и ливень ночью...»

Испуганные люди кинулись вниз. Но через полкилометра приборы указали на угрожающую разреженность атмосферы. Видимо, произошло неожиданное: вместо того, чтобы «осесть» при захвате болидом атмосферного пояса, воздух устремился вверх и удержался в каком-то количестве лишь в высокогорном районе. Надолго ли? Оставалось надеяться, что с удалением болида кончатся и возмущения.

Они поднялись снова и лихорадочно стали искать обходных путей. Совершали чудеса храбрости, чтоб обогнуть ледяную вершину. Но и там приборы указали на опасность. Загнанные, как мыши во время наводнения, они сбились в жалкую кучку. Кто-то застрелился, не выдержав напряжения. Несколько человек сорвались в пропасть. Все были деморализованы. Вокруг бродили стайки «ледовых людей», но это уже не вызывало никакого интереса.

Свирепая снежная буря наверняка погребла бы и этот жалкий остаток человечества, если б одна из ледовых баб с проблесками сардоболия, движимая материнским инстинктом, не перетаскала их, как щенков, в свою пещеру. Там они и лежали, больные и отупелые, пока огонь костра и тепло шкур не возвратили их постепенно к сознанию.

И вот тут, в дыму и чаду древнего благодетельного огня, они впервые нашли в себе силы посмотреть в лицо происшедшему. Мир погиб. Их несчастный, безрассудно раздираемый распрями мир. Их прекрасный мир со щедрой почвой, растениями и поющими птицами! Вся цивилизация, вся наука. Все их женщины и дети...

Кроме них самих да племени «ледовых людей», казалось, не существовало ничего живого. Они лежали у костра и мучительно размышляли. Никаких споров не было. Неправота одних стала ясна сама собой, и правота не нуждалась больше в подтверждении: катастрофа всех убедила вполне. Человечество не смогло вовремя объединиться и отразить опасность. Впредь нужно было жить по-иному.

Именно тогда стали пробиваться, как проблески предутреннего света в кромешной тьме отчаяния, первые наметки будущего строя и будущей морали.

Были выработаны Четыре принципа, четыре добровольно принятых закона.

Первый закон запрещал самоубийство, как тягчайшее преступление перед будущим. Второй предлагал вспомнить и записать все, что знал каждый, начиная от таблицы умножения. Третий — влиться в племя «ледовых людей» и воспитывать своих будущих отпрысков так, чтоб они смогли пробежать все историческое расстояние, разделяющее их родителей, и стать восприимчивыми культуры отцов. И, наконец, последнее: заложить основы общества справедливо-равноправного с первых его шагов! Это они поклялись исполнить. И исполнили.

Старейшие из Учредителей были еще живы, когда на Зеленую Чашу опустились соседи по галактике. Уловив признаки катастрофы, их звездный корабль решил сделать крюк и сесть на несчастную планету. Счастливая случайность — активная помощь галактиан — спасла остатки человечества, иначе их позднее прозрение могло оказаться завещанием самоубийц. У вида свои статистические законы: малое не выживает. Лишь это прибытие помогло племени «ледовых людей» превратиться в предков того разумного человечества, которое застали уже Безымянный и другие аргонавты Лаолы-Лиал.

Безымянный размышлял, не был ли теперь гармоничский мир Зеленой Чаши прообразом будущего всех мозгоподобных? Юная, почти первобытная раса «ледовых людей» перескочила этапы мучительного роста; к своему свежему мировосприятию добавила высокую культуру и социальный строй, исключаяющий насилие. Техническая мысль не успела иссушить образного мышления. Эти две струи не вытеснили одна другую, а как бы слились. Братство мифов и чисел! Разве обязательно брат должен убивать брата?!

На Лаоле-Лиал ментографы давно уже корректировали не только речь, но и мысли; находили самые точные, наиболее экономные способы выражать их. А у Элиль слова возникали и наполнялись живым светом в зависимости от мгновенья. Слово рождало понятие, становилось чувством. Иногда оно было многозначнее, чем сама мысль...

Безымянный много времени проводил с Элиль. Накануне отлета к необитаемым спутникам Зеленой Чаши он сломал ногу и ему должны были вживлять электроды вместо порванного нерва. Его оставили поправляться.

С лаолитянами улетело несколько ведущих техницистов Зеленой Чаши; именно там, на одном из пустынных астероидов, следовало искать место для будущего центра по производству энергетического вещества.

Первое время, когда Безымянный остался совсем один и ему приходилось лежать неподвижно, он, наверное, чувствовал бы себя в чужом мире подавленно, если б не Элиль.

Он навсегда запомнил эти длинные дни между морем и небом; покачивание большого плота, на котором жил;

струистые блики по полотняным стенам. Хотя к нему каждый день по утрам приходил юноша с аппаратом, который с его слов записывал историю Лаолы-Лиал и ее космогонические воззрения, больше всего запомнилось именно одиночество.

Вокруг было так много света и солнца, что он буквально пропитывался ими. Ведь искусственное облучение в космическом корабле, если и давало питание клеткам, не могло ласкать и радовать, подобно живому теплу! Луч — многоемкая стихия. Кожа — это уже скафандр, не только защищающий от космоса, но и вступающий с ним в сложные связи. Верхний слой кожи словно «кипит», соприкасаясь с лучом; он пропускает вглубь только те волны, которые нужны.

Сначала Безымянный думал, что Элиль — врач или сиделка той плавучей больницы, где он очутился. Она приходила и брала его за руку, трогала пальцами лоб. Он знал, что это лечение гипнозом и охотно подчинялся ему.

Элиль проверяла записи радиоизлучения его мышц; при вдохе излучение мелких мышц грудной клетки было сильнее, чем крупных. Мышцы головы вообще не подавали сигналов.

Они вели долгие медицинские разговоры. Так он узнал, что на Зеленой Чаше не подвергали изменениям программу будущего планетянина, не вторгались в линию эволюции. Позволяли себе лишь маленький корректив. Как удовлетворить извечную жажду бессмертия? Бытие едино. Одновременно существует и прошлое, и настоящее, и будущее. Но мозгоподобный так запрограммирован, что видит только отрезок своего пути. Его психологическое время ограничено. Хотя времени, как думали здесь — вообще нет; оно — структура самого пространства.

Генетисты Зеленой Чаши сумели отыскать и разбудили клетки эмоциональной памяти. Теперь каждый ощущал себя как звено колоссальной цепи времен. Он знал, что его дети будут видеть мир не только своими глазами, но как бы и его собственными.

На Лаоле-Лиал все подчинялось математической заданности: ребенок просто не мог бы родиться иным.

На Зеленой Чаше появилась особая бережность к личности: не порвать цепи! Планетяне уважали себя как хранилище прошлого и как носителей грядущего.

Если лаолитяне видели смысл развития в достижении абсолютного идеала — идеала здоровья, ума, красоты, а в результате пришли к единообразию, то на Зеленой Чаше совершенство заключалось в богатстве индивидуальных черт, в умении переживать необычное — и передать его дальше! Строй высокого коллективизма предполагал внутреннюю независимость и обособленность, как возможность размышлять. Планетяне не были вовсе против машин, но против всего, что унижает и ограничивает человека в машинной цивилизации. Ведь нет идеи, которая при гипертрофировании не пришла бы к своей противоположности.

Безымянный ощутил толчок боли и кратковременную неприязнь к Элиль: то была его планета, его время! Пусть сухосердое, но именно ему он бросил на подтопку свою юность! А юность не могла гореть зря, иначе незачем жить. Да этого никогда и не бывает. Будущее выкристаллизовывается из многих слоев.

Он узнал, что Элиль вела опыты со второй разумной расой планеты — морскими животными, обладавшими начатками речи и мышления. А заботу о Безымянном она взяла на себя потому, что...

Он перестал ее слушать. Она вдруг обрела значение сама по себе, как бы отделившись от остальных обитателей Зеленой Чаши, которые так долго казались ему на одно лицо.

Этот миг выявления внутреннего во внешнем всегда знаменует первый шаг навстречу друг другу. Разность облика перестала настораживать Безымянного. Он знал: странно посаженные глаза Элиль, мягкие и проникновенные, как глаза умного зверя, обращены к нему не только с любопытством, но и с теплотой. Они светили ему долго после того, как она уходила.

Он научился распознавать плеск ее лодки, как бы далеко она ни причаливала. В этом не было ничего чудесного: между ними протянулась трепетная нить биотоков. Но это был не обычный контакт! Или ему уже хотелось, чтоб не обычный?..

Им все больше овладевал интерес к тому, чего он еще не знал в ней; что она могла бы сказать или сделать. Какой отзвук родится в глубине ее существа, если он ее поцелует, хотя бы один раз?

И все-таки это была еще не любовь. Был поиск. А он, как пучок света, идет в разных направлениях.

Любовь — когда внутренний мир обоих прочно настроен на близкую волну: они могут понять, почти не прибегая к словам. Их трогают сходные вещи; то, что ощущает один, уже прозвучало в груди другого.

Но природа бдительно следит, чтоб не было тождества. В самых близких душах остается заповедник тайн. Природа не любит кровосмешения...

...Безымянный смотрел перед собой остановившимися глазами. На экране едва брезжили красные и бело-сиреневые огоньки: скорость смяла все цвета, звезды были почти невидимы. Миры, миры...

Спасибо тебе, Элиль, что ты была, со своей мягкой улыбкой и преданными глазами, плачущими при расставании!

Спасибо, Элиль, сохраненная теперь только в моих снах. А на самом деле давно уже бесплотная, растаявшая, будто льдинка под беспощадными лучами Времени...

Жизнь во времени — такое же благо и право каждого живого существа, как пища и воздух вокруг него. Можно представить трагедию динозавра, очутившегося посреди снежной равнины! Сместились времена, и мир сразу стал враждебным и непонятным.

Мир вокруг нас строится из наших сегодняшних знаний, предубеждений, верований. Завтрашний идеал идет на полшага впереди. Мы лишь тщимся его догнать...

Безымянный — путник по Времени, — поневоле вынужден был стремиться к идеалу, объемлющему поистине гигантское нравственное поле! Оно включало доблести самых разных ступеней развития: ведь фетиш дикаря совсем не похож на идеал просвещенного человека. Беспощадная храбрость — и терпимость; цепкость к жизни — и милосердие!

Путешествуя по мирам, пришлось отрешиться от ограниченности своего собственного мира, как бы он ни был совершенен в сознании. Ни одна самая высокая цивилизация не настолько высока, чтоб ей нечему было учиться у других, — ну, хотя бы пониманию!

Но уходя из своего времени, мы обрекаем себя на муки. Только в тесной скорлупе летящего корабля можно оставаться самим собой; удерживать свой мир возле себя.

Любое столкновение с чужеродным — это уже взрыв, катастрофа. Никогда не известно, каким из нее выйдешь — с опаленным лицом или с измененной душой.

И все-таки человеческое естество гибко! Поистине, оно создано быть и птицей в воздухе и саламандрой в огне. Отрешиться от самого себя, чтоб найти самого себя завтрашнего! Не делаем ли мы это в микроскопических размерах каждый день? Через определенное число лет полностью обновляются клетки организма; ни одной капли крови не остается прежней. Книга, встреча с незнакомцем, политическое событие — разве это не меняет нас? Не способно переиначить?

Путешествие по Времени не противоречит живому, только переводит рычаг с «медленно» и «мало» на «очень быстро» и «очень много». Сможет ли человек к этому приспособиться? Вероятно. Так же, как сумел, сменив огонь костра на пар, пар на электричество, а двигательную силу, бегущую по проводам, — на мощь атомных реакторов. Но люди не просто подгоняют, «подтягивают» свое мышление к новым силам — мышление само неизбежно меняется качественно.

МИНУТА ВЕЧНОСТИ

Благодарю за неотступность боли
Путеводительной — я в ней сгорю.
За горечь трав земных, за едкость соли
Благодарю!

Максимилиан Волошин

Одам, конечно, не поверил рассказу Лилит о чудищах с Соленого озера, но все-таки на следующий день отправился туда сам.

Он вернулся задумчивым и смущенным: тушку кролика, объединенную муравьями, плетенку с сотами и засохшие куски соли никто не тронул, но на берегу остались следы...

Он, отлично разбиравшийся в каждом сломанном стельке, в травяной метелке, просыпавшей семена от случайного удара копытом, без труда умевший определить рост и вес зверя по одному отпечатку — не мог ни объяснить, ни даже понять, о чем говорили эти впадины, эти сбросы песка и борозды на обожженной траве? Запах, не схожий с запахом теплокровных, еще слабо витал в воздухе.

Лилит ждала Одама с нетерпением. Но он не захотел ни о чем говорить. Лишь молча протянул подобранные припасы; даже соль потеряла в его глазах ценность.

Он ушел к реке и сел на камень. Вода и воздух были укутаны в серебряную пелену, словно осенены неведомым дыханием. В разрывах смутно зеленели близкие кустарники. Над каждой волной двигалась еще такая же, сотканная из тумана; солнце пронизывало ее и зыбко ударило о воду.

Вокруг был обычный нетревожащий мир. Но для Одама он лишился устойчивости. Странная жизнь началась у них с этого дня! Слова «любовь» они не знали, хотя это она увела их из племени. Однако теперь она стала идти на убыль, будто река после разлива: устремления обоих оказались слишком разными!

Одам инстинктивно боялся перемен: они несли тревогу. То, к чему уже приноровился, лучшая гарантия безопасности. Убежав из племени, совершив поступок грандиозный и революционный, он пытался тотчас как бы забыть начисто об этом и жить как можно более похоже на то, как жилось ему раньше. На первых порах он стал даже более косным, чем был прежде. Так пушка, сделав выстрел, откатывается назад и иногда давит тех, кто стрелял.

Одам оставался данником запретов, а Лилит всегда был свойствен порыв к свободе. В ней от рождения был вложен особый дар; как бы она ни хотела низко склонить голову, ее выдавала даже неподвижность. Влечение к чудесному, до поры дремавшее в ее темной душе, властно пробудилось.

День за днем терпеливо, зорко она выискивала следы таинственных существ. Она кружила и кружила вокруг Соленого озера, подобно серым орлам, которые гнездились там в скалах.

Иногда и мечты бывают достаточно грузны: буквально сгибаешься под их тяжестью! Переживая их про себя,

одну за другой, казалось бы, можно и облегчить груз? Ан, нет! Мечта, пережитая воображением, отнюдь не меркнет, не испаряется, не утоляет жажды. Она непременно стремится стать явью! И только как явь уступает место следующей.

Лилит глотала воздух открытым ртом; ей стоило большого усилия не кинуться опрометью прочь. Она уже видела несколько раз чудищ, но всегда издали, затаившись между камнями, припав к траве. Сейчас ее заметили. В этом не могло быть сомнения.

То, что было перед ее глазами, выходило за пределы опыта! Ее темный ум работал быстро, связывая цепь аналогий, протянув соединительные нити между далекими предметами. Она замерла неподвижно. И вместе с тем в этом ожидании был головокружительный бег: она приближалась к неизвестному.

Но и неизвестное приближалось к ней. Оно сделало шаг, и еще один. Круглый глаз, занимавший полголовы, повернулся в ее сторону. Тогда она увидела, что глаз прозрачен, а за ним видны диковинные черты с другими, меньшими глазами, хотя и странными по форме и разрезу, но сходными с глазами человека.

То, что внешность незнакомца отличалась от привычных черт ее сородичей, не особенно смущало Лилит. На заре цивилизации человек был менее заражен предрассудками. Он занимал еще столь скромное место в мире, что не ощущал себя монополистом, ему не приходило в голову распространять собственные пристрастия на все сущее, каждый день приносил столкновения с новым: звери и растения, одно невиданнее другого, проходили перед внимательным взором людей как полноправные обитатели земли.

Зачем же Лилит было беспокоиться из-за того, что у Безымянного глаза прикрывались не веками с бахромой ресниц, а плотными пленками, смыкающимися посредине? Что лоб его был костист и широк, голова велика, а тело приземисто?

Так же впоследствии ее не особенно поразил и рассказ об обитаемости звезд. Легковерие дикаря способно с размаху перепрыгнуть любую бездну! Пока сложное и простое равноценны в сознании, ничто не потрясает слишком.

Безымянный и Лилит осторожно, хотя без особого смущения приближались друг к другу; он знал об обитателях вселенной очень много; она не знала ничего — это их сближало. Они вперили взгляды, полные заинтересованности.

Лилит слегка улыбнулась: незнакомцы хохотали охотно и часто, она видела это из своих засад. Но впервые она ощущала на себе их взгляд — в нем было что-то притягательное, почти парализующее. Еще не понимая, опасность это или залог дружелюбия, она попыталась освободиться. Губы ее сомкнулись, как при сильном напряжении.

И тотчас взгляд Безымянного отпустил ее. Едва вырвавшись из невидимого силка, она выпрямилась.

— Чужие! Куда вы идете? — громко сказала она, пытаясь унять невольную дрожь пальцев. — Здесь не ваше место охоты. Горы и леса не хотят вас!

Голос Лилит показался Безымянному чистым и звонким. Он отлично знал, что звук — это не более, чем колебание воздушных волн на определенной частоте. Волны магнитного поля будут восприниматься уже как свет или радиоизлучение. И все-таки он не слышал подобного звучания! Он растерянно оглянулся; вокруг было пустынно, только росли лесные цветы. Не те, которые густо усыпают поляны, жадно и поспешно переплетаются стеблями, толкаются в темноте корневищами. Но есть цветы, растущие в одиночку; каждый виден издали. Ветер не гладит их небрежно, всем скопом, а играет с каждой чашечкой по отдельности. И огромный лиловый колокольчик, обретая звук, заговорил бы, наверное, голосом Лилит. Не плыл, не обволакивал, а чисто и ясно выговаривал каждый слог — таким представился голос Лилит Безымянному, лаолитянину, когда он услышал его впервые.

Нужно было разобраться в речевом коде землян. Без помощи специального устройства, на ходу, это не просто. Язык первоначально был организующим началом и на Лаоле-Лиал. Но азбучный период мышления прошел: показалось, что речь затормаживает контакт, и появились иные формы общения, минуя слово. Безымянный понимал, что язык встреченной им землянки примитивен, однако он не знал к нему ключа, а надо было ответить хоть как-то, чтоб не испугать ее и завоевать доверие.

И он произнес смешным горловым звуком первое случайно запавшее в память словосочетание:

— Чужие куда...

Сначала Лилит внимательно глядела ему в рот. Потом, вздохнув, в недоумении склонила голову к плечу. Горловое бульканье повторилось.

— Чужие куда,— еще старательнее выговорил лаолитянин.

Она узнала, наконец, искаженные звуки языка Табунды. О, как смешны эти чудища, оказывается! Они не умеют говорить?! Лилит, прищурившись, бросила на разумнейшее существо вселенной взгляд снисходительного покровительства...

В самом деле, долго еще, с ее точки зрения, лаолитяне были далеки от совершенства: они не умели самых простых вещей! Ведь они, действительно, не понимали языка Табунды: заучивание слов давалось им с трудом. А Лилит и не подозревала, что существуют иные наречья, кроме ее собственного.

Лаолитяне также давно не имели нужды в счете: за них все делали машины. Огонь знали только теоретически; и однажды один из них сунул руку в костер. Лилит захохотала, но потом приложила мягкий лист, прохладный и влажный — и жжение утихло. Лаолитянин почти с детским любопытством взглянул на свою исцеленную кожу.

Откуда было знать дочери Табунды, что неведомая ей Лаола-Лиал жила уже на исходе фотонного века, перед которым и термоядерный мог бы показаться каменным?! В своей гордыне лаолитяне и движение по световому лучу считали лишь рабским следованием кривизне пространства. «А где взрыв? — нетерпеливо восклицали они. — Где бунт, где поиск мозгоподобных!» «Быстрина помогает кораблю; было бы неразумно отвергать ее», — рассуждали опытные небесные кормчие. — «Однако, — возражали им — не плыть же с потоком фотонов, послушно огибающим поля тяготений? Не пора ли уже оседлать и реку направленного времени?..» Так перед лаолитянами приоткрывалась еще одна бездна: двусторонняя бездна макро- и микромиров!..

Ничего этого Лилит не могла знать. Ее приобщение было весьма поверхностным. И все-таки она не только впитывала, но и сама учила лаолитян. Давно привыкшие к послушной силе механизмов, они впервые дивились ловкости, всемогуществу голых человеческих рук! Первоз-

данная радость мускульного труда захватила их. Они, которые могли поразить цель на любом расстоянии мгновенным лучевым ударом, — теперь кидали камушки в дерево или летящую птицу. Надо признать: они были на редкость неловки — и так громко смеялись сами над собой!

Чувство превосходства, — хоть в самом малом, — освободило Лилит от боязни; у нее с лаолитянами шла честная игра: они менялись! Она почувствовала себя равноправной, а это ведь и есть первая тропинка к доверью!

Лилит смутно постигала, что речь Безымянного была в чем-то отличной от речи ее самой и Одама, хотя они теперь употребляли одни и те же слова. Впрочем, Безымянный каждый раз усложнял свой язык; названия предметов складывались в необычные сочетания. На безоблачный лоб Лилит набегали складки — так ей хотелось понять.

Настороженность таяла день ото дня. Она не заметила, как настал тот день, когда она полностью предалась ему душой с той единственной доверчивостью, которую питает дитя к матери, не отнявшей еще его от груди...

И одновременно с тем, как ей все легче и заманчивее было слушать Безымянного, она с досадой ощущала, что Одаму, наоборот, все труднее становилось уловить, о чем же говорит она сама, Лилит. Хотя у них всегда были те же самые слова!

Когда она впервые привела Безымянного к пещере, Одам стал серым от бледности.

— Они не похожи на нас, — зашептал он, — они пришли с той стороны мира?

Лилит захохотала. Но Одам становился все мрачнее. Они жили еще рядом и порой ласкали друг друга, хотя в то же время стремительно убегали в разные стороны, как две речки, возникшие из общего источника, но уже разделенные горным кряжем.

Безымянный трудился, как винодел; он откупоривал пустые бутылки и наполнял их. Это была работа над мозгом Лилит.

Он населял его понятиями. А потом превращался в ткача и швеца; соединял нитями: теснее, чаще... Переплетал между собой — возникала ткань. Тогда он смело

кромсал ее, кроил образы, домыслы, допущения. Создавал целую вселенную мысли!

Безымянный стоял как бы у самой колыбели разума. Но он уж не был только благодушным наблюдателем: в нем самом зрели перемены. Духовное высокомерие лаотитян все больше претило ему.

Сферические глаза Безымянного, отливавшие желтым и изумрудным цветом, внимательно вглядывались в земную жизнь. Его глаза видели «быстрее», чем глаза Лилит: то, что Лилит представлялось слитным лучом, для Безымянного было наполнено сложным миганием. Ему, чтоб увидеть свет непрерывным, нужна была частота вспышек в сто раз большая — словно в каждой единице времени для него было больше мгновений. Но он помнил, что на Зеленой Чаше пасовал перед водой, тогда как Элиль обладала «верхним» и «нижним» зрением: одно было приспособлено для воздушной сферы, другое — для водяной. Она видела отчетливо то, что казалось ему лишь смутной тенью.

И все-таки он не был лишен тщеславия: он, чужестранец на Земле, мог различать в сумерках тонкие оттенки цвета, тогда как Лилит будто слеpla: все сливалось перед ней в серую пелену. И лишь яркое солнце возвращало ей остроту зрения. Солнце, которое по утрам ослепляло его не только потоком тех лучей, которые видела Лилит, но и пронзительным светом ультрафиолета. Чужое солнце с чужими лучами!

Сколько он видел их в своих скитаньях! Стоило прикрыть глаза, как перед ним картины сменяли картины. На зубчатые скалы, не обточенные дождями или атмосферным потоком, опускались зелено-белые блики сгущенных газов; спираль галактики, видимая так близко, словно она-то и есть главное освещение планеты. А под нею — стеклянная пустыня с прозрачными шарами травяного цвета — кристаллический мир. И белое пламя звезды, веющей нестерпимым жаром вблизи, но далекой и не греющей здесь.

Или же темное солнце, окруженное малиновым ободом, отчего небо вокруг становилось багрово-фиолетовым, а над планетой — желтая прозрачная струя газа от взлетевшего светоплана; дикий, бесполезный мир!

К другим планетам светоплан опускался в защитном кольце токов. По кругу, как по поверхности невидимого

шара, над ними блуждали ветвистые молнии. Иногда они сливались в сплошные потоки, в целые реки разрядов, и эти смертоносные радуги, обманно голубые, манящие, лились и лились, неслышно вспыхивая и угасая за бронею корабля.

В гермошлемах тоже были заслонки; они входили в обязательный костюм космолетчика после нескольких случаев, когда при неосторожном повороте к светящемуся телу несколько лаолитян ослепло. Теперь, даже улетаая от голубого солнца, они с осторожностью наблюдали и его корону в сиреневых разводах и лучи, которые отражались, подобно водяной пыли, на призрачном хвосте светоплана, набиравшего скорость. В недрах же самой раскаленной сверкающей звезды, яично-желтой, плавали фиолетовые сгустки, мрачно освещенные с двух сторон. Пузыри газа лопались и подымались, — гигантские, как целые планеты! И невесомые на вид.

Когда огромный межгалактический корабль Лаолы-Лиал достиг цели назначения, углубляясь в Млечный Путь, счет спиралей галактики стал обозначением места: некоторые светопланы покидали его борт в плоскости пятой спирали, другие отрывались на вертикали третьей.

Группа Безымянного должна была обследовать пространство вокруг трех звезд. Солнце последняя из них; у двух первых планетных систем не оказалось.

Их светоплан покругил у Юпитера, не приземляясь: пояс радиации над ним был в сто триллионов раз больше, чем над Землей. Не привлекли их и глыбы кольца Сатурна — планеты зелено-желтой и серо-лиловой, ледяной, стремящейся по вытянутому эллипсу. Какое-то время они провели на равнинах Венеры, оплавленных вулканическим стеклом. Много раз наблюдали, как над Марсом пылали ложные солнца: его атмосфера, насыщенная ледяными кристалликами, странно, почти зловеще преломляла свет.

Во все расчеты лаолитяне вводили «коэффициент незнания» — скидка на те силы, которые еще не учтены. И таким «коэффициентом чуда» предстала однажды перед ними Земля, с ее бурной жизнью и густой атмосферой посреди пустынного космоса. Это был момент торжества!

Стремление достигать необычайно сильно в мозгоподобном. Упоение властью над зверем или машиной способно вознаградить за все опасности, за долгие труды. Минута свершения вмещает в себя столь многое, что само

понятие времени расширяется; наполнение становится равным протяженности.

Безымянного не переставала поражать цепкость земной жизни.

В далекие времена, когда солнцу было трудно пробиться сквозь душную атмосферу, сине-зеленые водоросли могли улавливать все видимые лучи спектра. Пещерный мох обладает способностью почти из полного мрака собирать рассеянные световые крохи и линзами клеток направлять луч на хлорофилловое зерно. Папоротники вообще живут в полутьме. Древнейшие же насекомые глубоко в почве сами себе создают влажную, насыщенную углекислотой атмосферу — никому из современных видов в ней уже не выжить.

Безымянному казалось, что жизнь никогда не была слепой. Конечно, зародившись на Земле, она искала пути ошупью: ведь ни деревьям, ни рыбам, ни людям не было еще аналогий!

Изучая окружающее, Безымянный предполагал, что вначале у земных существ был ограниченный ракурс обзора. Но некоторые попытались как бы «прорвать» пространство: дельфины ныряли вглубь и подымались на поверхность, обезьяны сновали по деревьям от корневища до крон — для них мир получил добавочное измерение. А затем живое существо попробовало «переместить» само пространство вокруг себя; не приблизиться к пище, а ее приблизить к себе. Сорвать плод и поднести ко рту.

Но чтоб совершить эту биологическую революцию, должен был появиться специальный орган.

Природа экспериментировала долго: вытягивала нос в хобот, создавала рукохвостых обезьян, пока не остановилась на передних конечностях...

Откуда же начался сам человек? Случилось ли это, когда он взял в руки камень и разбил им орех? Или позже — впервые нацарапав кривые черточки орнамента? Или еще много времени спустя, когда, подобно Лилит, смутно ощутил страх смерти, жалость к живому, извечную трагедию познания самого себя?

И был ли земной мозгоподобный венцом длительной эволюции? Или лишь счастливой мутацией древней обезьяны, которая однажды сразилась с горным львом и заняла его пещеру с повышенной радиацией — остатком бурных

первоначальных времен Земли? Под действием этой радиации и произошел случайный генетический скачок?

У Безымянного было слишком мало времени на исследование. Земле суждено было остаться для него книгой, которая досталась ненадолго. Она захватила его с самой первой страницы — он читал, читал, целые материи огня вставали перед ним... Но конца в этой книге для него не будет. Ему останутся воспоминания и домыслы: мысленно перелистывать страницы, гадая о непрочитанном. Откуда, из какой тьмы пришла ты, Лилит, на свою Землю?..

— Разве ты не видишь, не чувствуешь? — спросила однажды Лилит, с наслаждением втягивая ноздри воздуха.

— Я забыл, — виновато отозвался Безымянный. — Я так долго летал в космосе. А сейчас с тобой все вспоминаю снова.

Они стояли под темно-алыми ветвями дерева, источавшего бальзамический запах ранней осени. Он был терпок и выразителен, как прикосновение рук. Безымянный смотрел на Лилит задумчиво: для нее словно ото всего шли лучи, тогда как он видел свет, но не чувствовал радости. Дитя слишком взрослой планеты, он не ощущал трепета — перворайского, ребяческого, — который охватывал ее, землянку, при прикосновении ко всему существу. Он смотрел и лишь понимал, а она наслаждалась!

Лаолитянин вдыхал глубоко, забыв, что сам он не рожден для этой пахучей густой атмосферы. Если б не искусственные ухищрения, его легкие были бы сожжены уплотненным, жгучим, как огонь, кислородом. Он держал свои огромные глаза полуприкрытыми — света на Земле было слишком много! Даже лучи спектра, казалось, преломлялись здесь ярче и свежее.

А рядом стояла Лилит. Ее разделяли с ним целые тысячелетия, пропасть цивилизаций. Однако она ничего не знала об этом. Знал один он.

Она стояла босыми ногами на своей молодой планете, и глаза — серые, длинные — зорко оглядывали окрестности. Ее мир был прост. Вдали, над рыжими холмами, дымились синие облака.

— Ах ты, крылатое существо! — прошептал Безымянный.

Кажется, он забыл, что перед ним дикарка. Восхищенный, счастливый, он сладостно ощущал свое невольное умаление перед нею. Счастье ведь тоже драматично. Оно, как белый цвет, складывается из целого потока спорящих лучей спектра.

Не просто приходят двое друг к другу. Это почти такой же далекий и извилистый путь, как путь светил, летящих в пустоте.

Лаолитянин что-то сделал, Лилит не поняла. Он приблизил лицо. Это было ни с чем не сообразно: его губы прижались к ее губам! В какую-то долю секунды у нее мелькнула мысль, что он хочет укусить: зачем иначе наклонять рот, полный, правда, не зубов, — как она успела заметить, — но все-таки в твердых пластинах, способных зажать кожу?

Она готовилась отпрянуть и защищаться. Ее руки были сильнее, чем у него — это-то она знала! Если только он не пустит в ход какой-нибудь магической штучки, коварно утаенной до сих пор.

Но он вовсе не пытался причинить ей боль. Он оставался все в том же странном, неестественном положении недвижимым, и если б она не ощущала, как бурно бьется его сердце, она бы подумала, что он заснул.

Действительно, он был похож на сонного; глаза его не размыкались. Казалось, что и голова вот-вот свалится с плеч — Лилит придерживала ему затылок. Это было первое движение, которое она сделала. Неясный звук вырвался у Безымянного, словно он застонал, но тотчас откинул голову, и она увидела преображенное лицо. Все было необычно в этот момент; теплая волна прилила к ее сердцу.

— Ты не боишься меня? — прошептал он.

— Я никого не боюсь, — отозвалась Лилит, слегка задрожав.

Он сказал что-то на своем языке. Она не поняла. А на ее языке такого слова, должно быть, не существовало. Но он твердил его снова и снова, и вид у него был смиренный, как у человека, который не участвовал в общей охоте и вот теперь стоит у костра, тщетно ожидая, что ему бросят остаток.

В племени был суровый закон: кто не охотится, тот не получает доли. И все-таки однажды Лилит утаила кусок дымного мяса на кости для такого отверженного. Но его

взгляд, похожий на взгляд загнанного зверя, внезапно изменился: он выхватил кость из ее рук и, торжествуя, отбежал в сторону. На Лилит он больше не взглянул; благодарность была неведома людям Табунды.

Но у лаолитянина выражение лица оставалось добрым и доверчивым. Он продолжал смотреть на нее с ожиданием.

Как вдруг схватился рукой за грудь. Его лицо почернело, щеки сразу впали. Он странно дергался, задыхался — в то же время ладонью зажимая себе нос и рот, будто сам хотел помешать дыханию. На ее глазах он клонился набок, словно засыхающая от сильного жара трава. Это было похоже на порчу. Лилит ведь не могла знать, что просто кончилось действие фермента, благодаря которому лаолитяне безвредно дышали земной атмосферой, не надевая скафандра.

Грань живого и мертвого всегда чудовищна для человека! Сознание того, что двигающееся, теплое, подобное тебе самому, превращается на глазах в холодное и неподвижное, невыносимо на любых ступенях развития.

Лилит сначала испугалась, потом ее внезапно кольнула жалость. Коротко вскрикнув, она подняла Безымянного на руки. Огромные глаза закатывались, губы совсем обуглились. Она неслась прыжками, унося его на спине, как самка раненого детеныша.

Большое яйцо было недалеко. Лилит втолкнула Безымянного внутрь, вскарабкалась сама и захлопнула крышку.

Но яйцо оставалось неподвижным и не гудело изнутри, передавая дрожанье всему телу, как бывало каждый раз, когда она входила в него вслед за Безымянным. Однако крышка закрылась плотно и несколько раз повернулась сама. Тотчас зажегся свет — слабый, сероватый — и явно что-то начало происходить с воздухом: лаолитянин задышал ровней, чернота стала сползать с его кожи. Но глаза все еще были бессмысленно приоткрыты. А Лилит, напротив, ощутила в горле едкую сухость. Она дышала все чаще и чаще, будто выброшенная на песок рыба. Желтые и лиловые круги поплыли перед ее глазами.

Как всякий дикарь, она панически пугалась любого недомогания. «Если я сейчас уйду на ту сторону мира, — смутно подумалось ей, — некому будет спасти его».

И она напрягла не память — та была у нее великолепна: все, что она видела однажды, навсегда оставалось ее достоянием, — но волю. Волю — рычаг действия.

Лилит коснулась трепетной рукой пульта управления. Она, разумеется, не понимала, что именно делает, но в точности повторяла чужие движения во всей их последовательности, как они запечатлелись в ее мозгу.

Яйцо задрожало, дрожь передалась телу. Раздалось ровное гудение: они поднялись в воздух. Лилит вертела рукоять до тех пор, пока шаткая стрелка на белом диске не стала точно в то же положение, в каком была недавно, когда Безымянный вез ее ко «всей руке» (так она до сих пор называла про себя пятерых лаолитян).

Яйцо несло быстро, но Лилит уже царапала ногтями щеки; что-то давило ее изнутри — она корчилась от удушья. Серый свет, который разгорался в кабине все ярче, в ее глазах мерк.

Лишь воля и чудовищная животная память не дали ошибиться: она привела яйцо к светоплану!

Лаолитяне — их было двое в это время у корабля — увидели, как летательная капсула кувыркается, пьяно перекачиваясь на невидимых ухабах — и тотчас включили дистанционное управление. Подчинившись разумной воле, яйцо пошло ровно и благополучно приземлилось. Отвинтив крышку, лаолитяне вытащили обоих в беспамятстве. Лилит они оставили на траве, а Безымянного внесли со всей поспешностью в корабль: у него, действительно, оказалось острое отравление земным воздухом.

Если б Лилит замешкалась внести его в летательное яйцо с атмосферой их планеты, он был бы уже мертв.

У Лилит, наоборот, малоокислородный воздух кабины вызвал угар и удушье и — еще немного — тоже мог привести к гибели.

Впрочем, лаолитяне долго не знали, что произошло в действительности. Они думали, что яйцо вел сам Безымянный, и первое время посчитали его рассказ за бред. Как же он мог потерять сознание на земле, если аппарат поднялся и шел точно, не сбиваясь с курса?

Когда они захотели расспросить Лилит, ее уже не было; она отдышалась и ушла. С тяжелой головой, измученная нервным напряжением, с неясной горечью в сердце. Куда? Разве она знала — яйцо унесло ее в другую часть света.

— Вы бросили ее, беспомощную, на траве?! — воскликнул Безымянный, едва очнувшись.

Они смотрели на него не понимая.

— Твоя жизнь решалась минутами. Мы не могли отвлекаться.

Без сомнения, они были справедливыми существами. Даже самоотверженными, когда этого требовало дело, и уж, конечно, бесстрашными и верными до конца. Но совершенно лишенными сострадания. Безымянный ощутил какой-то холод в груди, попеременно обводя взглядом их ясные строгие лица.

Они отошли на цыпочках, стараясь не шуметь и переглядываясь. Он был еще так слаб! Оставалось непонятным: зачем ему понадобилось втиснуть в летательный аппарат эту туземку, как он долетел, находясь уже почти в шоковом состоянии, и почему отрицал, что сидел за пультом управления?

Солнце жгло слишком сильно, Лилит поднялась с травы. Вдали белела громада светоплана, нестерпимо сверкая в отвесных лучах. С другой стороны заманчиво зеленел лес.

Она брела по раскаленной полуденной саванне, и свинцовое солнце давило на темя. Тело покрывалось липким потом, а ноздри, казалось, не могли втянуть ни глотка воздуха. С огромным усилием работали опавшие мехи легких.

Странные животные — горбатые, с закрученными рогами или пятнистые с непомерно вытянутыми шеями и маленькой головой — стадами пробегали вдали, ища приюта в зарослях.

Лилит наткнулась на тропу звериного водопоя и, забыв осторожность, шла по ней, гонимая жаждой более свирепой, чем страх. Она почти не заметила, как вступила в глубокий зеленый сумрак леса, расцвеченный ярчайшими самородками цветов; с тоненьких кривых стволов золотым дождем спадали серьги бутонов, в теплых испарениях горели пунцовые чаши орхидей; словно растения, бабочки и птицы не признавали здесь иных цветов, кроме багряного, золотого и изумрудного.

Заводь реки образовала тростниковую лагуну, и приотмленная листва влажно струилась в отражении. Водяные

птицы, похожие на комки снега, ярко-белого под солнцем, неподвижно вглядывались в дно: мелкие рыбешки, мальки, водяная живность бесстрашно сновали между их коралловыми ногами. Серая цапля с пушистыми опущенными крыльями хоронилась в ягодном кусте; ягоды рдели, цапля пресыщенно трогала их клювом. Иногда нелюбопытно переводила круглый глаз на отражение, где тоже в блеске солнца струился куст, осыпанный ягодами.

Лилит припала к воде и пила, пила бесконечно, как пьют истомленные животные, не чувствуя вкуса, только насыщая влагой спекшиеся губы, гортань и пищевод. Не имея сил оторваться, она входила в воду все глубже, пока истрепанная травяная юбка не вздулась парусом и, оторвавшись, не закачалась, тихо увлекаемая течением.

Внезапно словно что-то ударило Лилит в мокрый затылок: таинственная сила человеческого взгляда заставила ее обернуться. Она еще чувствовала этот невидимый взгляд на себе, он был ощутим, будто она держала что-то в ладонях — и тотчас вопль ужаса вырвался из ее груди!

В десяти шагах — подошедший только что, либо не замеченный ею раньше — к воде жадно припал черный пятнистый зверь. Тело его изгибалось, кошачья голова, фыркающая, повернулась — и, одновременно с криком Лилит, зверь вскочил на ноги. Они оказались у него длинными, прямыми, сильными, как пружины. Он уже готов был метнуться в прыжке. Но другое тело, подобное черной молнии, вырвалось из зарослей, раздался свист, похожий на свист летящего дротика — и зверь исчез за зеленой стеной!

Все произошло быстрее, чем падающий камень ударяется о землю. В мелкой воде по-прежнему сновали красно-головые рыбы, а ленивые серые цапли едва шевелили клювами.

Ошеломленная Лилит оглядывалась в растерянности: этот лес не был похож на все то, что она знала до сих пор! Разве не видела она только что перед собой стройного зверя, покрытого густым мехом, черные пятна сливались на его спине в прерывистые полосы? Разве не стоял в десяти шагах от нее чернокожий человек, держа в руках согнутую, стянутую тетивой ветку — оружие, незнакомое Табунде? У него было широкое лицо с крупными скулами, с круглым подбородком и выпяченной нижней губой.

На широченной груди лежал узкий камень в форме полумесяца с одним сглаженным рогом. Выпуклые надбровья придавали лицу в одинаковой мере выражение суровости и великодушья.

Все это было таинственно, необычайно, — ни от зверя, ни от человека не осталось ни малейшего следа!

Подгоняемая спасительным инстинктом, Лилит бросилась искать выход из этого замкнутого зеленого рая — или ада! — обратно на равнину, под сень редких деревьев, в травы, поющие на ветру, как натянутые воловььи жилы...

Ей заступали дорогу жилистые щупальца лиан, гигантские папоротники с восковыми жесткими листьями, грибы, мхи, орхидеи, деревья — ни одного клочка земли, не стянутого безнадежно запутавшейся алчной зеленой сетью!

Иногда она припадала ухом к земле и слышала дальний гул, подобный землетрясению — шли слоны, и надо было сворачивать в сторону, чтоб серые гиганты не раздавили ее. Но слух ловил и секущий звук копыт стада буйволов; саванна была где-то поблизости.

Много раз Лилит останавливалась в изнеможении. Человеку совсем не надо постоянно козырять храбростью. Пока все идет заведенным порядком, он может жить вполсилы. Но вот врывается то, чего никогда не было прежде, и необходимо обладать отважным сердцем, чтоб не потеряться и победить.

Когда Лилит выбралась из зарослей, свет, воздух, земля — все было желтоватым. Солнце, еще не зашедшее окончательно, скрылось за край одинокого дерева, распространяя вокруг его плоских слоистых ветвей венец светящейся пыли. Облака медленно шли к горизонту, вбирая этот цвет, и сами начинали дрожать, накаляясь. Сизые волокна, прошитые нестерпимым блеском, заслоняли светило — тогда земля становилась еще желтее, — но постепенно остывали, пока на западе не встала дозором плотная вечерняя туча с неровно обрезанной кромкой, сверкнувшей в последний раз подобно лезвию.

Стада травоядных спешили избрать безопасный ночлег; их тени мелькали между кустарниками, цокот копыт несся отовсюду, как стрекотанье кузнечиков. Саванна затихала, готовясь ко сну и обороне.

Лилит тоже взобралась на дерево и, замерев, сидела между его ветвями. Тихо, насколько могла, только билось

ее сердце. Ведь в лесу движение выдает! А вокруг уже пробуждалась ночная жизнь! Фыркание, мяукание, рев, поступь вкрадчивых лап грозно обступали со всех сторон.

Внезапно тьму саванны прорезал узкий голубой луч. Как гигантское щупальце, он бродил по травам и деревьям — и звери в ужасе разбежались от него.

Затем откуда-то с небес раздался громоподобный звук, в котором почти невозможно было узнать голос Безымянного.

— Лилит! Где ты? Я ищу тебя. Иди на свет, Лилит!

Голос кружил над саванной, подобно птице, потерявшей птенца, то приближаясь, то удаляясь, и вместе с ним метался, разрывая тьму, сверкающий голубой луч.

Но Лилит сидела не шевелясь и зажмурившись; как и звери, она боялась ночного освещения.

Безымянный нашел ее на рассвете. Стоя под деревом, совсем нагая, она, как замороженная, смотрела на тыкву, полную воды, и связку плодов в мягкой кожуре.

— Лилит! Наконец-то! — радостно закричал Безымянный, протягивая руки.

Она обернулась, но тотчас взгляд ее возвратился к таинственно появившейся снеди.

Он видел, что от напряжения губы ее приоткрыты, а брови сошлись вместе, как два ручья, текущих извилистыми струями. Она словно вслушивалась во что-то издалика.

— Что с тобой? — тревожно спросил Безымянный.

Она улыбнулась рассеянно и нетерпеливо. Ей так же было невозможно говорить сейчас, как не смог бы этого лес, который, однако, никогда не остается в покое, потому что ветер то и дело перебирает его зеленые пряди, а пролетающие облака веют над ним влагой и холодом.

Лилит молчала, как молчит трава, хотя и трава поднимается в такт дыханию земли, растет, шевелится, распускает и сворачивает венчики. И уж совсем немой, расплывчатой, утекающей между пальцев может показаться вода. А между тем, где возникает самое бурное волнение? Вот то-то и оно: человеческое сердце — маленький сколок стихии.

Ничего не поняв, Безымянный нетерпеливо взял Лилит за руку и повел ее к светоплану. Она не сопротивлялась, только все взглядывала через плечо на одинокое дерево с серым прямым стволом. От первых лучей кора его казалась

розовой. Солнце поднялось над саванной, все живые существа были счастливы! Лилит улыбалась затаенно.

Цвета и звуки! Целый мир, который Лилит, оказывается, видела, не видя, и слышала, не вслушиваясь. Ее волновали до сих пор только запахи — пряные, резкие. Но что она знала о цвете? О голубом, не исчезающем в тумане? О фиолетовом, который так быстро усыпил ее в ту единственную ночь, которую она провела на борту светоплана, после того, как Безымянный разыскал ее в лесу? О палевом, мягко окрасившем домашние одежды лаолитян? Об угнетающе сером — цвете сумерек, часе лесных убийств из-за угла?

В звуках Лилит обыкновенно замечала лишь их вибрацию, повышение и понижение тона, нарастание механической силы удара. Смысла она не доискивалась, если это не был, конечно, прямой сигнал.

И так она стояла теперь, замерев, сраженная неизвестным звучанием, окаменевшая, с расширенными зрачками и сжавшимися внутренностями. Тяжесть, которая навалилась на ее грудь, имела двойную природу: она угнетала и в то же время растворяла жилы; невидимая кровь утекала из Лилит, подобно легкому струистому облаку, которое она, оказывается, носила в себе, не подозревая.

Музыка брызгала птичьим хором, заливалась свистулькой, напрягала мускулы борца, гремела и хохотала барабанами. Мощь и изящество мелодии сменяли друг друга.

Земля становилась все невещественнее под ногами Лилит, боль восторга заполняла ее телесную оболочку, краска отливала от щек и губ, и, наконец, легонько вздохнув, она мягко свалилась на траву.

Мелодия прозвучала еще несколько тактов, и Безымянный резко выключил катушку стереофона. Первый урок музыки был окончен.

...В то раннее утро, когда он привел ее к светоплану, Лилит довольно быстро освоила застёжки и рукава. Через минуту она появилась в серебристом комбинезоне космолетчика с высоким красным воротом, красными обшлагами и карманами — и не стало никакой дикарки! Стоял худощавый мальчик; его серый удлиненный глаз косился умно и смущенно.

Безымянный про себя посетовал, что не задумался раньше над тем, как облагораживает одежда движения и весь облик мозгоподобного. На глазах недоверчивых лаолитян произошло чудо: они невольно почувствовали равенство между собой и Лилит.

Спутники Безымянного, несмотря на то, что осуществляли великую цель, оставались прежними: они мыслили масштабами Лаолы-Лиал. Лишь в Безымянном стала прорастать жажда вселенской солидарности. Теперь он часто думал, как поэт: это казалось странным, архаичным в век начинающейся внеречевой связи на Лаоле-Лиал. И все-таки, именно образность мышления привела его на порог понимания новых норм жизни. Как, впрочем, и всегда искусство кладет начало познанию, служит науке первоотолчком.

С Лилит в нем воскрес инстинкт речи; захотелось излиться в облегчающем потоке слов. (Тщетно ждала этого некогда многотерпеливая Элиль...)

— Бедные пустые клеточки! — говорил Безымянный, чуть касаясь рукой лба Лилит. — Слушай и ничему не удивляйся. Я знаю, что все это войдет в твое сознание, как сквозь сон. Но пусть даже останется сном — лишь бы как-то осталось!

Молчание размышлений, молчание полета... ты не поймешь этого, Лилит. Ты просто не знаешь, как устроена вселенная, как устроен мозг. Ведь ты убеждена, что рука движется сама по себе...

Есть старинное представление, что мысль — быстрее всего. Итак мысль, — излучение ментального поля, — движется в пространстве, с какой-то своей собственной скоростью? А если, притом, она не подвержена гравитации? Если она и есть первый вестник из мира сверхгалактических скоростей! Если б тебе открылась хоть на миг эта бездна возможностей! Передвижение тел в пространстве становится почти не нужным, архаичным. Путешествует одна мысль! Она — глаза и уши разума, вместилище всех переживаний. Она подает знак, завязывает контакты и обменивается информацией. Мысль будут улавливать телескопы, как сейчас они улавливают свет. Усиленную миллионкратно, мы пошлем ее, как позывной, ко всем галактикам. А может быть, то, что сейчас кажется мне таким фантастическим, давно стало явью — или еще более: всегда было нормой по ту сторону

вселенной, в таинственном мире антиматерии? Вдруг люди антимиров никогда и не знали иных способов общения? Лилит, Лилит, я ведь только обыкновенный мозгоподобный из старой галактики фиолетовой зоны, но иногда я чувствую, что воистину моя мысль бессмертна и всемогуща!..

Он схватил ее за руку. Его изумрудные глаза широко открылись в волнении — и тотчас сомкнулись вновь: свет, как бич, ударил по зрачкам. Зажмурившись, он уловил, как по коже Лилит пробежала дрожь; безотчетное движение мускулов первобытного существа, испуганного чужим прикосновением! Но она не вырвала руку, она поборола в себе древний инстинкт обособленности, и когда он приоткрыл глаза, то встретил ее волоокий тяжелый взгляд, который мучительно пытался преодолеть тысячелетия...

И внезапно мысль — странная, смутная — прошла как бы не в сознании, а по самому сердцу Безымянного, мысль, пронзающая жалостью и добротой: не должно ли, наконец, закончиться его путешествие по Времени? Долг перед Лаолой-Лиал не отступит ли теперь перед его долгом дикой юной Земле? И что прибавит Лаоле-Лиал он, один из миллиардов винтиков ее великолепно налаженной машины? Свою почти незаметную каплю информации? Ах, ее так легко заменить. Разве он сможет силой одного своего слова убедить бесстрастных, всезнающих лаолитян в том, что их идеальная цивилизация — горбата? Это сделает позже сама жизнь. Великое столкновение культур и понятий во вселенной. Он все равно не доживет до этого времени. Его срок отмерен, и на Земле он сгорит еще быстрее. Но все-таки он успеет сделать что-то для землян. Растолкует простейшие принципы механики, подчинит им огонь, смастерит, в конце концов, хотя бы повозку на двух колесах! Что бы он ни сделал — его жизнь не пропадет зря, как не пропала жизнь тех скалолазов на Зеленой Чаше: их дочерью была Элиль. А его детищем станет Лилит.

Только сейчас он понял, что любит ее беспредельно, всей извечной жаждой души отдать себя.

— Но какая ответственность! За каждый поступок, даже за каждую мысль я буду отвечать перед вашим будущим, — прошептал Безымянный, тоскливо глядя на рыжие холмы, облизанные зеленью трав, краски которых

он видел несколько иначе, чем Лилит. — Постоянно чувствовать на себе цепь времен, связь со многими жизнями. Отныне ничто не умрет во мне; нить протянется вперед — но куда?!

— А я не хочу! — сказала вдруг Лилит.

Иногда он забывал, что она яростно и жадно внимает его размышлениям вслух, и что-то пробивается в ее темное сознание.

— Хочу быть свободной, — повторила Лилит. — Идти, куда мне захочется и не думать ни о чем. Не хочу бояться жить, как боишься ты из-за какой-то цепи! Я буду стоять посреди леса и кричать всем зверям: скальте, скальте свои красные пасти! Все равно я сильнее и хитрее вас. Я поднимусь на гору и стану выше всех деревьев!

— Зачем, Лилит? — спросил Безымянный растерянно. В размеренное течение его размышлений ее дикарский крик вторгся, как остро отбитый клинок. — Зачем? — повторил он.

— Потому, что я так хочу, — упрямо повторила она, раскинув руки.

Он взглянул искоса и странно: по скольким вселенным прошел он уже, а срок его ученичества все не кончается! Мысль... она посеяна в пространствах, как звездная пыль. Она всеобща. Когда ее не сможет довести до конца один, она неизбежно рождается в мозгу другого. Наверное, она и есть отпечаток Свободы? След ее босых ног по песку?..

Солнце стояло уже низко, и западный край океана холодно кипел. К востоку простиралась черно-синяя равнина с белыми гребнями, похожими на береговые дюны. Безостановочно и грозно шумели валы. Свинцовый окаем отделял воду от дымчатого неба.

Резкие тени собирались в углублениях от следов ног: тяжелых, почти квадратных — лаолитян и узких, стремительных — Лилит. Ее ступни оставляли на гладком песке узорчатый отпечаток трав, из которых она плела теперь свои сандалии.

Но шаги ее все замедлялись по мере того, как она приближалась к воде, а знакомая саванна оставалась за спиной. Море страшило ее. Оно имело свой голос, и его дыхание было настолько могучим, что заглушало все остальные запахи. Лилит двигалась с открытым ртом; она

захлебывалась соленым ветром, он ужасал и опьянял ее одновременно. Внезапно одна из проворных волн с шипением достигла ее ног. Их обожгло свежестью. Лилит отпрянула.

Но уже через секунду она била по воде ладонями, перебирала пену, как пряди волос, и смеялась, оборотив к лаолиятам узкое лицо с серыми глазами, которые стали теперь синими.

Безымянному пришлось окликнуть ее, потому что она входила все глубже и пена покрывала ее плечи.

Зависть и печаль стеснили его сердце: ведь они, пришельцы, не могли войти обнаженными в воды Земли; они были обречены жить в темнице своих одежд, снабженных гравитационной прокладкой, утепляющих или охлаждающих по мере перепадов земной температуры. Он пытался воскресить в памяти живой ветер Лаолы-Лиал, но кожа отказывалась воспринять воспоминание, оно оставалось умозрительным.

Минута вечности — вот что такое была вся жизнь Безымянного и его путь от Лаолы-Лиал!

Он сидел в долгом молчании. На песке еще оставался след босой ступни Лилит.

«Но если та часть вселенной, которую мы знаем,— подумал он,— лишь звездная вселенная, то какое место уготовано в ней человеку? Зачем на далеких и разобщенных островках вспыхивает редкая искра живого? Что несет она в мир? Материя расточительна; чтоб создать малое, тратится колоссальная энергия. Как бы ни были многочисленны звезды и как ни кажется ошеломляюще огромной их масса,— они истекают потоками фотонов! Во вселенной идет вечное перемещение звездного вещества. Уплотняясь, звезды продолжают излучать волны разных диапазонов: словно светило все еще не может сбросить своих одежд... Не порождено ли мышление инстинктом самосохранения? Что, если материя защищает себя мыслью? А мозгоподобные — лишь форма борьбы организованной материи с энтропией? Безусловно, разум все более и более будет совершенствоваться. Невозможно прекратить рассеивание звездного вещества? Бесплезную утечку тепловой энергии во вселенной? Пока невозможно! Но мы найдем пути и к этому. Нужна лишь вторая вселенная — вселенная людей и созданных ими машин. Войско, защищающее звезды; поистине, небесное воинство!..»

— Назад! — внезапно закричал Безымянный.

Голова Лилит скрылась под водой. Бугор белой пены вырос на месте ее сияющих глаз и черных волос, раскиданных током воды, как щупальца медузы.

Привлеченные криком лаолитяне лишь на миг равнодушно глянули на волнующийся океан со смелой купальщицей. Если б Безымянный захотел, он также мог бы включиться в их безмолвный, но оживленный обмен мнениями по поводу примесей в белом песке дюн и концентрации солей.

Лаолитяне спешили: срок их пребывания на Земле был отмерен. Точнейшие квантовые часы указывали Точку возврата, и стрелка неумолимо двигалась к этой точке. В недрах Млечного Пути, в системе двойной звезды, входящей в скопление ядра галактики, их ожидал гигантский межгалактический корабль, на котором тысячелетие назад они покинули Лаолу-Лиал. Все маневровые светопланы, третью сотню лет блуждающие по планетным системам, должны теперь вернуться со своей информацией. Она будет закодирована и послана в фиолетовую зону тем сверхскоростным способом «прокола пространства», который доставит ее на Лаолу-Лиал прежде, чем корабль ляжет на обратный курс.

Что найдут и узнают они, снова собравшись все вместе? Кого не досчитаются?..

Безымянный беспомощно стоял у самой воды; Лилит уносило все дальше. За ревом океанских волн она не слышала зова. Смерть — бессмысленная, нелепая — нависла над нею; и все могущество Лаолы-Лиал оказывалось бессильным!

И вдруг — так же, как Лилит в джунглях — он увидел метнувшееся с высоты дюны черное тело. Был ли это человек? Пропорции его членов поражали стройностью, как у летящей птицы. На мгновение он ушел целиком в белый бурун прибоя и вынырнул на следующей волне, уже далеко впереди. Море летело за ним, как сумасшедшее; вся гладь была покрыта блистающими, движущимися солнечными огнями.

Безымянный смутно, — будто сквозь синий кристал, — видел, как два тела, подобно двум рыбам, скользили, парили в толще воды, взлетали над нею, снова окунались в солнце и в соль, исчезали. Это длилось бесконечно долго. Тысячу раз они погибали на его глазах и воскре-

сали опять. Пока прибор не швырнул обоих на берег и не умчался обратно, оставив после себя на мокром песке шипящую бешеную пену...

Мужчина очнулся на секунду раньше, чем Лилит. Он приподнялся на коленях и заглянул ей в лицо. Он обхватил ее крепко обеими руками. В тот же миг веки ее дрогнули: она узнала его.

...Когда лицо прижато к другому, четыре глаза сходятся в один, и глубоко, черно глядит это таинственное око с алмазной искрой белка...

Безымянный растирал похолодевшие руки Лилит; что-то горячо, по-лаолитянски, твердил ее спасителю. Оба, наконец, взглянули на него. Безымянный включил автоматический переводчик: человек ответил. Голос громко и вольно лился из его широкой груди.

Короткие курчавые волосы лежали чуть повыше поперечной складки лба; складки умной и неожиданной на ясном молодом челе. Он нагнулся, чтоб поднять с песка рубаху из тонкой шкуры — почти щеголеватую, так она была мягка и прекрасно выделана, — и у горлового отверстия стянул шнуром из сухожилий.

— Что он сказал? — жадно спросила Лилит.

— Его зовут Смарагд. Он из этой страны. Он спрашивает, не с Луны ли ты пришла?

— Пусть мечты его сбудутся, а желания осуществятся, — поспешно проговорила Лилит, прижимая руки к груди. — Нет, не с Луны.

Резкий звук сигнала разнесся над дюнами: лаолитяне кончили работу и возвращались к летательным капсулам. Смарагд тревожно вскинул голову, ища в небе поющую стрелу. Но Лилит даже не обернулась.

— Я — Лилит, дочь Табунды. Скажи ему.

— Мы должны уходить, Лилит, — проговорил Безымянный, потянув ее за рукав. — Вспомни, твоя родина далеко.

Звук сигнала требовательно повторился, и тонкая шея Лилит, не стянутая амулетами, поникла. Ее ноздри вздрагивали от плача. Последний раз обернувшись, она посмотрела печальными глазами, словно из глубокого ущелья, на человека под косым лучом солнца.

Смарагд продолжал неподвижно стоять на дюнах.

— Возвращайся! — раздался голос ей вслед уже издалека.

...Да! Безымянный перестал ощущать себя атомом Лаолы-Лиал: он обрел собственное бытие, в нем одном помещалась целая вселенная. Куда же он ее денет?

Решение остаться на Земле требовало мужества, он это понимал и не прочь был позаимствовать некоторую его долю у землян.

Хотя существует разное понимание мужества. Для Одама и Смарагда оно имело совершенно реальные очертания: быть мужественным — значит действовать вопреки чувству страха!

Для Безымянного дело уже не решалось так просто — одним ударом кулака. Он знал относительность видимых поступков: можно и не шевелясь двигаться вперед с головокружительной быстротой. Одаму всякая двойственность недоступна: для него бег — это бег! Когда отдыхают мускулы, может заснуть и ум; таков естественный порядок вещей, как смена дня и ночи.

Но Лилит?.. Безымянному страстно хотелось, перескочив тысячелетия, выбить ее мышление с привычной орбиты, как выбивается электрон пучком света! Он смотрел на дикую, загадочную, пленительную для него жизнь ее духа с досадой и нежностью. Иногда он готов был посмеяться над своим упорством: он был уже далеко не молод! Пора бы ему, как мудрому жилистому дереву, живущему в мире молчания, преподавать уроки терпеливого равнодушия. Но в деревянном нутре рождаются звуки — гулкие, молодые, похожие на пробу сырого материала, — и он прислушивался сам к себе с удивлением. Теперь ему казалось, что каждый его предыдущий шаг по космосу был лишь сбиранием рассыпанных колец единой головоломки. В гармоническом мире Зеленой Чаши и среди крутящихся глыб пояса Сатурна — повсюду он сравнивал и изучал. Вектор мужества определен достаточно ясно: стремиться вперед без надежды на возврат! Кольца головоломки собраны, одно к одному. Понять смысл — это-то и потребовало мужества, удесятенного по сравнению с прежними усилиями и жертвами. Ибо долг его вырос неизмеримо по сравнению с узким, как ему теперь уже казалось, долгом лаолитян.

Накануне отлета он сообщил о своем решении. Они словно были уже подготовлены, потому что дружно запротестовали.

— Это невозможно! — ответили все четверо.

— Кто мне может запретить? Я — свободный лаолитянин.

— Да, — сказали они. — Но только на своей планете. Ты беспомощен вне ее. Фермент дыхания нестойк, мы можем оставить самый незначительный запас. Чтоб его пополнять, понадобится целая лаборатория с фотонной энергией. Ты — часть Лаолы-Лиал, и не можешь существовать без нее, как и все мы.

Безымянный упрямо молчал. Лаолитяне переглянулись.

— Подумай, сколько ты сможешь продержаться, когда мы улетим? Ты задохнешься, избыток кислорода сожжет тебя.

— Вероятно. Но я хоть что-то успею сделать для Земли!

— Темный мозг людей маловосприимчив. Все пройдет впустую, разве ты не видишь этого? А Лилит? Она будет только еще несчастнее, потеряв тебя таким страшным образом, зная, что это из-за нее.

— Она может не догадаться.

— Она уже знает. Мы сказали ей.

Безымянный вскинул голову, глаза его блеснули гневом. Он хотел резко ответить, что никто не смеет стеснять его свободу или делать за него выбор. Но только тяжело вздохнул. Прекрасное общество далекой планеты имело свои пути, может быть еще более непреодолимые, чем дикое племя Табунды: они держались не во вне, а внутри лаолитянина.

— Мы все принадлежим Великой задаче, — повторили космолетчики. — Кто может освободить нас от нее? Ты придумал себе сказку о равенстве галактиан, — терпеливо продолжали они, — и все это лишь потому, что хромосомный аппарат женщины с Зеленой Чаши случайно оказался совместим с нашими хромосомами. Рождение ребенка — шаткая основа для философии! Разум Лаолы-Лиал давно переступил порог произвольных выводов.

— Если мы так всеведущи, — пробормотал Безымянный, — зачем же во всех расчетах сохраняется «коэффициент незнания», скидка на те силы, которые еще не познаны?

— Чтоб уберечься от технических ошибок. Структуры в природе — это след былых передвижений. Чтоб господ-

ствовать, надо знать истоки. Наблюдение и есть тот процесс, посредством которого связаны пространство и время. Механизм вселенной сложен.

— А механизм души?! — вскричал Безымянный.

Они не отзывались. Безымянный почувствовал себя в пустоте.

— Форма интересна лишь как результат движения, — сказал один из лаолитян после продолжительного молчания.

— Круг ассоциаций у каждого наблюдателя может быть различен, — устало возразил Безымянный. Гнев его прошел, ему уже не надо было обуздывать себя, чтоб спорить с ними. — Все зависит от потенциала самого наблюдателя, от накопленной им информации. Разве вы не допускаете, что другие мозгоподобные из тех же фактов могли сделать выводы более глубокие, чем у нас?

— Мы не встретили таких мозгоподобных, — высокомерно отзывались лаолитяне. — Разумеется, и наши органы чувств ограничены, но это разумная, выборочная ограниченность. Оберегающий барьер от лавины звуков и цветов, которые иначе грозили бы затопить.

— Ну, хорошо, — прервал Безымянный, — подойдем к вопросу с другой стороны. Возьмите самое простое: время переваривания пищи. Кто, по-вашему, побеждает при равном интеллекте? Тот, чье время течет медленнее, или — быстрее? Вы чувствуете, как неправилен сам вопрос? Чем больше разница между цивилизациями, тем глубже должно быть их влияние друг на друга!

Но лаолитяне покачали головами.

— Откуда нам это знать? У нас есть Лаола-Лиал, к которой мы стремимся. Ради нее мы готовы жертвовать всем — но только ради нее! Наш выход в космос был вынужденным.

— Да нет же! — почти закричал Безымянный. — Живая мыслящая природа обязана покорять инертную и неживую! Это ее единственное назначение. Глобальное понятие родины неизбежно перейдет в галактическое. Диффузия цивилизаций должна развиваться в пределах всей разумной жизни. Я глубоко убежден, что принципы морали едины во вселенной, и не может быть речи о вражде или подчиненности друг другу. Весь вопрос: какое место займем мы? Ведь пускаясь в путь по космосу, мы думали лишь об одном: что можем взять для себя?

Но проблема в ином — что может отдать мыслящий мир Лаолы-Лиал другим? Редкая населенность галактик постепенно укрепила в нас идею своей исключительности, своего мнимого главенства. Равнодушие к иным проявлениям жизни стало врожденным. Мы давно уже не любознательны, не любопытны, а лишь напыщенны. И никто не замечает этого! Я боюсь додумать до конца, но наша прекрасная цивилизация замкнулась сама в себе, может быть, грозя выродиться во что-то чудовищное! Подчинение пользе и нормам понемногу вытеснило отвагу и риск. Не этим ли начался сам собою тот путь к закату, которого мы так испугались? Нет, если Лаола-Лиал хочет жить, она должна научиться мыслить иначе. И не мое случайное прозрение, а сам путь по космосу заставит ее это сделать.

— Это уж пусть решает Лаола-Лиал, — нетерпеливо ответили ему космолетчики. — Наш светоплан ждут на орбитальном космодроме. И пока наша главная задача, стартовав с Земли, пройти силовые кольца, чтобы благополучно погасить разность скоростей во время сцепления. Мы улетаем через три дня.

— Я уйду, Лилит, — сказал Безымянный. — Я никогда не увижу больше тебя, а ты не увидишь меня. Уже тысячелетие, как покинули мы свою землю и еще тысячелетие будем к ней возвращаться. Лаола-Лиал встретит тех, кто уцелел, стойким дисциплинированным народом. Все одинаково здоровы, сильны, умны, красивы... Нет, ты не поймешь ничего, бедная моя Лилит, счастливая тем, что перед человечеством миллион лет поисков. И если б ты знала, как я люблю тебя и твою Землю! — Он произнес слово «люблю» не на языке Табунды, где оно имело смысл односторонний и примитивный, и даже не на своем собственном, как говорила некогда вечно улыбающаяся Лихэ, а на языке Элиль, где слово это было глубоким, емким, обладало внутренним свечением. — Да, я тебя люблю, — повторил он просто и свободно, как выдыхают воздух. — И бесконечно благодарен; ты помогла мне узнать, что мое сердце не омертвело. А это открытие не меньшее, чем новая звезда. Может быть, я сумею еще что-нибудь сделать на своем веку? Ведь перестать действовать — это и значит умереть.

— Как — никогда не увижу? — Лилит широко открыла глаза. — Разве я не уйду вместе с тобой?

Безымянный покачал головой.

— Вспомни, ты задыхалась в летательном яйце. А у нас воздух только такой.

— Значит, я останусь одна? Никогда больше мы не спустимся возле Большой воды? Ты не покажешь мне равнины Белого снега? Не станешь рассказывать о небе? Ваш светоплан поднимется вверх, и ты будешь уходить все дальше? Навсегда?

— Да. Мы будем лететь по черному пространству, ни долго, ни коротко, а на самом деле бесконечно! И, может быть, у меня пройдет всего два-три дежурства, а ты, Лилит, уже умрешь. Мне даже не о ком будет мечтать. Задолго до того, как мы достигнем нашей планеты, на Земле пройдут бесчисленные поколения. А мы будем все жить и жить, все лететь и лететь...

Лицо Лилит сморщилось и задрожало. Она с воплем упала на землю; волосы рассыпались по траве, словно дерево разом уронило все листья.

Безымянный грустно смотрел на нее. Как громко горюет юность! Беды кажутся ей непереносимыми. Но только зрелый человек познает настоящее отчаяние. Не смягченное слезами, оно давит, как могильная плита. Будущее без надежд...

— Нет, — воскликнула вдруг Лилит, решительно вскидывая голову и утирая глаза. — Я не останусь тут! Если не хочешь взять меня с собой, то отвези в страну Смарагда, на край того зеленого леса, где ты нашел меня утром, когда у подножья дерева стояла тыква с водой. Я хочу снова видеть пятнистых зверей. Смарагд научит меня пускать летящий дротик из согнутой ветки. Я больше не испугаюсь соленого моря! И сумею жить под солнцем, которое расплавляет внутренности.

— Хорошо, — согласился Безымянный ласково. — Будет так, как ты хочешь. Поди, попрощайся с Одамом.

Лилит отвернула лицо.

— Я не ночую больше в пещере, — прошептала она. — Одам сам зажигает свой костер.

Безымянный почувствовал досаду и смущение. Слишком занятый собственными размышлениями все это время, он, оказывается, пропустил многое в жизни Лилит. Он знал, как Одам был потрясен их приходом.

Не боявшийся самого сильного зверя, Одам отступил перед неведомым: пытался умиловить, даже приносить жертвы. Лаолитяне так и не могли ничего поделать с ним. На их глазах рождались суеверия, почти религия, а они были бессильны!

Постепенно Одам перенес часть своего боязливого недоумения и на Лилит. Она стала казаться ему страшной. Он больше не прикасался к ней.

— Ладно,— сказал коротко Безымянный, окидывая прощальным взглядом холмы, далекую гору, желтеющие деревья: стоял месяц сбора желудей.— Пойдем, я хочу еще кое-что показать тебе перед отлетом. У нас мало времени.

И весь этот день он объяснял ей технику рычага, мастерил простейшие орудия. Вместо упертой в грудь деревяшки, по которой крестообразно водили палкой, добывая огонь, Безымянный сконструировал снаряд с высверленной лункой. Немного наморщив лоб, он обломал ветку и, согнув ее, связал собственным синтетическим шнуром. Обернув палку тетивой и укрепив вертикально, он дал ей вращательное движение — все это уже не представляло труда. Еще раньше он показывал Лилит, как можно к плоту нарастить борта и киль — прообраз лодки получал добавочную устойчивость на воде.

...А потом плавно поднявшийся светоплан сделал прощальный круг над Землей. Ненадолго он остановился лишь над африканской саванной там, где она выходит побережьем к океану.

Как серебряный паучок на нейлоновой нитке, Лилит бесстрашно спустилась с высоты и в последний раз приветственно подняла руку — жест, перенятый у лаолитян. Тотчас рядом с нею, словно из-под земли, вырос Смарагд — гибкое мускулистое существо, продолжавшее мерить мужество удачным прыжком.

Они пересекли освещенную солнцем поляну.

Безымянный вздохнул, хотя почувствовал и облегчение. Серо-серебряный комбинезон Лилит исчез среди стволов.

Глаза лаолитянина стянулись пленкой.

А затем Безымянный следил уже, как на экране появляется туманный абрис налитой чаши, и в ней — блестящая сердцевидная капля, похожая на кошачий глаз в темноте. Но исполинская рука дежурного космолетчика

прошла по экрану. Когда он прояснился, капля исчезла, затерявшись среди множества других.

Корабль лаолитян взмыл в привычные пределы искривленного пространства. Лилит и Смарагд остались на плоской земле. Целые тысячелетия планета в представлении людей будет именно такой: плоской, неподвижной, недышащей.

Но одна из человечества уже видела вокруг земного шара голубую оболочку атмосферы. В своем лоне она несла неистребимое зерно исканий. Праматерь будущего! Дети ее детей захотят раздвинуть границы мира. И мы лучше всех знаем, удалось ли им это.

ОДАМ САПИЕНС

...И начал, как дитя,
Ощупывать и взвешивать природу.

Максимилиан Волошин

Племя Табунды долго жило в изобильных предгорьях, пока однажды ночью на северо-востоке не загремел гром. Раскаты его становились все слышнее, и в той же стороне горизонт окрасился бледным заревом. Тысячи птиц сорвались в темноте со своих гнездовий и с клекотом заматались над землей. Ветер, который сначала лишь мягко прошелся по травам, загудел, принося запах гари.

Племя снялось со стоянки и бросилось под защиту деревьев. Степной пожар достигал опушки. Целую неделю небо, затянутое пеленой, едва пропускало лучи диковинного коричневого цвета. Смерчи гнали пламя, и в пыльном полусвете, как при затмении солнца, издалека доносился треск. Песок летел вместе с дымом и горячей травой. Ветер был так силен, что трава сгорала в воздухе, не успевая поджечь влажные кроны; лишь на стволах остались отметины, кора обуглилась, словно обожженная кожа.

Люди Табунды пять дней убегали от огня, но он все-таки с ревом настиг их и, опалив волосы и одежду, умчался

далее, оставив от недавно цветущей долины странную, причудливо усыпанную золой местность.

Женщины бродили по теплomu пеплу, подбирая испекшихся ящериц, мышей и птиц. Дети лакомились поджаренными кореньями. Но мужчины оставались мрачны.

Богатые места охоты исчезли. Нужно было искать другое пристанище.

Вскоре сокрушительные потоки ливня хлынули на неостывшую землю. Целые пласты сползали с гор; ручьи текли с глиной и камнями.

Племя стало карабкаться в горы, чтоб спастись от наводнения. Задыхающиеся, испуганные, они, наконец, достигли массива из магматических пород, плохо поддающихся разрушению. Понемногу горизонт начал проясняться, солнце потеряло страшный коричневый оттенок. Призмы полевого шпата переливались спокойными синими искрами. На отшлифованной поверхности каменных плит вспыхивали иногда зерна алого граната. Но все это не привлекало людей; они были голодны, измученные дети болели. На границе песчаного грунта и льда росли лишь пятнистые мхи, складываясь в разноцветные узоры.

Племя стало спускаться вниз, пересекая горные ущелья, где всегда бушевал ветер. Путь пролег невдалеке от Солевого озера. И здесь девушка Гева, не прошедшая еще обряда взрослости, наткнулась на следы Одама...

Она промолчала о своем открытии; ведь никто больше не вспоминал о пропавших. Все думали, что Одам давно ушел вместе с Лилит на ту сторону мира. Но для подростка Гевы он оставался живым. Ее мысли постоянно возвращались к его образу; она не видела равных среди юношей племени!

У Гевы были круглые щеки, напоенные солнцем; казалось даже, что от них исходил такой же сладкий медвяный запах, как от спелой кожуры плода. Она мало выделялась среди девушек племени: была простодушной и себе на уме. Не настолько простодушной, чтоб выкладывать мысли каждому, и достаточно хитрой, чтоб скрывать то, что ей хотелось.

Никто не заметил в ней перемены, а между тем день за днем она все дальше отходила от племени, терялась за камнями, высматривая только ей одной видимые приметы. Каждая сломанная ветка, примятая трава, потерянный наконечник дротика,— все говорило о направлении, где

следовало искать Одама. Гева возвращалась к месту привала, пряча сбитые в кровь ноги. Однажды она не вернулась вовсе. Ее поискали поблизости, но утром надо было двигаться дальше.

Так, отстав от племени, Гева с горной поляны, поросшей высокой редкой травой, попала на дно ущелья, в лес серо-коричневый, устланный прелыми листьями, где от недостатка света тесно стоящие стволы были покрыты болезненными наростами и бледной сыпью.

Нижние отмершие ветви, лишенные одеяния, черно простирались над ее головой, как руки скелетов, а кроны, уходя высоко вверх, закрывали узкий просвет неба. В этом лесу было сыро и холодно, и только невидимые птицы высоко вверху звенели голосами надежды.

Круглое лицо Гевы с оленьими глазами, которые, казалось, лишь зеркально отражали окрестный мир, осунулось. Веселый рот упрямо сомкнулся. Она шла не останавливаясь, питалась сырыми корнями и личинками, которые находила, разгребая землю возле гнилых пней; они глухо жужжали, подобно сухому дождю.

Слыша издалека рев зверя, Гева суеверно трогала три волчьих клыка, нанизанных на бычью жилу. С раннего детства они висели на ее шее — крепкой и более короткой, чем у Лилит. Волосы, обрезанные челкой, не закрывали лба: испарина склеила их в колечки. Гева тяжело дышала, словно запыхавшись от долгого бега — и так однажды предстала перед удивленным Одамом.

— Я тебя вижу, — произнесла она обычное приветствие Табунды смело и вместе с тем скромно.

Короткая юбка из растительных волокон говорила о том, что она еще не вышла из подросткового возраста, хотя она и опустила завязку несколько ниже талии, чтоб казаться взрослей. Кожа нежно золотилась на ее обнаженном животе.

— Я — Гева, женщина твоего племени и принесла сучья для очага.

Так как он молчал, она продолжала.

— Племя ушло дальше. Я примяла траву и оставила клочок волос, все думают, что меня сожрала пантера. Я не спрашиваю, где Лилит, которую ты увел из племени. Мужчина поступает, как ему хочется. Я пришла, чтоб остаться с тобой, если ты разрешишь. Если же нет — пойду догонять людей Табунды. Лишь прошу тебя, дай мне не-

много мяса на дорогу и дротик, чтоб я могла обороняться от зверей.

Она умолкла и стояла, покорно опустив ресницы, словно для того, чтоб он мог рассмотреть ее без помех.

Понемногу он начал припоминать: она была первым ребенком в племени, которой родился с желтыми волосами. Все смотрели на это, как на диковинку. Теперь волосы ее стали длинными, она перевязывала их травяным шнурком. Они покрывали лопатки; плечи и грудь оставались обнаженными.

Гева выглядела более крепкой и рослой, чем Лилит, хотя была моложе ее. Крепки были руки, которые она смиренно опустила вдоль тела, и ноги, по щиколотку ушедшие в ромашку и дикий укроп; он пахнул после дождя так опьяняюще!

Полные губы Гевы чуть улыбались, а когда она подняла глаза, Одам увидел, что они не серые и удлинненные, как у Лилит, а круглые и голубые.

— Ты велишь мне уйти! — проговорила Гева жалобно.

— Можешь остаться, — Одам отвел взгляд в сторону. Что-то застряло в его горле. Только сейчас он понял окончательно: прошлое — прошло! Демоны, вложившие в Лилит другое, дерзкое сердце, больше никогда уже не вернут ее ему.

Но и он не будет одинок. Перед ним стояла коротконожка Гева, дочь родного племени, во всем послушная его законам.

И он коротко, как подобает мужчине, кивком приказал ей следовать за собой в пещеру.

Вначале, оставшись один, Одам почувствовал только облегчение. Ум его, взбудораженный многими непонятными явлениями, мог отдохнуть.

Исчезли лаолитяне; выветрился металлический запах, который они оставляли на вещах, прикасаясь к ним. Молодая трава скрыла вмятины от улетевших навсегда огромных серых яиц. Жизнь вернулась в прежнюю колею: день неизбежно сменялся тьмой ночи.

Одам строгал свои дротики и старательно наносил на них изломанные черточки — символы удачной охоты, хотя они и не были похожи на тех прекрасных могучих зверей с красными рогами, которые выходили из-под пальцев

Лилит. Одам жил в молчании; охотился, разжигал костры, рубил каменным топором деревья.

В поисках зверей он уходил все дальше и дальше. В этом нет ничего удивительного; если существовать одной охотой, участок должен быть огромным. Да к тому же Одама никто ведь не ждал в пещере, чтоб ему захотелось поскорее вернуться. И не возвращаться можно было сколько угодно...

Одно время он пристрастился к соку белены. Почему людей всегда привлекало опьянение? Им нужно было отвлечься, убежать от самих себя? Но чаще Одам сидел с удой, смотрел на воду и предавался мечтам. Они были направлены не в будущее, а в прошлое; ведь то, что позади человека или впереди него, одинаково принадлежит вечности. Река была неширока, и деревья отражались целиком — от берега до берега. При тишине в полдень на воде шла своя жизнь; расходились круги от дафний, водомерки обегали вверенные им угодья. Там, где стоял берестяной поплавок, выглянуло солнце, серебряное от туч. Круг на воде засверкал, залучился, а поплавок исчез — не то от света, не то рыба потянула. Очнувшись, Одам дернул удилище. Его звал издали поющий голос Гевы, которому не свойственны были чистые четкие звучания утраченного голоса Лилит.

Приход Гевы мало что изменил в жизни Одама. Конечно, он не мог не видеть, что она домовита, упорна, любяща. Теперь утром возле очага всегда лежали сухие сучья клена и орешника: они горят ровно, без искр, а вечером рой мошкары Гева отгоняла дымными корнями сосны. Она ловко орудовала крепкими зубами — добавочным инструментом в ремесленном наборе — расщепляла кости, перекусывала прутья. Звезды не пугали и не притягивали ее, как Лилит; когда на небосклоне появлялось знакомое созвездие, она знала, что время идти на поиски муравьиных личинок.

Гева оказалась усердной женой. Но то, что в Лилит было красотой и прямодушием, в ней становилось лукавством и прельщением. Одам это видел. Как много он видел теперь!

Вокруг Гевы кипел сам воздух; она двигалась проворно и принимала решения скоропалительно. С самого начала она почуяла присутствие враждебной тени и вступила с нею в борьбу.

Ей казалось, что Лилит бродит вокруг; она ведь не понимала, что можно просто уйти. Несмотря на то, что ей иногда приходилось вместе с племенем преодолевать большие пространства, она не замечала этих пространств. Вместе с нею катился ее мирок, заключенный в кожуру, как семечко растения. Если Лилит жива, она должна хотеть вернуться на единственную обитаемую землю! Вот и приходилось подстерегать ее появление днем и ночью. Ловить моменты, когда она вторгалась с ветром или присаживалась у костра подсушить волосы.

Гева безошибочно угадывала даже мимолетное присутствие соперницы по пустому взгляду Одама, по его внезапно вялым движениям. А ведь женщина не должна лишать мужчину силы; она должна наделять его ею! Конечно, если это настоящая женщина.

Гева рассматривала подолгу деревянную утварь: грубые плошки и подносы, берестяные кузова и чашечки для питья. Они были разукрашены резьбой. Бледные цвета глины вперемешку с ярким соком ягод, следы острых «рисующих камней» на любом куске дерева или камня, который мог как-то пригодиться в хозяйстве,— целая грудa сокровищ, беспечно брошенных на чужие руки!

Гева боролась с желанием покидать их в огонь. Но ей не изменяла природная пронизательность: вещь, как и человек, живет гораздо дольше в памяти. Она вписывалась взглядом насторожившейся рыси в эти узоры, в краски — и понемногу ненависть обострила ее зрачки, и трепет соперничества передался пальцам.

Однажды Одам застал Геву за растиранием цветных глин с жиром. Это удивило его. Чудом Лилит, оказывается, владела другая женщина?

Он недоверчиво присел рядом. Гева, не поднимая синих ресниц, наносила узоры на жбан. Она продвинулась в своем тайном ученичестве, потому что уже не повторяла рисунков. Собственные узоры возникали под ее пальцами. Они были проще и словно плотнее прилипали к жбану.

О силе искусства нельзя судить по тем жалким остаткам, которые с торжеством извлекают из праха тысячелетий археологи. Искусство всегда пробуждало способность увидеть в окружающем нечто такое, что наполняет сердце безотчетным ощущением блаженства. А современник Одама умел воспринимать произведение искусства

еще полнее — как бы всеми органами чувств! Кроме, конечно, вкуса — картину на стене пещеры совсем не обязательно было облизывать!

— Я знаю, какой сок надо выжать, чтоб получился такой цвет. — Одам коснулся одного из старых сосудов.

— Ты мне покажешь, — отозвалась Гева, не прерывая работы. — Но посмотри: разве этот цвет не красивее? — и свежая карминная черта возникла на каменной палитре.

— Красивее, — сознался Одам, одним этим словом вознаграждая ее за все.

И вдруг Гева бессознательным движением, сосредоточенно и легко, провела мизинцем над верхней губой, очерчивая ее. Это был жест Лилит, одной Лилит! Словно обворовали мертвую!

Но Одам ошибся; Гева просто смахнула капельку пота.

Потеряв интерес к живописи, он поднялся на ослабевших ногах, и Гева вновь ощутила присутствие тени...

Так шло длинное время, которого не умели считать.

Однажды за кустами мелькнуло что-то черно-синее, как жаркая сажа. Одам сильно вздрогнул. На мгновение ему показалось, что это волосы Лилит. Он даже не подумал, как же ему теперь быть, если у него уже Гева и дети, а Лилит вернулась? Сердце его по-молодому вздрогнуло; небо и земля обрели прежние краски; все изменилось вдруг — и это только оттого, что пахло дуновением юности и любви. Даже такой короткой и скудной, какой была она у Одама!

Он стоял не шевелясь, будто все еще ожидая. Но сбоку вынырнула желтоволосая Гева. Она подозрительно обжегла взглядом недвижные кусты.

— Что ты увидел там? — пронзительно закричала она.

— Мне показалось... черные волосы, — словно просыпаясь, пробормотал Одам. И тотчас спохватился, что этого не следовало говорить.

Лицо Гевы плаксиво исказилось, лишь глаза сухо блестели. Она кинулась к кустам и ударила в остервенении по самой их гуще. В просвете торопливо мелькнуло округлое тело прирученного ею павлина. Темным звездным небом раскинулся хвост. Царственная птица удидала во все лопатки.

Гева стояла подбоченившись и зло хохотала вслед. Нет здесь Лилит! И нет ее проклятых волос, которые колдовством опутывают чужих мужчин, а потом мерещатся им всю жизнь. Нет и не будет!

Одам, сгорбившись, уходил прочь. Гева не окликала его. Теперь, когда она осталась одна, возбуждение покинуло ее. Она почувствовала себя несчастной и словно выпотрошенной. Значит, до сих пор приходится опасаться возвращения этой неродихи?!

Ей стало горько. Но она сжала губы — и пошла заниматься своим делом: готовить пищу и нянчить детей. О чем может думать жена охотника Табунды? Ее удел — терпение.

А Одам углубился в пронизанный солнцем редкий лесок, который вырос на месте прежнего пепелища. Чистые сухие травы лежали под ногами, и стройные тени стволов пересекали их. Одам переступал через призрачный частокол с таким усилием, словно карабкался в гору, хотя местность была ровной.

Странное состояние овладело им. Будто он забыл все годы, прожитые с Гевой, забыл и самое Геву, находящуюся от него на расстоянии всего двухсот шагов, но зато ярко и отчетливо помнил Лилит. Особенно то, как он завоевал ее, отбил у всего племени, а затем они ушли, обуянные молодым бесстрашьем, и жили вдвоем в каменистых предгорьях, в пещере, которую он давно уже покинул. Они были, как первые люди на земле. Некому было наставлять их. Сейчас Одаму казалось, что он был так же смел и решителен, как и Лилит; даже поднимался вместе с нею в серых больших яйцах лаолитян — и в глазах его не было страха.

Да! Тогда он дышал полной грудью, и время шло быстро. А сейчас он осужден жить не живя и не умирая умирать...

Но понемногу печаль о Лилит принимала форму не острой тоски, когда он не знал, куда себя деть и к чему приспособить, чтобы отвлечься, а наоборот, стала родом внутреннего тепла. Одам вступил в тот возраст, когда самое жгучее чувство перестает быть самодовлеющим. Для него наступила пора созидания. Жажда работы поглощала все! Он сделался ровнее и добрее к Геве. Далекий блуждающий огонек уже не палил, а озарял изнутри, постепенно проясняя разум. Он тоже хотел знать! И не только знать, но и воплощать.

Сосредоточенно, задумчиво целыми часами он вертел в руках кусок дерева или камня, вспоминая, что говорила ему Лилит о снарядах лаолитян, а его подрастающие мальчишки сидели на корточках вокруг, ловя каждое движение круглыми глазами Гевы. Четверо из них были темноволосы.

Седеющий Одам выглядел светлее своего старшего сына: у того волосы были блестящи и черны, как антрацит! На солнце они искрились, подобно снеговой вершине; есть такой накал света, когда противоположности как бы сливаются.

В этом юноше было что-то от молодого настороженного пса; ноздри его искали потерянный след. Глаза, серые и глубоко запавшие, как у совенка, зорко смотрели вперед. Пройдет совсем немного времени, и в них отразится преобразившийся мир. Один раз они блеснули слезами восторга: отец рассказывал о небесных летающих яйцах.

— Посреди,— говорил Одам,— находился тяжелый ящик, и он-то был источником силы. От этого ящика сила шла в два больших подвижных ствола на противоположных концах. Они имели два ряда отверстий, направленных сверху вниз. Сила ударялась о землю, и яйцо двигалось от этих толчков.

Сыновья слушали раскрыв рты, в любую минуту готовые сорваться с места на поиски тайн. Удивление никогда не покинет мир! Как бы ни оберегалась Гева, детей у нее уведет Лилит. И так будет всегда. Малодушные вернутся под материнское крыло с полдороги; к оглядкам, к оговорам... Но уже дети их детей вырвутся из кокона.

Одам забирался со всей оравой на целый день подальше от дома, и там — на мелкой ли реке, где они спускали на воду выдолбленную лодку, прибывая борта деревянными гвоздями (утлое начало кораблестроения!), или высоко в горах, где бездонное небо веяло синими искрами, а в изломах гор сияла тень — он всем находил дело для рук. Теперь он уже никогда не чувствовал одиночества: рядом с ним была его работа.

Настал день, когда Одам с Гевой и подросшими сыновьями вернулись в племя; им было чему научить Табунду. Единственное, что он донес от Лилит, были узоры голубых глин на его праще, хотя их делала уже Гева. Стиснув зубы, она скоблила, скребла желтую кость или белый

камень — и ее умение переняли многие. Не все ли равно, кто был первым? Об этом помнил только старый Одам. По вечерам он пристрастился смотреть на звезды. В тишине следил, как они всходили и двигались по небосклону. А задремывая, слышал свой собственный далекий голос из тех времен, когда цветы цветут ярче, а вода плещется звонче: «Почему ты стоишь так тихо, о Лилит?» — «Я хочу понять голос ночи». — «Зачем тебе ночь? У нас есть очаг с теплыми углями, мы только что съели мясо и печеные плоды. Что ты видишь, Лилит?» — «Я вижу, как дышат клубы тумана, белые хвосты тянутся по траве. День устал, он ложится спать. Но что делается там, за туманом, когда наступает ночь? Я подойду и раздвину его руками...»



ПОСЛЕ ПЕРЕЗАПИСИ

ФАНТАСМАГОРИЯ

1.

В реальной действительности встречаются события почти фантастические. Серьезный исследователь не вправе отворачиваться от них.

*Камилла Ланье „Психология
обыденной жизни“*

Василий Иванович Чебукин лег спать в пре-скверном настроении, что случалось с ним не часто. И из-за пустяка, в сущности. По пути из ванной, всегда радовавшей его кафелем, прохладой и целесообразностью, перебежала ему дорогу кошка Маша, принадлежавшая Ольге, дочери от первого брака. Машка не была вполне черной кошкой — белые носочки на лапках, белое пятно на лбу, — но все же черный цвет в ней преобладал.

Чебукин остановился перед Ольгиной комнатой и громко сказал:

— Машка действует мне на нервы; если уж у тебя не хватает моральной решимости расстаться со столь прелестным существом, могла бы не выпускать ее в немногие часы, когда я отдыхаю.

Ольга не ответила, но он отчетливо слышал, что она стоит за дверью и тяжело, обиженно дышит.

Старшую дочь Чебукин не любил, отчасти из-за того, что развод с ее матерью был обусловлен некоторыми чрезвычайными обстоятельствами. Без чрезвычайных обстоятельств не обойдешься, но здоровее избегать всего, что напоминает о них.

Чебукин потоптался на месте — «Суеверие, но есть и тяжелее грехи...» Он попытался успокоить себя:

«Что, собственно, может стрястись? Люстра на голову свалится? Нереально, да и сплю я не под люстрой».

Все же в спальню он не пошел, а заглянул в столовую, где Колька, сопя и насвистывая, возился, как всегда, с удочками. «Оболтус,— подумал Чебукин.— В двадцать семь ни профессии, ни идей. Современный папуас со знанием иностранных языков. Я в его годы...» Мысль складывалась скучно, он отбросил ее и устало сел в глубокое кресло.

— Мерихлюндия, предок? — спросил Колька, не лишенный проникательности дикаря.— Пожертвуй наследнику полторы косых в новом летосчислении на спиннинг, вакхические игры и ремонт машины. Доброе дело рассеет тоску.

Чебукин отрицательно покачал головой.

— Опять Машка? — с той же проникательностью поинтересовался Колька.— Напрасно ты недооцениваешь добрые и, подчеркиваю, бесплатные услуги мадемуазель Мари. Нелюбезный твоему сердцу мой друг и мыслитель Анджей Люсьен Сыроваров учит, что черные кошки в наш тревожный век единственно надежный компас. Подобно capitoлийским гусям, они, предвещая опасность, дают время подготовиться. Пожарной машине предопределено провидением с воем sireны оборвать нить твоей жизни. Но чу! — черная кошка перебежала дорогу, и ты спокойно возвращаешься к теплу парового отопления. Ты торопишься на сатурналии, где волей судеб коварная соблазнительница разобьет хрупкий и уже надтреснутый сосуд семейного счастья, но чу! — вестница беды перебежала дорогу и т. д. Будь другом, предок, выдели полторы косых!

Чебукин снова отрицательно покачал головой и с кривой усмешкой возразил:

— В квартиры пожарники не въезжают.

— Какая убогость фантазии, майн либер фатер,— воскликнул Колька с некоторой злобой в голосе.— С доисторических времен, когда терпение и труд создали нетленность мужского мышления, и до нашей эпохи, когда губная помада и перманент обеспечили нетленность женской красоты, не было доктора наук со столь нищей фантазией. Квартира?! Разве стены — защита от лучей, судьбы, психических полей, потусторонних влияний, угрызений совести?..

— Конкретнее! — перебил Чебукин. — Что все-таки может со мной приключиться?..

— Конкретнее? Изволь... — Колька задумался: ему хотелось нанести удар ниже пояса. — Конкретность — моя сильная сторона... Ну что ж, изволь, «ты этого хотел», как говорили римляне. Сегодня четырнадцатое? Железное течение реки времен вслед неумолимо примчит пятнадцатое. И в девять часов постучится судьба в лице Вениамина Анатольевича Маниловского. Судь-ба!

Колька собрал снасти и удалился.

Чебукин тоже пошел спать. Он лежал под пуховым одеялом, плотно зажмурив веки, а в голове, не давая уснуть, вертелось странное и горькое слово «судьба»...

Светскость, светскость, и еще раз светскость — не устану повторять я вам.

Дю Шантале, маркиз и присяжный поверенный

Амфоры с медом всегда приносили он афинянам сладколюбивым...

Пока не случилось однажды...

Фрагмент надписи на статуе бегущего юноши. II век до нашей эры

2.

Вениамин Анатольевич был в известной мере терапевтом, хотя и не любил тяжелых недугов, в известной мере хирургом, хотя и боялся крови, был фтизиатором, невропатологом, но «что знал он тверже всех наук» — это забытое искусство деликатного обращения или, как говорили некогда, «политеса». Он чувствовал, когда и кому из пациентов можно разрешить умеренное потребление сосудорасширяющих напитков и когда и кому рекомендовать воздержанность. Знал, кому пригодится врачебная рекомендация переменить обстановку и провести отпуск вдали от семьи, а кому, напротив, надлежит рекомендовать форсированное пользование семейным теплом. На кого умиляюще действует детальный разбор действительных, предполагаемых и возможных недугов, и кто даже от одного упоминания слова «болезнь» теряет спокойствие, необходимое для успешного

развития наук. В преобладающем большинстве его пациенты были ученые: теоретики права, эстетики и педагогики.

Знал он также, к кому из пациентов надлежит применить *особое, самое тонкое и деликатное обращение*, и с кого за глаза хватит обращения *просто деликатного*. Василий Иванович не был академиком, труды его выпускались не в дерматиновых или коленкорových, а за тонкостью — в обычных бумажных обложках, и все же, по сотням признаков, Вениамин Анатольевич без колебаний относил Чебукина к первой категории пациентов.

Он нажимал дверной звонок Чебукина ровно в девять, но улыбающееся заботливое выражение придавал своему приятному лицу еще минут за десять, как только выходил из машины у чебукинского подъезда: улыбке, для полной естественности, надо обжиться.

В квартире Чебукина Вениамин Анатольевич также распределял сияние не уравнилельно, как солнце, а осмысленно и рационально. Кошку Машку, если она попадалась, он отбрасывал носком и громко, чтобы Чебукин слышал, замечал: «Тьфу, какое мерзкое существо!» Ольге небрежно кивал, Кольку и Колькины удочки опасно обходил и, только пожимая руку «самому», доводил улыбку до фортиссимо.

Перед осмотром Вениамин Анатольевич и Василий Иванович обычно минут двадцать говорили, но отнюдь не о болезнях, а об охоте, рыбной ловле, политических новостях, вероятности жизни на Марсе, и только обнаружив единство взглядов на эти разнообразные явления, приступали к главному.

Маниловский прикладывал ухо — стетоскопом он не пользовался — к теплой пухлой груди Чебукина, потом к такой же теплой пухлой спине и, выпрямившись, с открытой широкой улыбкой встречал взгляд пациента.

— Легкие? — спрашивал Чебукин.

— Кузнечные мехи! — отвечал врач.

— Сердце?

— Паровой молот!

И на этот раз все шло, как всегда, а беседа об охоте и вероятности жизни на Марсе прошла так дружелюбно, что Чебукин начал забывать о вчерашнем предзнаменовании, когда ухо врача оторвалось от его груди и Ве-

ниамин Анатольевич, на этот раз не улыбаясь и глядя поверх головы пациента, проговорил:

— Пора на перезапись, батенька!..

— Неужели так серьезно? — спросил Чебукин, чувствуя, что у него пересохли губы и заныло сердце.

— Ну, ну... ничего особо тревожного, так сказать, — промямлил Маниловский, по-прежнему глядя поверх Чебукина. — Но багаж, накопленный вами, представляет столь значительную ценность... Так что уж... Словом, пора на перезапись.

Мычание коровы однотонно и однообразно, как плоские крыши стандартных домов, но какие бури страстей и тайны скрываются порой под однотипными плоскими крышами.

Р. С. Булл „Зоопсихология“

Задача азбучно элементарна: переписать то, что в течение жизни закодировано клетками мозга, и перенести все это мыслеснимателем из извилин коры на перфорационные ленты.

5.

*Г. С. Люстиков, кандидат
физико-математических наук
„Основы перезаписи“*

Еще недавно физико-математическую и биологическую подготовку массового читателя можно было не принимать в расчет. С тех пор все изменилось. Слово «ученый» из синонима понятий «гений», «талант» превратилось в определение распространенной профессии; кроме праздничного, оно приобрело и будничные смысл. Среди читающей публики есть люди, «свои» в высоких областях тензорного анализа или физики элементарных частиц, есть специалисты, для которых перезапись мыслей — отрасль прикладная — кажется до скучности простым делом, и другие, знающие о перезаписи лишь по заметкам в периодической печати.

Поэтому представляется необходимым хотя бы вкратце коснуться основ предмета и сообщить некоторые малоизвестные детали биографии создателя перезаписи Григория Соломоновича Люстикова.

Профессор Лобов при всяком удобном случае повторял Люстикову:

— Главная твоя беда, Григорий Соломонович, что ты вроде лесковского «Левши». Человек, который может сделать что-либо, стремится это сделать, как женщина стремится родить.

Люстиков и действительно мог многое. Отчасти это губило его, то и дело отвлекая от главного предмета. Подобно продавцу воздушных шаров из пьесы «Три толстяка», он мог бы сказать о себе:

— Я легкий, легкий... Держите меня, иначе меня унесет ветер.

Наука непоследовательна в отношении к людям, позволяющим себе подобные измены. Одних она жестоко наказывает, зато других щедро вознаграждает за дилетантство.

Профессору Лобову ценой тяжелых усилий удалось наконец засадить Люстикова за кандидатскую диссертацию, посвященную природе гамма-излучения. Защита прошла превосходно. Однако уже со следующего дня Люстиков стал вновь исчезать из лаборатории.

В кабинет Лобова он постучался только через четыре месяца. Лицо у него было виноватое, и в руках он держал некий предмет, завернутый в холстинку.

— Яйца, что ли, принес на продажу или огурцы, или другую продукцию собственного индивидуального огорода? — язвительно осведомился профессор.

Действительно, и холстинка и сама поза посетителя напоминали картины колхозного рынка.

Не отвечая, Люстиков поставил принесенный предмет на письменный стол. Это был микроскоп новой, совершенно оригинальной конструкции, где, разумеется, все — от стекол объектива до последнего винтика — было выточено и отшлифовано Люстиковым.

— Задумал мигрировать в биологию, — виновато сказал Люстиков, закрепляя под объективом предметное стеклышко с препаратом и пододвигая микроскоп к профессору. — Это в качестве приданого. Еще не все доведено, но разрешающая способность приличная.

Профессор рассеянно заглянул в тубус.

— Что там за темное пятнышко? — спросил он, думая о другом.

— Справа? — переспросил Люстиков. — Не обращайтесь внимания — случайное воздушное включение.

— Темное пятно... — задумчиво повторил профессор. — Не созетовал бы тебе бросать физику.

Профессор сжимал и разжимал кисть левой руки: гимнастика, предписанная врачами после недавнего инфаркта. Лицо у него было усталое, под глазами отеки.

— Не советую, — еще раз повторил профессор. — Пораскинь мозгами хотя бы ради меня. В гамма-излучении бездна интересного, а ты хочешь бросить его на полпути.

Аккуратно увязывая микроскоп в холстинку, Люстиков думал: «Профессор стар и мудр».

По дороге домой он зашел в биологический кабинет Педагогического института, чтобы подарить свой микроскоп и перечеркнуть возможность неразумного брака. Двери кабинета были распахнуты. Люстиков бродил из угла в угол, ожидая какого-либо официального лица. Рассеянно взяв с книжной полки том «Зоопсихологии» Булла, он наугад раскрыл учебник, скользнул взглядом по известной читателю фразе, начинающейся словами «мычание коровы однотонно и однообразно», и больше не отрывался от книги.

С Буллом в руках Люстиков вышел из пединститута. Только дома он сообразил, что совершил кражу, но не огорчился. Важно было не то, чем начинается новая глава жизни, а то, что новая эта глава все же начиналась.

4.

Плоскость фантастического подчиняется своей логике, а плоскость реального — своей. Действительно достойное изучения начинается там, где эти плоскости пересекаются.

*Проф. Гревс
„Этюды стереометрии“*

Идея Универсального мыслеснимателя возникла у Люстикова в ночь, последовавшую за похищением Булла. Интересно, что идея эта осталась неприкосновенной и в самых последних конструкциях АДП — аппаратов для перезаписи; менялись и совершенствовались только детали.

Той ночью, шатаясь со сна, Люстиков подошел к письменному столу и начертил привидившуюся схему.

Утром, критически оглядев свое творение, он сказал сам себе:

— Принципиально разрешимо, но громоздко, не проходит по габаритам: смешение электроники с каменным веком.

На преодоление «каменного века» ушло два года.

По замыслу, поплавок мыслеснимателя должен был скользить по черепной коробке объекта вдоль извилин мозга, следуя за миниатюрным локатором. Тем временем пучок электронных лучей — щуп, погружаясь в нервные клетки, должен был снять заключенную там информацию и передать ее на систему фиксирующих и преобразующих устройств. «Все усилия конструктора, — писал впоследствии Люстиков, — были направлены на достижение максимальных скоростей за счет уменьшения инерционности системы».

Расчеты показали, что частота погружения щупа должна быть не менее 100—150 килогерц. Многие детали аппарата были настолько миниатюрны, что вытачивать их приходилось под микроскопом особой алмазной фрезой.

Через восемнадцать месяцев после начала работы АДП-1, кажущийся сейчас столь громоздким и грубым, был вчерне готов.

И сразу начались разочарования.

К тому времени Люстиков располагал небольшой лабораторией в Ветеринарном институте. В подготовке опытов ему помогала лаборантка Ольга Чебукина, единственный человек, веривший в будущее перезаписи. Вместе со своей лаборанткой Люстиков начал подыскивать объект для контрольных экспериментов — в меру элементарный и достаточно интересный.

В аквариуме фирменного магазина «Рыба» стремительно плавали пятнистые щуки. Продавец то и дело погружал в аквариум сачок. Люстиков взволнованно наблюдал за происходящим. Уже оставалась только одна щука, предназначенная в порядке очереди полной старой женщине, когда Люстиков сдавленно прошептал:

— Она...

Оленька метнулась к старухе, сложила руки на груди и попросила:

— Пожалуйста!.. Ну, пожалуйста, уступите... мне... нам... Она нам страшно нужна.

— Странная молодежь! — сурово отчеканила старуха. Улыбнувшись неожиданной догадке, спросила: — Для свадьбы?! Да ты не красней, дело житейское...

Выбив чек, Лютиков остался сторожить щуку, которая металась по пустому аквариуму, а Оленька побежала через дорогу в хозяйственный магазин покупать ведро.

В лабораторию рыбу несли медленно и осторожно; чтобы не перевозбудить ее солнечным светом, Лютиков прикрыл ведро собственной шляпой.

Усыпив щуку электронаркозом, Лютиков закрепил ее в специальной ванночке. Когда он прилаживал мыслесниматель, руки нервно вздрагивали.

Оленька стояла наготове у приборной доски.

— Локатор! — шепотом скомандовал Лютиков.

— Есть, локатор! — почти беззвучно отозвалась Оленька.

На голове рыбы засветилась длинная, ветвящаяся, как жилки листа, линия: это локатор осветил извилину, по которой сейчас, как поезд по рельсам, заскользит мыслесниматель.

— Включаем мыслесниматель! Включаем трансформатор! — отрывисто командовал Лютиков.

— Есть... Есть... — отзывалась Оленька. Слышалось, как щелкают ключи и ручки управления.

Часть извилины, «отработанная» мыслеснимателем, гасла. Лютикову припомнилось: давно, в детстве еще, он стоял близ Батуми на краю виноградника, а мимо, вдоль шпалер плантации, двигались сборщицы. Там, где сборщица прошла, вот так же оставались «погасшие» голые кусты, а дальше шпалера горела на солнце янтарными плодами.

— Громкоговоритель! — скомандовал Лютиков.

Оленька включила рубильник. Замигала сигнальная лампочка. Несколько секунд слышались потрескивания и шорохи; на этом звуковом фоне до удивительности пронзительно зазвучало:

— Я хочу съесть карася... Я хочу съесть карася...

Лютиков и Оленька, взглянув друг на друга, улыбнулись.

— Историческая минута! — шепнула Оленька.

Лютиков смущенно пожал плечами. Впрочем, ему и самому казалось примечательным то, что впервые удалось

непосредственно трансформировать в слова мысль живого существа. «Если бы вдруг тут появился Булл», — подумал он умиленно.

Мыслесниматель скользил по извилинам. Из репродуктора доносилось одно и то же: «Я хочу съесть карася... я хочу съесть карася», порой фраза сливалась в одно слово:

— Яхочусьестькарася... Яхочусьестькарася...

Только теперь Люстиков воспринял смысл странного словосочетания и мог оценить угнетающее однообразие чужьей мысли.

— Яхочусьестькарася!.. Яхочусьестькарася, — настойчиво повторял громкоговоритель.

Улыбка сошла с лица Люстикова.

— Чем вы расстроены? — спросила Оленька, хотя и сама чувствовала непонятную печаль.

— Не знаю... Может быть, Булл ошибается? Я в том смысле, что под плоскими крышами всё так же плоско!

Оленька не сразу ответила. Хотелось успокоить Люстикова, но она не могла найти слов, чтобы они были правдивыми и утешительными. Наконец она с трудом выговорила:

— Но это же щука, Григорий Соломонович, дорогой! Щука, а не корова, и не человек...

Словно не слыша или не принимая ее утешений, Люстиков сказал:

— Если старина Булл неправ, вся работа бессмысленна.

Про себя он подумал: «Вероятно, у Гитлера фонограмма звучала бы схоже: «Я хочу убить...», «Я хочу сжечь...», «Я хочу убить...» И у всей лагерной фашистской сволочи тоже: «Я хочу жрать и хочу травить людей собаками...», «Жрать и травить людей...»

— Зачем делать слышимой спрятанную подлость, ее и так хватает! — словно советуясь с самим собой, проговорил Люстиков.

Оленька молчала.

— Я хочу съесть карася... Яхочусьестькарася...

Резким поворотом диска управления Люстиков повернул локатор. Щуп мыслеснимателя выскочил из извилины, как лемех из борозды.

— Я хочу съесть кара... — Репродуктор замолк на середине слова.

Извилина погасла, и поверхность щучьего мозга сделалась однообразно серой. Лютиков чувствовал, почти видел, как локатор ищет в этой тьме. Еще секунда, и темно-красным светом загорелась другая извилина.

— Включаем мыслесниматель,— скомандовал Лютиков и, помолчав, добавил: — Смотрите, какое красивое багровое свечение. Лешка Крушанин сосчитал, что более длинные волны соответствуют отдаленной по времени информации. Не очень-то я верю самодовольным теоретикам, но если Лешка прав, мы вступим в область щучьего детства и щучьих мечтаний.

Мыслесниматель вошел в извилину.

— Включаем... громкоговоритель,— не сразу, с внутренним колебанием, сказал Лютиков.

— Есть, включить громкоговоритель.

Раздались треск, шипенье, и, словно чем-то острым разрезая звуковой фон, послышался тонкий голос, почти писк:

— Я вырасту и съем карася... И съем карася... Исьем-карася... Исьемкарася.

Темп все убыстрялся. Громкоговоритель словно задышался. Короткая пауза, и еще громче зазвучало:

— Я вырос и съел карася... Исьелкарася... Исьелкара...

— «Мечтания»... «Золотая пора детства»... К черту! — проговорил Лютиков, рывком выключая АДП.

Неожиданно для самой себя Оленька осторожно погладила его. Лютиков обнял и поцеловал Оленьку.

— Ты меня любишь? — еле слышно спросила она.

— Да,— ответил он.

— Ты меня любишь? — спросил он.

— Да,— ответила она.

Минуту в лаборатории царил тишина.

— Неужели и у нас... так просто? — спросила она.

— Нет,— ответил он. У нас не просто.

Снова стало тихо.

— Знаешь,— сказал он,— в Институте физиологии был сотрудник, совсем ни черта не понимающий в учении Павлова. И он написал книгу «Евгений Онегин с точки зрения условных рефлексов». И там все очень...

— Не надо, Гришенька, милый,— попросила она.— Ты меня любишь?

— Да,— ответил он.— Ты меня любишь?

— Да,— ответила она.

Оленька плечом задела пусковую кнопку и нечаянно включила аппарат.

—...ся,— пронзительным рыбьим голосом закричал репродуктор, заканчивая прерванную фонограмму. — Я вырос и съел карася... Исъелкарася... Исъелкарася...

Оленька заплакала. Обнимая ее правой рукой, левой Лютиков снова поспешно выключил АДП.

Оленька продолжала плакать.

— Мы ее зажарим на спиртовке! — предложил Лютиков.

— Я не люблю жестокости...

— Тогда... Тогда мы отнесем ее в магазин.

— Ее купят и зажарят.

— Выпустим в реку?!

— Чтобы она сожрала всех карасей?

— Как же быть? — спросил он.

— Подожди...—Подумав, она тихо закончила: —Знаю... Идем!

Они вышли из лаборатории, миновали Пушкинскую площадь, магазин «Рыба», гостиницу «Националь». Электронаркоз еще действовал, и щука мирно спала в эмалированном ведре.

Горели три яруса огней: звезды, окна и фонари. На Кропоткинской площади прожектора освещали огромный бассейн. Поверхность воды сверкала, и представлялось, будто именно тут, среди шумного уличного движения, солнце отдыхает во внеурочные часы.

В гардеробе бассейна они взяли купальники и полотенца. Оленьке удалось заговорить дежурного, охраняющего вход, тем временем Лютиков проник внутрь бассейна.

Неожиданно щука очнулась и с такой яростью бросилась на эмалированные берега, что ведро едва не выскользнуло из рук.

— Злыдня! — пробормотал Лютиков, украдкой швыряя щуку в воду.

— ...Ты меня любишь? — спросил Лютиков, когда они снова очутились на Гоголевском бульваре.

— Да...— кивнула Оленька.— А что станется со щукой? Чем она будет питаться?

— Не знаю, — рассеянно ответил Лютиков. — Пусть жрет микробов!

— Вода хлорированная, Гришенька!..

— Тогда... Ну, раз ты так волнуешься... Мы ей будем приносить колбасы.

Оленька успокоилась. Дальше они шли молча, взявшись за руки и совсем не думая о щуке.

Б.

„Неужели все так просто?“ — вот мысль, которая в то время не давала покоя ни мне как научному руководителю темы, ни неизменному нашему сотруднику О. В. Чебукиной.

Г. С. Лютиков
„К истории вопроса“

Когда парадная дверь закрылась за Оленькой, Лютиков сел на ступеньки. Минут тридцать он думал только об Оленьке. Еще полчаса — об Оленьке и АДП; а затем АДП целиком овладело его воображением.

Он поднялся и быстро пошел, почти побежал. Сперва он не сознавал, куда так торопится, потом огляделся, узнал Староконюшенный переулок и обрадовался тому, что избрал единственно верное направление — квартиру Лешки Крушанина. «Великая вещь — инстинкт», — подумал он.

— Здравствуй, Ветеор! — сказал Лютиков, входя в маленькую Лешкину комнату; общепринятое между друзьями сокращение «Ветеор» означало — «великий теоретик».

— Здорово, ползучий эмпирик! — покровительственно отозвался Крушанин.

Он сидел за пустым письменным столом, обремененным только листом бумаги и, вертя в руке карандаш, пристально смотрел на стену, где, то и дело меняя направление, ползала муха.

— Наблюдаешь многообразие живой природы?! — сказал Лютиков.

— Ага,— не улыбаясь кивнул Крушанин.— Хорошо бы сосчитать...

— У меня задачка позабористее...— Лютиков сел рядом и описал то, что происходило во время опытов со щукой.— Неужели все так просто устроено? — закончил он.

Лицо Крушанина сохраняло выражение отстраненности, но рука его время от времени заносила на листок цифры и строки интегралов.

— Интересно сосчитать,— проронил Крушанин, когда Лютиков замолк.

— Считай, Ветеор...

Крушанин углубился в работу. Минут через двадцать он сказал:

— Твоя мыслеснимательная телега меряет только жалкие скаляры, ну, векторы, самое большее. Сложные психические процессы, выраженные в тензорах, не записываются... А к мухе ты напрасно так относишься. Тут проглядывает интереснейший вариант классической задачи «Прогулка пьяницы» в рамках закона случайных блужданий.

— Кто тебе дороже: друг или муха? — спросил Лютиков.

— Что еще?.. Кажется, ясно,— сказал Крушанин и перестал выводить формулы.

— Мне нужен не приговор, а направление поисков.

— Это уж не мое дело, это эмпирика,— усмехнулся Крушанин.— Впрочем, изволь: переделай свою телегу, поставь ее на рельсы, швырни в электронно-космический век.

— Не подойдет... На это ушло бы лет десять.

— Тогда... Не знаю... Тогда попробуй другой объект: с богатой разнонаправленной психической деятельностью и без одной резко доминирующей элементарной эмоции.

— Курицу-дилетанта, карся-полиглота или муху-эрудита? — насмешливо спросил Лютиков.

— Курица?.. Не думаю, лучше попробовать человека.

— А знаешь, это идея,— обрадованно сказал Люстиков и заторопился.

В ближайшем автомате Люстиков набрал Олин номер. Довольно долго никто не подходил, потом послышался сонный бас:

— Чебукин слушает!

— Можно Оленьку? Ольгу Васильевну,— поправился Люстиков.

— Кто говорит? — поинтересовался бас.

— Люстиков! Я научный руководитель Ольги Васильевны.

— Хм... В качестве отца разрешите выразить надежду, что вы научный руководитель моей дочери днем, а не ночью.

Короткий щелчок, и зазвучали гудки «занято».

Пошляк и гад, устало подумал Люстиков. Странно, у такой девушки этакий папаша.

Он является деятелем некоторых ответвлений наук, или деятелем искусств, или деятелем, посвятившим себя деятельности других деятелей, а точнее всего, просто деятелем в самом концентрированном значении слова, всеобщим деятелем, этой всеобщностью несколько напоминающим мировой эфир в представлении физиков недавнего прошлого.

«Материалы к биографии N»

6.

После работы Оленька зашла к брату, что случалось крайне редко.

Коля и Анджей Сыроваров, Колин однолётка, сидели у стола, заваленного крючками, лесками, грузилами, спиннинговыми катушками, блеснами, поплавками и вели специальный разговор.

— Стравил еще два метра,— оживленно рассказывал Коля.— Судачок килограммов на десять. Повел... Отпускаю еще... Отпустил до отказа. Легонько потянул.

Судачок выпрыгнул: честное рыбацкое, не рыба, а дельфин — килограммов двадцать. Тяну. Еще тяну. Подвожу сачок...

— И судак сорвался, — перебил Сыроваров. — Твои новеллы, мон шер Николя, страдают однообразием концовок.

— Коля, — сказала Ольга. — Мне необходимо с тобой посоветоваться.

Теперь Колька позволил себе заметить сестру.

— Со мной, с «пустоцветом», «рыбьей душой»? Не обманывают ли меня органы слуха, Анджей? Не шутят ли со мной злую шутку органы зрения?

— Перестань балаганить, — отрезала Ольга. — Мне... нам нужен человек... ну, словом, талантливый, разносторонний. Ты больше вращаешься... ну, словом, в разных кругах, и я подумала...

— Ты права, сестричка, — кивнул Колька. — Разносторонность — сильнейшая сторона моего интеллекта. По разносторонности меня можно приравнять к шару, у которого число граней бесконечно.

— Нет, нет, — испуганно сказала Ольга.

— Вы правы, — вмешался Сыроваров. — Но не нонсенс ли искать многогранность, когда перед глазами Анджей?!

— Нет, нет... — повторила Ольга. — Мне, нам... ну, словом, нужен человек проявившийся, известный...

— Подумаем... — сказал Колька.

— Поразмыслим, — подтвердил Сыроваров.

— Не подойдет ли Z? — после долгой паузы предложил Колька.

— Ни в коем случае! — Сыроваров отрицательно покачал головой. — Только N. Никто, кроме N.

— Ты прав, Анджей Люсьен, N или проблема вообще неразрешима.

— Кто он такой, этот N? — растерянно спросила Оленька, читавшая, кроме специальной литературы, одних классиков.

— Вы не знаете?! — всплеснул руками Сыроваров, подошел к полкам, вытащил толстый том «Материалы к биографии N», и громко, с выражением зачитал приведенные в эпиграфе заключительные слова «резюме».

«Всеобщность... мировой эфир... — про себя повторила Оленька. — Пожалуй, это именно то, что нужно Григорию Соломоновичу...»

Все в человеке меняется с годами. Подгузник, пройдя стадию коротких штанишек, трансформируется в узкие, облегающие джинсы, а затем в приличной ширины брюки спокойных тонов. Распашонка эволюционирует в пиджак, шапочка с помпоном — в шляпу. Щеки с годами несколько отвисают, глаза сужаются, затягиваются жирком, как постепенно затягивается льдом полынья, единый акварельно-розовый румянец подразделяется морщинами на несколько мелких, исполненных не акварелью, а маслом лиловатых тонов.

На N закон превращений оказал именно такое действие. Только улыбка, отштампованная некогда применительно к юношески округлым щекам, губам, сложенным сердечком, будто в ожидании поцелуя, и широко раскрытым глазам, светящимся неведением, — осталась прежней.

От времени она лишь несколько погнулась и переместилась вбок на слишком обширной для нее плоскости лица — скособочилась, если позволительно применить такое вульгарное, хотя и точное выражение.

Оленьку, направленную для переговоров, N встретил благосклонно.

— Во имя науки я готов на все, — проговорил он, выслушав сбивчивые объяснения. — Едем! Такси!

Однако Оленьке он почему-то не понравился.

— Может быть, выставим? — шепнула она в препараторской Григорию Соломоновичу. — Какой-то он...

— Человек как человек, — перебил Люстиков. — Поздно перерешать.

Им владело лихорадочное нетерпение.

— Как знаешь, — грустно сказала Оленька.

Специально для N из кабинета директора Ветеринарного института в лабораторию притащили глубокое черное кожаное кресло.

— Устраивайтесь поудобнее, — сказал Люстиков. — Для успеха эксперимента необходимо сбросить физическое и нервное напряжение.

N закрыл глаза.

Люстиков собирался подключить электронаркоз, но пациент уже спал.

— Удобный объект, — с сомнением в голосе проговорил Люстиков и, помолчав, как обычно, скомандовал: — Включаем мыслесниматель! Следи за приборами, Оленька! Опыт ответственный. Включаем трансформатор!

Щелк: локатор отыскал и осветил извилину. Но странное дело, она излучала не фиолетовое свечение, типичное для недавней информации, и не лучи, близкие к инфракрасным, характеризующие информацию эпохи детства и юности.

Извилина горела свинцово-сероватым с зеленым отливом светом, который точнее всего можно описать словом «неопределенный».

— Как ртутная лампа, — шепнула Оленька и зябко передернула плечами.

— Поищем другую извилину! — решил Люстиков, берясь за диск направлений.

Локатор, как купальщик из проруби, выскользнул из борозды извилины; поверхность коры больших полушарий погасла. Несколько секунд локатор скользил в зеленовато-серой мгле, обозначая свой путь еле заметными искровыми разрядами, потом осветил новую извилину.

Она загорелась тем же тусклым, неопределенным светом.

Локатор часто мерцал, словно мигал в растерянности.

— Снять торможение! — скомандовал Люстиков.

Локатор рванул с места, сразу взяв скорость курьерского поезда. Отработанная извилина гасла с быстротой молнии. Из репродуктора неслось невнятное бормотание; казалось, он захлебывается.

— Перегрев! Перегрев!.. — сдавленным голосом крикнула Оленька.

Запахло резиной. Люстиков выключил аппарат.

Стирая со лба пот, он сказал:

— Черт знает что... Непонятно... Никакого сопротивления. Как будто локатор нырял в пустоту. Абсолютная пустота!

Оленька раздвинула шторы и распахнула окно. Стало светло. Медленно рассеивался запах резины. Было тихо, только слышалось спокойное дыхание Н.

— Опять неудача, — печально сказала Оленька.

— На сей раз капитальная, — кивнул Люстиков.

— Тебе надо взять отпуск и уехать. Отдохнуть, подумать... — после долгой паузы сказала Оленька.

— С тобой?! — спросил Люстиков.

— Нет, Гришенька. Отец не пустит, да и отпуск мне не положен.

— Как же прошел эксперимент? — благодушно осведомился N, открывая глаза.

— Норма, — неопределенно ответил Лютиков и, помолчав, спросил:

— А что было с вами? Интересно, что чувствовали вы?

— Хм... — N пожевал губами. — Я испытывал чувство пустоты, легкости и скольжения.

8.

Извилина излучала свинцово-серый свет, который точнее всего можно описать словом „неопределенный“.

Г. С. Лютиков
„К истории вопроса“

Накануне отъезда Лютиков и Оля долго гуляли по городу. Им было невесело. Потом сидели над картой, уточняя маршрут. На прощанье поцеловались.

— Не забудешь? — спросила Оленька. — И... и надо тебе вернуться к гамма-лучам.

— Да... конечно, — ответил Лютиков. — Ты меня любишь?

Поздно вечером Лютиков пошел в лабораторию — «провести с АДП последнюю ночь». Из корпуса «физиологии животных» доносился сонный лай собак

Спать Лютиков устроился в том же директорском кресле; маленький и худой, он легко уместился в этом кожаном гиганте. Кресло, казалось, еще хранило тепло внушительных объемов N.

Во сне Лютикова мучили кошмары. Ему представлялось, что неопределенный свет извилин распространяется по земному шару, и в тусклом этом свете все становится неопределенным. Люди, слоны, дома, жирафы, кошки теряют привычную форму и превращаются в туманности.

Он проснулся с криком «Не надо!», оттого что привиделась Оленька — красивая, веселая, милая — и ползущая ей навстречу, готовая и ее превратить в туман *неопределенность*.

У него колотилось сердце, он был весь в холодном поту. Поднявшись, он прежде всего вытащил кресло на лестничную площадку, затолкал его в угол и сильно пнул ногой. Потом побежал к автомату позвонить Оле. «Подойдет папаша, дьявол с ним», — отчаянно подумал он.

Трубку взяла Оленька, и быстро, после второго гудка. — Тебе не спалось, милый? — тихо спросила она.

Он попытался рассказать свой сон:

— Представь себе мир, залитый серым туманом, и все тает, стушевывается...

— Не надо, — ласково перебила она. — Важно совсем другое...

Ночью в лаборатории, вопреки всякой логике, Люстиков подумал: «Не захватить ли с собой АДП? Мало ли какой материал подвернется в дороге... Установка портативная, уместится в багажнике».

Всю ночь он провозился, прилаживая установку на подвесных резиновых амортизаторах.

Выехал на рассвете. Проезжая мимо Оленькиного дома, длинно просигналил.

Медленно светало. Ленинградское шоссе было еще почти пусто.

9.

За добро все же следует платить добром, даже если это сопряжено с определенными неудобствами

*Питер Крукс, старый рак
из озера Якобсъяре близ
Отеля (Эстония)*

Люстиков ехал мимо лесов, озер, ландышевых и земляничных полян, но душевное его состояние было таково, что он не замечал красоты окружающего. Только в попутном почтовом отделении, пытаясь на заляпанной чернилами конторке сочинить открытку

Оленьке, он задумался над тем, куда направляется, зачем это путешествие?

«Бегу от АДП к гамма-лучам, а АДП следует за мной даже и физически — в багажнике».

В Эстонии, за Отепя, Люстиков увидел справа от дороги, на берегу озера костер. Огонь всегда притягивает. Озеро Якобсярве определил он по карте и свернул с шоссе.

Озеро было небольшое, правильной овальной формы, оно заросло камышом. На берегу виднелся освещенный пламенем костра низкий навес для косцов. На грифельном фоне неба чуть светлел луг со стогами сена, казавшимися ледниковыми валунами, часто встречающимися в этих местах.

Якобсярве — как впоследствии, расшифровав фонограммы Питера Крукса, узнал Люстиков — населено двумя сильными самоуправляющимися общинами: Союзом Независимых Раков, который уже сто лет возглавлял Питер Крукс, и Всеобщим Объединением Свободных Лягушек, руководимым Старой Лягушкой. Кроме этих основных племен, в озере имеются колонии карасей, красноперок, плотвы, водяных блох, а также несколько щук, с которыми, несмотря ни на что, приходится считаться при решении важных вопросов.

Старая Лягушка ссохлась от времени и ночует в чашечке лилии, не жалуясь на тесноту помещения. Авторитет ее объясняется не силой, как у щук, а житейской мудростью, тактом и тем, что она является дуаиеном, если воспользоваться дипломатическим термином, то есть старейшиной среди глав самоуправляющихся общин Якобсярве. Незадолго до описываемого времени Старой Лягушке, по предложению Питера Крукса, была официально дарована экстерриториальность «на поверхности, в глубине и на берегах», как значилось в специальном постановлении.

Против экстерриториальности выступила только щука.

— Я не ем Старую Лягушку, потому что не хочу ее есть. Но если я захочу ее съесть, я ее съем, яее съем, — со свойственной ей лаконичностью сказала щука.

Питер Крукс пребольно ущипнул оратора могучей клешней — «Я вынужден был это сделать», говорится в фонограмме, — и, «в порядке ведения», заметил:

— Ты, щука, слишком глупа, чтобы понять, но ты должна слушаться. Ведь все твои родичи после кончины попадают в меня, мавзолей и саркофаг всего живого, в том числе и твоего хищного рода. И если ты не угодишь на крючок, то тоже будешь покоиться во мне...

Щука оскалила было хищную пасть, но промолчала.

В ночь, о которой идет речь, Питер Крукс проснулся на закате, но раньше обычного, от странной тишины. Закатное солнце просвечивало сквозь плотные облака, и вода была не красная, а черная с еле заметной примесью оранжевого.

Обычно прощанье с солнцем знаменовалось истошным пением лягушек. Исполнив арию, певцы с громкими всплесками плюхались в воду. Крукс не любил ни пронзительного пения, оскорблявшего его слух, ни торопливых всплесков, но тишина встревожила его. Он выполз из своей резиденции между камней, хотя сознавал, что еще слишком рано, и направился к резиденции Старой Лягушки.

Быстро темнело. Старая Лягушка стояла среди плотных белых лепестков лилии и махала ссохшейся лапкой вслед отрядам своего народа, которые из камышей по лугу двигались к болоту. Изредка она квакала короткие напутствия, но слабый ее голос трудно было разобрать.

Когда последний отряд лягушек скрылся из виду, Старая Лягушка взглянула на Крукса и квакнула:

— Берегись!

Крукс хотел спросить, чего именно беречься, но лягушка уже спала; от старости ей трудно было долго держать глаза открытыми.

Крукс знал, что даром она не стала бы пугать.

Он взглянул на берег, различил цепочку световых пятен от фонариков и кое-что понял. Когда такое световое пятно пробьет недвижную воду над головой, спрятаться некуда и наступает смерть.

Лучи фонариков были красноватыми. Крукс полз как только мог быстро. У каждого жилища сородичей он громко выстукивал клешней:

— Заройтесь поглубже! Берегитесь!

Теперь он понимал и то, чем объясняется бегство лягушек. Ведь они служат приманкой. Смерть раньше поражает Свободных Лягушек и только затем обрушивается на Независимых Раков.

...Лежа на стог сена, Люстиков, как и Питер Крукс, о существовании которого он узнал несколько позднее, наблюдал происходящее.

От костра невнятно доносилась эстонская речь. Перед поездкой Люстиков просматривал русско-эстонский словарь и обратил внимание на то, как странно и непохоже на наше называются по-эстонски некоторые растения. «Колокольчик» в дословном переводе — «Цветок аиста» или «Цветок-аист». «Колокольчик» — красиво и «Цветок-аист» — удивительно красиво.

Это как бы две разные сказки.

Одна сказка о цветке, возвышающемся в лесу над всеми другими, чужеземце, который не отцветет, а улетит за тридевять земель; другая — нежная, о цветке, который всегда, и в непогоду и ночью, вызванивает свою песню и зовет: ближе, ближе, полюбите меня или хотя бы полюбуйтесь мною. Теперь, ночью, в каждом непонятном слове, вместе с искрами доносившемся от костра, чудилась сказка.

Юноши и девушки возились, налаживая краболовные сетки. Двое юношей с ловушками, как с пиками на плече, прошли мимо.

— Терè! ¹ — окликнул Люстиков. — Как дела?

Ребята остановились. Один из них сказал, мешая русские и эстонские слова:

— Плохо, конне ² эёлэ ³ — нет!

Близ берега вода светилась, а дальше она была совсем черной.

По светлой полосе проплывала плоскодонка. Время от времени юноши вонзали в илистое дно свои ловушки. У костра теперь никого не оставалось. Транзистор, брошенный на траву, самому себе наигрывал твисты. Рожь мерно покачивала налитыми колосьями в такт другой, медленной и неслышной музыке.

...Крукс иногда задремывал. Но и во сне ему было жалко, что он не видит всего происходящего, жаль было не видеть даже страшных красноватых огней фонариков, бегущих сполохами по черной воде и угрожающих ему с сородичами смертью.

¹ Привет.

² Лягушек.

³ Нет.

Он, саркофаг всего живого в озере, знал, что после смерти не будет *ничего*, даже опасности, даже угрозы гибели.

Фонарики двинулись от берега к навесу. Люди потанцевали, устали и зарылись в теплые стога, «зашли» в них, как заходит солнце в тучи. Крукс перевел дыхание и снова медленно пополз. В камышовой бухточке, на самой границе своих владений, он увидел странно неподвижную лягушку; но не разглядел сетки, в которой лежала лягушка.

Он подумал:

«Если лягушка живая, необходимо посмотреть, что с нею, и по возможности помочь ей. Ведь лягушинный народ покинул озеро и тем отвел угрозу, нависшую над Независимыми Раками. Надо спасти ее: за добро все же следует платить добром, даже если это сопряжено с некоторыми неудобствами. А если она мертвая, надо ее съесть, ведь в этом предназначение нашего Независимого племени».

С этими мыслями Крукс нырнул в черную воду и сразу запутался в сетке. «Попался,— подумал он.— И все-таки я правильно поступил».

...Люстикову стало холодно. Он забрался в машину и прикрылся пледом. Проснулся он от яркого света, который врвался сквозь стекла машины. Вскочил, рывком распахнул дверцу и увидел: вокруг костра пусто, пламя охватило навес для косцов и лижет рожь.

Не совсем очнувшись, он подбежал к костру, с силой вывернул остов навеса, отводя огонь от поля. Пока отсвет пламени пробежал по обожженной земле, он успел заметить голубую нейлоновую сумку, шевелящуюся, как живая, и оттащил ее. Сел на траву и снова взглянул на прозрачную сумку. Там, на самом дне, лежали пойманные раки — четыре или пять маленьких и один огромный, величиной с десертную тарелку.

Это и был Питер Крукс.

Люстиков вытащил огромного рака из сумки. Крукс посмотрел на человека взглядом, в котором светилось столько непонятного, что Люстиков побежал к машине и, зафиксировав рака в специальных зажимах, включил АДП.

Вспыхнули мозговые извилины, и из громкоговорителя полился глухой, несколько монотонный голос, рассказывающий о событиях последней ночи, об истории озера

Якобсгарве, о жизни Независимых Раков и Свободных Лягушек, делящийся соображениями о добре и зле.

Шуршала бумажная лента, записывая фонограмму.

Когда опыт закончился, уже светало. Девушки и юноши вылезли из стогов сена, «взошли», как сказал бы Крукс. Транзистор, дремлющий в траве, тоже очнулся и запищал твистовую мелодию. Одна пара — красивая, стройная девушка с темными прямыми волосами до плеч, похожая на индианку, и человек много старше, в очках — танцевали быстрее и быстрее, а остальные, взявшись за руки, вели вокруг медленный хоровод, скорее под шум ветра, чем под музыку транзистора.

Люстиков положил было Крукса на сиденье машины, чтобы отвезти в институт, но вспомнил только что услышанное мудрое изречение — «за добро все же следует платить добром», — отнес рака к берегу и, преодолевая глубокое сожаление, выпустил в воду...

Крукс медленно, с достоинством скрылся между затянутых тиной камней.

Минуту Люстиков смотрел ему вслед, вывел машину на шоссе и, круто развернувшись, поехал домой.

10.

Я мечтал—слово это слишком большое, но тут не обойдешься другим—подарить людям хоть тень бессмертия, помочь им сохранить то, что с таким трудом накапливает мозг и что бесследно исчезает.

*Из письма Г. С. Люстикова
О. В. Чебукиной (Публикуется
с согласия адресата)*

Люстиков приехал в девять часов утра; он гнал машину всю ночь, и как был — небритый, запыленный — ворвался в кабинет директора Ветеринарного института Исидора Варфоломеевича Плюшина.

— А где же этот — подопытный? — спросил Плюшин, выслушав сбивчивое сообщение своего сотрудника. Слово «рак» директор счел неуместным; животное, если верить полученной информации, занимало не совсем рядовое положение.

— Выпустил, — повинился Люстиков. — Мне казалось, что после всего сделанного им... было бы несправедливо...

— Какая же осталась документация? — сухоато осведомился Плюшин.

— Фонограммы! Пойдемте, послушаем!

Директор не без некоторого колебания поднялся из глубокого кресла и зашагал вслед за Люстиковым, который на ходу даже подпрыгивал от нетерпения.

Когда на пустом дворе зазвучал мерный, несколько монотонный голос Крукса, директор нахмурился и наклонил голову.

— Есть и незрелые суждения, — вдумчиво сказал он, выслушав все до конца, и покачал головой в знак сомнения или даже укоризны.

— Но это же рак! — воскликнул Люстиков.

— Лицо, выступающее в порядке обсуждения или мыслящее в порядке обсуждения, полностью отвечает за свои высказывания или мысли. — Директор мягко улыбнулся и двинулся к подъезду института.

Не отставая от Плюшина, Люстиков что-то невнятно бормотал о бессмертии «в первом пока приближении», которое может быть достигнуто, когда все знания и мысли деятеля науки удастся записать на серию фонограмм и ввести в говорящее саморегулирующееся устройство, смонтированное в специальном шкафу.

— Ближе к жизни, Григорий Соломонович, — веско перебил Плюшин, опускаясь в кресло. — Какое применение может найти данный, как вы выражаетесь, «шкаф»? Учитесь мыслить практически!

— Мне казалось... то есть, я надеюсь, — начал Люстиков и уже более связно продолжал: — Я думаю... шкаф сможет читать лекции в случае болезни или кончины ученого, мысли которого в нем зафиксированы. И в некоторой мере руководить учениками... И...

Директор задумался.

— Набросайте докладную, — разрешил он после долгой паузы. — Коротко, деловито, с экономическими расчетами. И, по возможности, попрошу без таких слов — «бессмертие» и прочее.

Докладную Люстиков передал секретарю директора в тот же день, а сам с головой погрузился во всевозможные конструкторские тонкости. Надо было сделать так, чтобы шкаф мог не только повторять в раз и навсегда определен-

ном порядке то, что было снято мыслеснимателем с извилин ученого, а свободно оперировать аккумулированной информацией. Система должна была быть саморегулирующейся, способной отбрасывать устарелые сведения и, при помощи читающих оптических устройств, заменять их данными, почерпнутыми в новейшей литературе.

Все это было, как выражаются шахматисты, «делом техники», но техники самой головоломной.

Решив очередную деталь и начертив узел конструкции, Люстиков поднимался из-за стола и, встав перед Оленькой в позе чеховского Гаева, с пафосом начинал: «Дорогой, многоуважаемый шкаф!..» — но не выдерживал и принимался вместе с Оленькой отплясывать известный только им двоим «кибернетический танец».

К сентябрю был готов АДП-2, и из мастерских прибыли первые шкафы с самозаписывающими устройствами.

Они несколько напоминали холодильники «ЗИЛ», только были раза в два выше и поставлены на подвижное шасси с колесиками.

Докладная между тем поднималась по ступеням ветеринарного ведомства. 3 декабря она вернулась с лаконичной резолюцией: «Разрешить в порядке строгой добровольности».

Все же дело развивалось медленно. К февралю были перезаписаны только пятеро ученых. В конце месяца вступил в дело шестой шкаф. Профессор зоологии Мышеедов через три дня после перезаписи тяжело заболел, и шкаф № 6 был первым, на котором идея прошла проверку практикой. Шкаф доставили в институт, на колесиках подкатали к кафедре и включили его.

Всех поразил даже не самый факт чтения лекции шкафом, а то, что говорил этот последний Мышеедовским голосом, и начал лекцию совершенно по-мышеедовски: «В прошлый раз мы остановились на отряде кольчатых червей типа *Vermus*. В нынешней лекции надлежит» и т. д.

Сходство было настолько полное, что казалось, будто Мышеедов был всегда шкафом, а шкаф всегда был Мышеедовым.

После лекции шкаф по собственной инициативе выразил желание просмотреть журналы и был доставлен в профессорский зал читальни, где проштудировал свежие номера «Nature» и последний том «Handbuch für Zoology».

О дебюте Мышеедова-шкафа появилась короткая, но,

как характерно для этого журнала, деловитая и выдержанная в благожелательных тонах заметка в текущем номере «Науки и жизни».

Некоторые консервативно настроенные деятели высказали сомнение, что поскольку шкафы не имеют степеней, то не приведет ли чтение ими лекций к снижению авторитета научных степеней?

Для рассмотрения возникшего вопроса была создана комиссия, но голоса в ней раскололись и авторитетное суждение все откладывалось.

Между тем вслед за Мышедовым-шкафом с чтениями лекций успешно выступили Дрыгайлов-шкаф («Мораль и этика будущего») и Лобзин-шкаф («Топология»).

С изменением характера меняется и служебное положение. А с изменением служебного положения меняется характер.

Камила Ланье „Психология обыденной жизни“

11.

Провинциализм, узость кругозора—вот что поразило меня в работах кандидата физико-математических наук Г. С. Люстикова, когда я возглавил Лабораторию перезаписи. „Размах“—это слово я сделал своим девизом, и оно же определяет самую сущность новой истории перезаписи. Размах и экономическая эффективность.

*Из речи юбиляра на праздновании
двадцатилетия назначения А. П. Сырова
директором Лаборатории перезаписи*

В конце рабочего дня Люстиков неожиданно вызвал Плюшин. В кабинете, кроме директора Ветеринарного института, несколько в стороне сидел широкоплечий круглолицый человек лет тридцати в отлично сшитом скромном костюме из темно-серого трико.

При появлении Люстикова Исидор Варфоломеевич приподнялся в кресле и проговорил:

— Переработался, Григорий Соломонович? Ничего, бывает... И у нас бывает, которых, как говорится, и «на вид» не склонит, и «строгач» не сломит. А уж у вашего

брата, привыкшего к этим самым — эмпиреям, и подавно... Садись, Григорий Соломонович, в ногах правды нет.

Среди должностных лиц ветеринарного управления, как и некоторых других управлений, издавна четко обозначились два стиля руководящей деятельности. Один — «строго официальный», другой — «строго отеческий».

Лица первого направления, учиняя выволочки и разносы подчиненным, пользовались местоимением «вы» и обильно цитировали соответствующие директивы. Лица второго направления при выволочках и разносах, напротив, предпочитали местоимение «ты» и вместо цитат уснащали речь пословицами.

Что касается Плюшина, то он на всем протяжении своей деятельности придерживался строго официального стиля, но в связи с новыми веяниями в ветеринарных кругах перекантовался на стиль строго отеческий.

— Посоветовались мы где следует, — продолжал Плюшин, — и решили разгрузить тебя. Как говорится — ум хорошо, а два лучше; знакомься — новый начальник лаборатории, Андрей Петрович Сыроваров. Тебе, Григорий Соломонович, оставляем технику и, так сказать, эмпирию, ну а уж деловую часть придется взвалить тебе, Андрей Петрович, на свои молодые и растущие плечи.

Достигнув зрелого тридцатилетнего возраста, Анджей Люсьен сменил гардероб, распродал рыболовную снасть и редкую по полноте коллекцию папиросных и сигаретных коробков, на собиранье которой ушли предыдущие годы, разогнал друзей и подруг быстротечной юности, и в новом качестве, под староотеческим именем Андрея Петровича вступил в должность.

Получив назначение, Сыроваров предложил выгодный пост заместителя по общим вопросам Коле Чебукину: всегда надо иметь под рукой надежного человека.

— Нет, нет, Андрей Петрович, или Анджей Люсьен, как я буду по-прежнему именовать тебя в душе, — ответил Колька. — Никогда, пока жив предок, я не променяю изобилующие рыбой водоемы на мутное житейское море.

— Как знаешь, — сухо ответил Сыроваров. — В твои лета не мешает подумать о будущем. Папаша может сгореть на работе, или его турнут на пенсию — тоже не жирно.

...Сейчас, сидя в кабинете Плюшина, Сыроваров деловито думал (деловитость сразу и во всем сменила прежнюю беспечность), какой ему следует принять тон: проверенный

предыдущими поколениями строго официальный или современный — строго отеческий?

Приняв решение, он твердо придал лицу улыбку и, как только Плюшин замолк, шагнул навстречу Люстикову.

— Надеюсь на тебя, Соломоныч, — сказал он, крепко пожимая руку Люстикова. — Человек ты скромный, мы и наименование подыскили для новой должности скромненькое, без пышностей — «технический исполнитель». Неплохо?! В материальном факторе некоторый урон. Ничего, будешь стараться — премируем.

Маленький Люстиков стоял перед богатырски сложенным Сыроваровым, задрав голову. Ему хотелось сказать, что он не привык к бесцеремонному «ты» и кличке «Соломоныч», но пока он мысленно облакал эти соображения в приемлемую форму, время для демарша было упущено.

Сыроваров положил могучую длань на плечо Люстикова и увлек его из кабинета, инстинктивно сохраняя между собой и подчиненным просвет или «интервал», как выражаются военные.

В приемной, где сидела одна только секретарша, новый начальник, глядя Люстикову в глаза, сказал:

— Значит, так: займешься перевозкой лаборатории в новое помещение. Как говорится, «ехать так ехать», ха-ха. Фиксируй: за каждый приборчик ответишь головой; государственная собственность, и труд во все вложен... И еще, чуть было не забыл, есть наметка представить нас к Премии имени Первого ветеринарного съезда: Исидора Варфоломеевича, мою скромную персону, ну и тебя, Соломоныч, тоже...

— А Ольгу Васильевну? — заикаясь от волнения, спросил Люстиков. — Она ведь стояла у самой колыбели.

— Несерьезно! — строго перебил Сыроваров. — Тогда надо и курьера и гардеробщика... А что касаясь колыбели, то Чебукиной О. В. скоро, быть может, придется дежурить у другой колыбели?! А? Да ты не красней, Соломоныч. Не порицаю, ха-ха... Однако, в порядке борьбы с семейственностью, полагаю полезным освободить Чебукину по собственному желанию. Я и приказик подмахнул. Что еще?.. Шкафы с сегодняшнего числа будем именовать «бисы». Зафиксировал? Клягин-бис, Мышеедов-бис; научно и современно. «Шкафы» — отдавало нафталиничком. На сегодня все, можешь идти, Соломоныч.

В Сыроварове ключом была молодая энергия.

Когда Лютиков вошел в лабораторию, Оленька сидела у окна и плакала. Лютиков молча поцеловал ее в голову.

— А может быть, шука была не так уж плоха? Та, из магазина «Рыба», — сказала Оленька, стараясь улыбнуться, чтобы успокоить Лютикова. — Пойдем вечером в бассейн и дадим ей колбасы.

— Хорошо, — согласился Лютиков.

„Бисы“ — понятие, знаменующее торжество реального направления, улица переделала в мистически звучащее и даже оскорбительное слово „бесы“.

Доцент Тугоухов „О чистоте языка“

Отдадим должное покойнику: профессор Лямбда свободно оперировал в своих трудах 75 442 цитатами (богатейший цитатный запас в мире). Но, отказавшись от перезаписи и избрав недостойную позицию собаки на сене, он унес все это богатство в могилу. Прекрасный механизм из 75 442 колесиков, винтиков и пружин, который мог бы и дальше двигать дело просвещения, отдан на слом. „Личное дело Лямбды“ — скажут иные, страдающие прекраснотушием непрошенные адвокаты. Но мы никогда не согласимся с тем, что это личное, а не общественное дело. Перезапись должна стать и станет если и не обязательной, то добровольно обязательной.

А. П. Сыроваров, Речь на гражданской панихиде профессора Г. М. Лямбды

12.

Ну и мерзавец ты, если поглядеть на тебя со стороны.

Реплика профессора И. Ф. Дрыгайлова, заведующего кафедрой „Мораль и этика будущего“, во время выступления И. Ф. Дрыгайлова-биса.

В новом помещении Лаборатории перезаписи все сверкало никелем, стеклом и пластмассой. Маленький Лютиков потерялся среди ослепительного великолепия операционных залов, приемных холлов, которые можно было сравнить разве с помещениями Дворца бракосочетаний.

В металлических и пластмассовых берегах бушевала инициатива нового заведующего.

Очередная партия шкафов, которые изготавливались чуть ли не из милости артелью «Металлоштамп», была возвращена поставщику. Того же числа Сыроваров расторг договор с артелью. Чертежи новых шкафов — то есть не «шкафов» уже, а бисов, — разработали два художника, специалисты по оформлению витрин, празднеств и выставок, совместно с художественным руководителем Дома моделей Агнией Альфредовной Лисс.

— Без излишеств! — напутствовал Сыроваров художников, подписывая проектное задание. — Просто и деловито...

Люстикову были поручены двигательные узлы конструкции, осуществить которую брался крупный магнитофонный завод.

Через месяц появилась первая серия — двадцать пять новых бисов. Неподвижные, во всем подобные человеку, но без лица, совершенно однообразные, сверкающие обильно смазанными металлическими поверхностями, они производили несколько угнетающее впечатление.

К чести Сыроварова надо сказать, что он сразу принял необходимые меры. Вместе с Агнией Лисс он лично набросал эскизы двенадцати моделей костюмов для бисов. Более яркие с более короткими пиджаками и узкими брюками для молодых бисов и менее яркие с удлиненными пиджаками и уширенными брюками для пожилого контингента. Носки и галстуки из представленных образцов отобрал также лично Сыроваров, проявив при этом безукоризненный вкус.

Появление галстуков подсказало необходимость срочно придать бисам лица.

Из соображений разумной экономии они штамповались серийно, однако в процессе перезаписи при помощи простых, но остроумных устройств принимали выражение оригинала.

В изящных, отлично отутюженных модных костюмах, иные даже с гвоздикой в петлице, бисы стали совсем иными. Студентка Лида Л., которая упала в обморок, когда на

кафедру вкатили Мышеедова-шкафа — громоздкого, на четырех поскрипывающих колесиках, теперь, увидев Мышеедова-биса в новом оформлении, покраснела и шепнула на ухо подруге:

— Душка!

Покончив с техникой, Сыроваров погрузился в организационные вопросы. На заседании комиссии по ученым степеням он выступил с отлично аргументированной речью.

— Надо отбирать кадры, не обращая внимания на то, бис ли это или так называемый «настоящий» научный работник, исключительно по деловым качествам, — сказал Сыроваров.

Консервативно настроенным членам комиссии нечего было противопоставить логике Сыроварова.

Перед бисами теперь открылась, по выражению железнодорожников, «зеленая улица». Скоро стало ясно, что они обладают и бесспорными преимуществами по сравнению с «настоящими» научными сотрудниками. Нуждаясь только в профилактическом ремонте, смазке раз в неделю и перезарядке раз в месяц, они могли работать круглые сутки, ночью так же, как и днем.

Консерваторы продолжали строить козни, но жизнь разбивала все хитросплетения одно за другим.

Неизвестно, кем был создан миф, будто бисы не самокритичны. Вскоре, однако, в лекции Мышеедова-биса, посвященной отряду кольчатых червей, были обнаружены методологические ошибки. Ожидали, что Мышеедов-бис отмолчится, но уже через три дня он выступил с двухчасовой насыщенной фактами речью, где не только признал ошибки в оценке кольчатых червей, но показал, что подобный же порочный взгляд сквозит в подходе ко всему типу Vermus — червей, Protosoa — простейших и Insecta — насекомых.

Стала ясна близорукость треугольника института.

Осудив себя, Мышеедов-бис не ограничился этим, а выявил такого же рода порочность в работах двух лучших учеников Мышеедова-настоящего.

Еще более серьезные выводы пришлось сделать из

событий, связанных с именем профессора Дрыгайлова.

После перезаписи Игнатий Филиппович Дрыгайлов как-то опустил. Прежде подтянутый и целеустремленный, он приходил на лекцию через полчаса после звонка, небритый, в мятom костюме, покрытом пятнами от пролитого кофе и супа. Обычных признаков морального разложения не наблюдалось—профессор не бросил семьи, не запил, но сведущие люди уже уверенно и с понятным огорчением вынесли именно этот диагноз: «моральное разложение».

Однажды на собственной лекции профессор зевнул, сказал: «Боже, какая скука» — и, махнув рукой, вышел из аудитории.

В институте не хотели поднимать шума вокруг имени заслуженного ученого. Декан поговорил с Дрыгайловым: так, мол, батенька, негоже, надо, батенька, отомобилизоваться и т. д.

Келейная беседа лишь усугубила положение.

Тут подоспел инцидент с Януаровым. Молодой, стремительно растущий научный работник защищал диссертацию на тему «Мне так кажется — как судебное доказательство».

Когда Януаров стал неторопливо развивать основной тезис, что поскольку сознание отражает объективный мир, постольку, если мне кажется, что ты преступник, ты преступник и объективно, Дрыгайлов вдруг поднялся, коротко хохотнул и, прерывая диссертанта на середине фразы, сказал: «А мне вот кажется, что ты проходимец». После чего встал из-за стола президиума и удалился.

Януаров оказался на высоте. Он только развел руками, сожалительно покачал головой и продолжал чтение работы. Но, конечно, дальше замалчивать происходящее стало невозможно.

В повестке месткома появился вопрос о моральном разложении Дрыгайлова.

И вот тут с новой стороны проявил себя Игнатий Филиппович Дрыгайлов-бис, этим самым открыв и важные,

неизвестные прежде науке стороны интеллекта всей породы «бисов».

Заседание месткома, происходившее почему-то вяло, близилось к концу. Председательствующий декан факультета мямлил обычное «надеюсь, батенька...» и т. д., когда появился никем не приглашенный Дрыгайлов-бис и потребовал слова.

Самый вид Дрыгайлова-биса, свежевыбритого, спокойно улыбающегося, отлично одетого, «веского» в каждом слове и каждом движении, печально оттенял неутешительность нынешнего облика Дрыгайлова-настоящего.

— Моральное состояние Игнатия Филипповича не является неожиданностью, — начал Дрыгайлов-бис. — В семь лет, учеником младшего приготовительного класса гимназии Игнатий, вопреки указаниям родителей и наставников, курил. В старших классах он специально изучил французский язык, чтобы прочитать аморальные мемуары Казановы. В юношеские годы Игнатий увлекался диссертацией пресловутого Соловьева «О добре» и идеалистическими сочинениями пресловутого Бердяева. Мне, как понятно каждому, тяжело ворошить все это, но, чтобы получить урожай, изволь выполоть сорняки..

Тут Игнатий Филиппович Дрыгайлов-настоящий, прерывая своего биса, негромко проговорил то, что приведено в эпиграфе к главе: «Ну и мерзавец ты, если поглядеть на тебя со стороны», — поднялся и, как при инциденте с Януаровым, направился к выходу.

...Так бисы овладевали все новыми позициями, становились чем-то таким, что никогда и не мыслилось Люстикову.

Вскоре первый бис защитил докторскую диссертацию. На банкет в ресторан «Прага» был приглашен и Люстиков. Бис не пил, но вел себя превосходно и произносил остроумные тосты. Сыроваров умело направлял течение банкета.

Поздно вечером, встретившись с Оленькой, немного охмелевший Люстиков сказал:

— Нет, как там ни суди, в нем есть широта. Я на все это не способен.

— А ты бы хотел быть способным на все это? — спросила Оленька, повернулась и ушла, не дождавшись ответа.

Так произошла между ними первая серьезная размова.

13.

Все настоящее вдруг представилось мне ненастоящим, и представилось, что все действительно настоящее — безвозвратно потеряно.

Из письма В. И. Чебукина дочери Ольге

Только теперь появляется возможность вернуться к событиям жизни Василия Ивановича Чебукина. Будучи лишены предрассудков, мы закрываем глаза на то, что по обстоятельствам развития сюжета вторая встреча с героем происходит в главе под неблагоприятным номером «13». Представляется полезным сделать и другую оговорку. В этих и последующих главах мы по ходу изложения приводим мысли и переживания Чебукина, которые стали в точности известны лишь позднее; отступление от строго хронологического принципа здесь кажется нам оправданным.

...После ухода Вениамина Анатольевича, определившего необходимость перезаписи, все перед Чебукиным предстало в ином свете.

Его знобило, и в теле чувствовалась болезненная слабость. В тот день должно было состояться важное межведомственное совещание с его, Чебукина, руководящим выступлением, но мысли и фразы, заботливо заготовленные для выступления, вдруг показались незначительными, а само совещание — пустейшим делом.

Он открыл дверь в комнату жены и с порога сказал:

— Назначен на перезапись, Тamarочка...

Тамара сидела перед трюмо и кончиками пальцев масировала предательски обозначившиеся в уголках глаз «гусиные лапки». Не отвлекаясь от этого занятия, она сказала:

— У тебя будет свой бис?! Чертовски современно. Лидочка, дочь Олимпиады Львовны, говорит, что бисы — прелесть. Они как члены семьи... Подумать?! Ты должен наконец настоять, чтобы Оленьке предоставили самостоятельную жилплощадь. Оленькина комната подойдет бису; немножко сыровато, но ведь он железный...

— Бису дадут отдельную квартиру, — дрожащим от обиды голосом объяснил Чебукин и вышел из комнаты.

Отчаявшись найти дома сочувствие, Чебукин заглянул в гостиную, резиденцию Кольки, и попросил сына:

— Меня, знаешь, на перезапись... ты бы позвонил Сыроварову...

— Сто новейших дублонов,— сухо заметил Колька, поднимая трубку.— Житейские испытания и подледный лов заморозили мое сердце.

Чебукин молча отсчитал требуемую сумму.

— Анджей Люсьен? — спросил Колька, набрав номер лаборатории.— Ах, извините, Андрей Петрович... Моего предка, простите, простите, моего отца назначили на перезапись, и я... Ах, так — «в порядке живой очереди и согласно действующим инструкциям...»

Положив трубку на рычаг, Колька печально проговорил:

— Еле шевелит плавниками. Все предано забвению. Забыт селигерский десятикилограммовый судак и сигаретный коробок с острова Фиджи, алмаз твоей коллекции, Анджей Люсьен, добытый с ущербом для моей репутации... Все, все в глубинах небытия!..

Глядя на отца, Колька сказал еще:

— А тебя не отчислят как памятник старины? Сейчас памятники не в моде... Впрочем, говорят, бисы перенимают и родительские чувства. Не информирован?

...Чебукин впал в глубокую задумчивость.

— Ну и будет Чебукин-бис, что с того? — утешал он сам себя.— В Ученом совете два биса. Терпсихоренко-биса, после смерти Терпсихоренко, даже и не называют бисом.

Чебукину вдруг вспомнился тот Терпсихоренко, настоящий: балагур, весельчак, любитель сыграть пульку. Умер он год назад, а уже всеми забыт. Терпсихоренко нынешний по ночам сидит не за бутылкой вина и преферансом, а штудировать книги в профессорской читальне. На ученом совете его специальность «уточнять»: резолюции, цитаты, установки. Улыбка у него металлическая; впрочем, какой ей и быть, если он из металла?

В два часа курьер в кожаном пальто принес запечатанный сургучом пакет. Вскрыв его, Чебукин прочитал:

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЗАПИСЬ № 000319Р

Податель сего, Чебукин Василий Иванович, настоящим направляется в вашу лабораторию на предмет перезаписи.

Подпись и гербовая печать.

Внешность и еще раз внешность — напоминаю я вам. Можно скрыть недостаток образованности — молчанием, дефекты воспитания — сдержанностью. Но противоречие в расцветке носков и галстука — вопиет!

Дю-Шантале, маркиз и присяжный поверенный

Зал был круглый, со сферическим потолком и напоминал планетарий. Вдоль стен располагалось десять или двенадцать кабинок с прозрачным верхом. На крайней кабинке загорелось «319Р», и дверца отворилась. Внутри стояли друг против друга два кресла с откидной спинкой, какие бывают в самолетах. Чебукин сел и перевел дыхание. Под потолком зала как бы парил легкий помост с алюминиевыми перильцами. Металлические лесенки оплетали его. По лесенкам поднимались и сбегали вниз девушки в синих спецовках и беретах.

Было тихо, только доносился шелест, похожий на шум приводных ремней. На помосте виднелись щиты управления с разноцветными сигнальными лампочками. Посреди помоста возвышалось нечто, похожее на капитанский мостик. Там, перед селектором, стоял Люстиков.

Кроме шелеста, до Чебукина порой доносились приглушенные голоса девушек:

— Тогда он сказал: сегодня я тебя украду!

— Страсти какие! Надо же. А она?.. — спросил другой голос.

— Она ответила: только навсегда!

— А он?

— Он сказал: навсегда я не могу...

— Подумать, — вздохнула вторая девушка.

...Из другого угла доносилось:

— Гладко, гладко, а тут плиссировочка...

И еще:

— А он, дурак, к Машке липнет...

— 319П, под перезапись! — скомандовал, наклоняясь над трубкой селектора, Люстиков.

С потолка на тросах спустился похожий на шлем алюминиевый колпак и закрыл соседнюю кабинку.

— А почему он не может навсегда? — спросил первый голос.

— Во-первых — женатик, во-вторых — член месткома.

— Надо же... — снова вздохнула первая девушка.

«Тишина!! Идет перезапись!!!» — загорелось на алюминиевом колпаке. Голоса оборвались. Шуршание стало сильнее. Запахло озоном.

— Включить извилину музыкальных интересов! — командовал Люстиков.

— Не выражена, — отозвался женский голос.

— Включить сферу юмора!

— Не выражена.

— Включить извилину любви!

— Включить извилину добрых и смелых дел!

Прозвучала новая команда:

— 319Р — под перезапись.

Теперь и над Чебукиным опустился алюминиевый колпак.

В наушниках шлемофона послышалось:

— Включить административно-руководящие извилины.

— Включить извилину теории эстетики!

— Включить извилину добрых и смелых дел!

— Включить извилину любви!

«Таню ведь я любил, очень любил, но...» — думал Чебукин.

Вдруг показалось очень важным вот сейчас же вспомнить двадцать пять добрых дел. А в голову лезли сущие пустяки, к тому же стародавние. Чебукин снизил себе норму с двадцати пяти до десяти добрых дел, но и то последние два номера представлялись сомнительными.

Лет шесть назад он отменил приказ об увольнении курьера с длинной фамилией, которая никак не припоминалась. Но курьер почему-то исчез.

Он тогда все собирался спросить заместителя, как это курьер все-таки исчез, да, помнится, не собрался.

А в детстве был случай, когда отец дал ему большой кусок пирога и с начинкой, а Глашке — младшей сест-

ренке, нелюбимой в семье, — маленький кусок и почти без начинки. Он отдал свою порцию Глашке — «на, подавись». Чем не доброе дело? Только, помнится, в тот раз у него болел живот, даже смотреть на жирный пирог было тошно.

А с другой стороны, доброе дело остается добрым, независимо от того, болит живот или нет.

— Внимание, 319Р, — приступаем к операции выбора биса, — прозвучало в шлемофоне.

Спереди отодвинулась дверца, образовав прямоугольный просвет двух метров высоты и шестидесяти сантиметров ширины.

Послышалось:

— Предлагается на выбор тридцать высококачественных, утвержденных бисов, различающихся чертами лица, расцветкой глаз и волосяных покровов, фасоном костюма. Напоминаем: выражением лица бис не располагает, оно будет придано бису в процессе перезаписи посредством копировки оригинала. 319Р — приготовьтесь:

Дзинь... Впереди возникла цифра «1». Шагнув слева направо, показался бис.

Он стоял под своим номером, вытянувшись как в строю, одетый в отличный черный костюм. Лицо у него было снабжено всем необходимым — носом правильной формы, полногубым ртом, серыми глазами под несколько нависшими бровями, черными с еле заметной сединой волосами, зачесанными назад, умеренно низким и покатым лбом, — но, не обладая выражением, оно, при этой полнокомплектности, производило жуткое впечатление.

— Сгинь! Сгинь! — услышал Чебукин собственный свой неприлично дрожащий голос.

У биса совсем не было выражения лица, даже такого, каким снабжаются, например, манекены в провинциальных парикмахерских или гипсовые фигуры при въезде в санаторий.

Дзинь. Бис в черном костюме шагнул вправо, подтянул ногу и скрылся из глаз. Загорелась цифра «2», и под ней вытянулся бис чрезвычайно моложавый, с косо подбритыми височками, в клетчатом костюме с узковатыми брюками.

То же абсолютное, трудно представимое и не поддающееся описанию отсутствие выражения объединяло черного седеющего биса с бисом клетчатым.

Чебукин закрыл глаза, испытывая почти ужас. «Дзинь... Дзинь... Дзинь», — доносилось до него время от времени, каждый раз этот звук вызывал тяжелый вздох.

Как человек, сознающий определяющее значение дисциплины, он, наконец, заставил себя взглянуть. Под светящейся цифрой «11» замер полноватый бис с явно наметившимся брюшком, приличным двойным подбородком, серыми глазами и также сероватыми редееющими волосами. Ему, этому бису, пристало бы выражение важности, солидности, благожелательства без тени панибратства. Но ни этого необходимого по другим статьям выражения, ни какого-либо другого выражения не было.

— Сгинь! — бессознательно шептал Чебукин, снова плотно зажмурив глаза.

«Дзинь... Дзинь... Дзинь...» — пронзительно раздавалось в ушах.

Звонки оборвались.

— Назовите выбранный номер! — распорядился голос в шлемофоне и через минуту нетерпеливо повторил: — Назовите выбранный номер!

— Семнадцать, — наугад сказал Чебукин и взглянул.

Перед ним, удобно откинувшись в кресле, расположенном напротив, сидел бис крайне, даже неприлично молодежавый, в светлом бежевом костюме, с полубачками и черными усиками, концы которых были загнуты вверх, и отчасти двусмысленной улыбкой, также несколько загнутой вверх.

— И это мой бис? — с горечью сам себе сказал Чебукин. — Дожил. Такой бис соответствовал бы этому самому Анджею Люсьену, даже Кольке, в крайнем случае работнику по торговой части, но никак не профессору эстетики и директору Института эстетики... Дожил...

Бис сидел напротив, глядя в глаза, и даже двусмысленная, загнутая вверх улыбка не сообщала ему ни малейшего выражения. «Скорее это проект улыбки; не проект, а проектное задание», — мелькнуло в голове Чебукина.

— 319Р, приступаем к перезаписи! Приготовьтесь: приступаем к перезаписи, — раздался в шлемофоне голос Люстикова.

Твердо помню, что когда я закрыл глаза, в комнате никого не было. Очнувшись, я увидел, что за столом трое. Это были Я-нынешний, Я-вчерашний и Я-позавчерашний. Мы холодно поздоровались и приступили к беседе.

Из записок неизвестного

Шлемофон, щелкнув, отключился. Под алюминиевым куполом воцарилась ничем не нарушаемая тишина.

Чебукин сидел неподвижно, а электронный щуп с трудно представимой скоростью — ста пятидесяти килогерц нырял в мозговые извилины, прослеживая их одну за другой.

Накопленная в течение жизни информация из нервных клеток попадала на усилитель и самопишущим устройством заносилась на перфорированные ленты мыслеприемника Чебукина-биса.

По временам, отогнав дремоту, Чебукин бросал быстрый взгляд на своего визави.

Лицо биса постепенно приобретало выражение: загнутые усики выпрямлялись, улыбка развивалась в спокойную, благожелательную и одновременно нелицеприятную, глаза вбирали начальственную пронизательность. Но странно, знакомое это, тысячи раз выверенное у зеркала, выражение на чужом лице производило впечатление даже как бы гулкой пустоты.

«Отрастил усики, таракан, а не профессор», — неприятно подумал Чебукин о своем бисе.

Щуп безболезненно принимал информацию, но иногда электронное острие его задевало стенки клеток коры, отражалось от них, и тогда вспыхивало в памяти давно минувшее.

Перед закрытыми глазами Чебукина встало лицо Тани, такое, каким он видел его самый последний раз, в том году, когда по чрезвычайным обстоятельствам освободилась кафедра эстетики, и ему, совсем молодому научному сотруднику, нежданно-негаданно предложено было занять эту кафедру, при том, однако, условии, что он расстанется с Таней.

Дело в том, что Таня в том же году и по тем же чрезвычайным обстоятельствам лишилась одновременно отца и матери.

Неприятнейшее это условие высказано было деканом хотя и обиняком, но недвусмысленно. И Таня была названа не женой, а подругой, поскольку брак с ней по случайности не был зарегистрирован. И слово это, «подруга», было произнесено так страшно и оскорбительно, что и теперь прозвучало в памяти, как пощечина.

Чебукин искоса взглянул на биса. Лицо биса передернулось, сморщилось, но сразу приняло прежнее выражение. Чебукин понимал, что и его собственное лицо так же точно передернулось и сморщилось, а затем вернулось к обычному состоянию.

А щуп между тем перестал задевать стенки, локатор вывел его в стрежень извилины, и беспокоящие воспоминания больше не появлялись.

Чебукин уснул.

Когда он очнулся, алюминиевый купол был поднят, и снова глазу открывался зал перезаписи. Впереди в кресле спокойно и важно сидел бежевый бис с уже вполне утвердившимся выражением. Положив руку на плечо бису, стоял Люстиков.

— Вот и все,— сказал Люстиков, мягко улыбаясь.— Ведь ничего страшного.

Рабочий день оканчивался. Девушки-операторши подмазывались и, звеня каблучками, сбегали по металлическим лесенкам. Одна из них — хорошенькая, с кудряшками — приостановилась на мгновение и посмотрела на биса. Тот ответил продолжительным взглядом. «Ходок», — неприязненно подумал Чебукин, используя одно из словечек Колькиного лексикона.

— Месяца два или три продолжится синхронизация,— привычным скучным голосом объяснял Люстиков.— В углах губ у вас вмонтированы микроскопические микрофоны, в ушах — приемные устройства. Бис, который на время синхронизации останется здесь, будет слышать то же, что и вы. У него появятся те же эмоции и мысли, и он станет высказывать те же соображения. Посторонним будет казаться, что это говорите вы, а в действительности они будут слышать биса, являющегося, впрочем, вашим точным дубликатом. Если мысли и соображения биса в деталях разойдутся с вашими мыслями — поправьте его,

необходимые коррективы автоматически запишет мыслеприемник. Когда синхронизация закончится и мы достигнем полного единообразия ваших мыслей и мыслей биса, этот последний начнет самостоятельное существование.

Обращаясь к бису, Лютиков распорядился:

— Продемонстрируйте мыслеприемник!

Чебукин-бис быстрыми, но не суетливыми движениями расстегнул пиджак и шелковую рубашку, нажал почти невидимую кнопку на открывшейся металлической стенке груди и снова опустил руки.

Шторная стенка раздвинулась.

Внутри горели триоды, смутно освещая множество конденсаторов, сопротивлений и крошечных металлических катушек, между которыми скользили поблескивающие ленты.

Шуршание стало слышнее.

— Спасибо! — сказал Лютиков. — Попрошу пройти во второй зал.

Шторки так же автоматически закрылись. Бис аккуратно застегнул пуговицы, поправил галстук и поднялся. Чебукин также встал.

Вслед за Лютиковым Чебукин и Чебукин-бис пересекли опустевший зал перезаписи и очутились в длинном помещении с рядом дверей на одной стороне.

— Сюда! — пригласил Лютиков, открывая третью справа кабинку, на которой была прикреплена стеклянная дощечка с надписью:

ЧЕБУКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ-БИС
ПРОФЕССОР ЭСТЕТИКИ

Бис зашел в кабинку. Помещение напоминало купе вагона: мягкий диван, столик, кресло, умывальник с укрепленным над ним зеркалом.

— До свидания, — холодно сказал Чебукин-бис и развернул лежащий на столике свежий номер журнала.

— До свидания, — так же принужденно ответил Чебукин.

Когда дверь за бисом захлопнулась, Чебукин почувствовал некоторое облегчение и заторопился к выходу.

— Как же, однако, вы умудрились прожить жизнь, будучи самим собой и никем иным? — спросил я.

Он ответил мне тем же вопросом.

Из записок неизвестного

16.

На улице Чебукин глубоко вздохнул. Светило нежаркое солнце.

— Пахнет хмелем и тлением, забвение временное шагает рука об руку с забвением вечным,— вполголоса проговорил он, щурясь на солнце. То есть он, собственно, только слышал эти слова, а сказал их бис через микроскопические громкоговорители на полупроводниках, искусно смонтированные в уголках губ.

«Профессор эстетики мог бы изобрести нечто более оригинальное и менее выпренное»,— с неудовольствием подумал Чебукин.

В машине, ощутив привычную упругую мягкость сиденья, он несколько успокоился, и опять-таки не он, а бис беззвучно проговорил:

— Чего-нибудь я как-никак стою. Не каждому положена персональная машина и все прочее.

А в следующее мгновение уже он сам поправил биса:

— Мыслителю и философу, а ведь мы с тобой значимся именно философами, не следовало бы позволять себе столь затасканные суждения. Диоген, так сказать, «вкатился» в бессмертие при помощи всего-навсего бочки, которая при меньшей скорости и маневренности обладала, по-видимому, несомненными преимуществами.

Мысль, направившаяся по скользкому руслу, не замедлила подсказать, что Сократ был отравлен, Аристотель умер в изгнании, Джордано Бруно сожжен, Каллисфан, осмелившийся сказать Александру Македонскому, что историографу для его славы царь не нужен, но зато царь никогда не был бы так знаменит без своего историографа, был казнен, и множество более современных мыслителей претерпели подобные же неудобства.

— Домой? — спросил шофер.

— В институт на совещание, — ответил Чебукин с философской печалью в голосе. — Дела, дела; личную жизнь приходится оттеснять на задворки.

То есть опять-таки выговорил эту фразу бис, а он снова с досадой отметил про себя выпренность, банальность и почти привычную неискренность его, биса, лексики.

— Пустозвон, — пробормотал Чебукин, — чистейшая балаболка...

...Межведомственное совещание уже началось. Председатель сразу заметил появление Чебукина, кивнул ему и вскоре предоставил слово.

Василий Иванович заговорил легко и плавно, уверенно нащупав главную жилу.

Стоит ли повторять, что говорил не Чебукин, а бис, и Василий Иванович, может быть, впервые в жизни получил возможность взглянуть на себя со стороны.

«Раньше у меня никогда не было для этого времени, — со стесненным сердцем подумал он сам. — Может быть, и лучше, что его не было. Еще лучше, если бы это чертово время и не появлялось».

Речь на совещании шла о низком уровне эстетического оформления продукции фабрики имени 8 марта. И Чебукин-бис через громкоговорители, укрепленные в уголках губ собственно Чебукина, сразу же аргументированно и веско заявил, что надо ударить по рукам коллектив фабрики за недооценку значения эстетического уровня.

Чебукин слушал обстоятельную речь биса с чувством, с каким бессонной ночью следишь за однообразным падением капель из крана. «Ударить по рукам». При этих словах ему вспомнилось, что он никогда не видел продукции фабрики. Кажется, это рояли и фисгармонии, а может быть сенокосилки и утюги? Нет, вероятнее всего — галоши и соски...

«Впрочем, эстетика ведь необходима везде», — попробовал он успокоить себя.

И тут он вдруг забыл, от какого греческого корня происходит слово «эстетика».

Когда-то знал и забыл...

«Хорошо бы посмотреть словарь», — подумал он и пошел к выходу, совершенно не учитывая, что голос биса нерасторжимо связан с ним, Чебукиным-настоящим, и, следовательно, тоже двигается к выходу.

Чебукин остановился, только когда его окликнули из президиума, и неловко договорил, вернее сказать — до-слушал свою речь, стоя посреди зала.

От длинных и плавных периодов биса возникало ощущение, будто бы он, Чебукин, нечист, ощущение как бы зуда во всем теле и странная мысль, что самое главное сейчас поскорее помыться.

17.

Человек, который бывает тягостно потрясен, узрев себя со стороны, не есть конченный человек. Но именно поэтому подобное потрясение приближает его конец.

*Камилл Ланье „Психология
обыденной жизни“*

Очутившись в кабинете, Чебукин закрылся на два оборота ключа. «Словарь» служил только поводом, последней каплей, а покинул он зал заседания из необходимости убежать от всех и, прежде всего, от биса.

Последнее, впрочем, было невыполнимо.

Он сел в кресло и снова ощутил властную потребность заменить последние два добрых дела — номер девять, касающийся курьера, и номер десять, касающийся сестры и пирога — добрыми делами менее спорными. Потребность такую настойчивую, будто только осуществив эту замену, он сумеет остаться на поверхности, выплыть из нереального, однако физически ощутимого серого моря, в котором он сейчас тонет.

Память, настроенная снисходительно, подсказала историю с защитой доцентом Януаровым диссертации на тему «Мне так кажется — как судебное доказательство».

Тогда он, единственный из пятнадцати членов ученого

совета, подал голос против присуждения Януарову ученой степени.

«Для подобного поступка, особенно в то время, нужны были смелость, правдолюбие. И этих основополагающих качеств у меня все же оказалось побольше, чем у уважаемых коллег», подумал Чебукин и совсем было собрался заменить курьера с незапоминающейся фамилией на черный шар против Януарова, когда память, продолжавшая распутывать ниточку, внесла уточнения.

Чебукин вспомнил, как после оглашения результатов голосования коллеги один за другим подходили к Януарову, дабы поскорее засвидетельствовать непричастность к злополучному черному шару.

Он остановил профессора Рысина и спросил, не кажется ли ему унижительным «хождение на поклон».

Рысин отмахнулся:

— Януаров известный сикофант, зачем с ним связываться?

— Но и ты пошел вслед за Рысиным на поклон,— не преминула подсказать память, снова настроенная обличительно.

— Я был последним! Значит, опять-таки проявил известное моральное превосходство перед коллегами,— оправдывался Чебукин.

— Да, ты подошел последним, но...— продолжала обличать память,— но, встретив холодный взгляд Януарова, испугался и стал приглашать его в гости, бормотать нечто совсем непристойное относительно огромного вклада в науку и необходимости обмыть этот вклад. Тогда Януаров действительно догадался о твоей причастности к черному шару и железным голосом отчеканил: «Вы забываете, с кем имеете дело». (Это звучало угрожающе и двусмысленно).

— Нет, нет,— проговорил Чебукин, перебивая память, к черту Януарова, ничего не поделаешь, пусть десятым номером пока останется курьер... Но неужто и в самом деле не было в моей жизни ничего более достойного наименования «доброе и смелое дело»?

Зазвонил телефон, и, узнав голос Ирины, своей аспирантки, Чебукин обрадовался возможности отвлечься от неприятных размышлений.

— Да,— сказал он с готовностью.— Я очень рад. У третьей колонны?.. Буду через тридцать минут...

— Вы мне надоели. Уйдите! — сказала
Отражение.

— Хорошо, но помните, если я уда-
люсь, исчезнете и вы.

— Пожалуй, я примирюсь и с этим...

Из записок неизвестного

Он не всегда говорил то, что думал.
Но сказав что-либо, впредь думал именно
так.

С. Дюгонь-Дюгоне „Портреты“

18.

Главный недостаток извилин в том,
что они извилисты.

*А. П. Сыроваров, начальник Лаборатории
перезаписи, „Приказы“*

Шагая рядом с Ириной, Чебукин совсем было
собрался пуститься в откровенности, неумест-
ные и не ведущие к цели, но внутренне необходимые
сейчас, однако бис опередил его и повел дело изученной
тропой.

— Так тянет на природу, в просторы... Человеку, посвя-
тившему себя эстетике, истинная красота важнее всего, —
начал бис рокочущим и переливающимся голосом.

«Затоковал... Колоратурный бас... Траченный молью
первый любовник провинциальной оперетты», — зло и
безнадежно думал Чебукин, с непривычной жалостью
ощущая робкое тепло Ириной руки.

— Неумолчный шелест деревьев, щебет птиц, — раз-
ливался бис. — Давайте отправимся за тайнами природы,
как древние аргонавты за золотом!..

Чебукин взглянул на Ирину, но не как обычно, чтобы
проверить действие слов, «скорректировать огонь», а
бесцельно, с той же щемящей душу жалостью.

— Да, да... так тянет к птицам, к деревьям, — без-
звучно шептала девушка, удивительно хорошея при этом.

«Ну, конечно, — виновато думал Чебукин, любуясь
ее новой красотой. — Ей и вправду представляется это
самое — листва, мурава, бабочки, соловьи, а в мыслях
биса — я-то ведь знаю — протертые влажной тряпкой
листья пальмы над столиком в уединенном углу ресторана
«Нерпа», где всегда кончается первый этап «плавания
аргонавтов».

— К природе... как аргонавты, — шептала Ирина, и
самые пошлые слова в ее устах приобретали новый, вер-
нее — старейший, первозданный смысл.

— Я тоскую по красоте, как плененная ласточка по воздушному океану,— разливался бис.— Безграничность стихий и такая же необъятность музыки. Грандиозность Баха. Бранденбургский концерт та-ра-та-та-лю-лю-та-ра...

«Это, коллега-шестипудовая ласточка, никакой не Бах, а «Подмосковные вечера», да еще префальшиво исполненные»,— подумал Чебукин.

— Лю-лю-лю-ра-ра-лю-ра-ра-ра,— не заметив подлога, чистым, серебристым голосом подхватила Ирина.— Лю-лю-ра-ра-та-та-та-та...

«Вот это не «Подмосковные вечера», это, верно, и есть Бах, которого я, к сожалению, совершенно не знаю»,— думал Чебукин.

Он посмотрел на Ирину и впервые за время короткого романа, а также предыдущих коротких романов, бескорыстно залюбовался девушкой, чувствуя, что сердце бьется чаще, горло пересохло и нечто одновременно горькое и сладостное теснит грудь.

А бис развивал обычную программу:

— Музыка и ваша щедрая ласка единственное, что может согреть сердце, измученное борьбой с оппортунистами и догматиками, годами неустойств и теоретических размышлений. Женское тепло... трепет...

— К черту! — не своим голосом закричал Чебукин.— Трепач! Брехун!

Девушка испуганно оглянулась.

— Вам нехорошо? — нежно спросила она. И этот страх за другого человека, беззащитно протянутые руки, открывали в ней новую красоту.

— Вы извините,— пробормотал Чебукин и тут же, услышав, как бис снова принимается за свое токованье, закричал нечто уж совсем непонятное кроткой аспирантке: — К дьяволу! Извините, я не вас. А вы тоже хороши — развесили уши. К дьяволу! К черту! К дьяволу!

Чебукин махнул рукой и побежал прочь.

Дома он, не ужиная, заперся в кабинете и, тяжело дыша, улегся на холодном кожаном диване.

— Чего ты волнуешься? Бис через три месяца отделится и будет жить самостоятельно, как...— пробовал он успокоить себя.

— Как тысячи других пустозвонов,— перебил внутренний голос, который прежде почти никогда не подавал

голоса, а теперь стал проявлять поразительную активность.— Но сам ты ведь не отделишься от себя!

— Да, я от себя не отделюсь,— должен был согласиться Чебукин.— И кроме того, я не вынесу дуэта с бисом не то чтобы три месяца, а даже еще три часа.

Сквозь дверь Чебукин слышал, как жена отвечала по телефону:

— Ничего особенного... Неужели? Ах, боже мой... Что вы говорите!

«Доброжелатель» информирует о моем странном поступке на междудеовственном совещании»,— безошибочно определил Чебукин.

— Нет, нет, он сумеет взять себя в руки,— говорила жена.

«Положение неустойчивое. Любопытно, кто обрадуется, когда я загремлю? — спросил он самого себя.— Прохвост Прожогин? У Прожогина больше всего шансов занять мое место. Потом Петр Петрович. Петр Петрович станет заместителем. Нет... вернее всего, свалит меня Чебукин-бис».

Чебукин засмеялся, такой странной и одновременно вероятной была эта догадка. «Не кто иной, как Чебукин-бис».

— Опять карьера, карьера, мелкий и суетный человек,— раздраженно сказал внутренний голос.— Не пора ли, как выражались в старину, подумать о душе?

— Давно пора,— согласился Чебукин и вздохнул.

Ему припомнилось милое лицо Ирины и захотелось напеть мотив, услышанный от нее, это дивное лю-лю-ра-ра-та-та-лю-лю-та...

Получилось нечто совсем иное, хотя тоже знакомое. Он напрягся и вспомнил: «Да это же «Там, вдали, за рекой», походная песня, заученная в юности, во время срочной службы».

— Там, вдали, за рекой загорались огни. В небе ясном заря догорала...— промурлыкал он.

Жена услышала и, выйдя в коридор, тоненько сказала:

— Васе-е-чек... может быть, чае-е-ечечку... горя-я-я-ченького, кре-е-е-е-пенького?

Сострадание она умела выражать только так: растягивая гласные.

Чебукин не откликнулся. Серdito дыша, он бормотал про себя одно и тоже: «Там, вдали, за рекой... Там, вдали, за рекой...»

— А ты знаешь, почему песенка так крепко засела у тебя в голове? — шепнул внутренний голос.

— Н-нет. Воспоминания юности? — неуверенно спросил Чебукин.

— Романтика, юность... Вздor, голубчик. Разве не ты в качестве директора Института эстетики, получив наводящий запрос, подмахнул резко отрицательный отзыв об этом «упадочническом произведении». А через известное время по второму наводящему запросу состряпал другой — безоговорочно положительный отзыв...

— Что же тут такого? — вмешался бис. — Некоторые произведения искусства в свете одной, э-э, исторической эпохи играют совершенно иную роль, чем те же, так сказать, произведения искусства в свете другой, э-э, исторической эпохи. Азбучная истина.

— Завел шарманку, — огрызнулся Чебукин, хотя бис защищал его от внутреннего голоса.

Чебукину вдруг снова показалось жизненно необходимым заменить сомнительное доброе дело другим, настоящим.

И заменить сейчас же, будто только после этого появится хоть какая-то защита и против биса и против внутреннего голоса.

— Доброе дело... Доброе и смелое дело... — бормотал он про себя.

— Добро... Зло... — снова вкрадчиво вмешался бис. — Ты в плену абстрактных категорий... идеалистических, общечеловеческих понятий. Предоставь другим судить о тебе. Твоя биография и, э-э, анкеты всегда радовали глаз компетентных работников. Неужели ты случайно дослужался до...

— Позволю себе заметить, — сухо перебил внутренний голос, — что у Клавдия, короля Дании, тоже, по-видимому, были безукоризненные, радующие глаз анкеты. А то, что он влил малую толику яда в ухо неосмотрительно уснувшему и потерявшему здоровую бдительность

брату — отцу Гамлета, анкеты не отразили. Там и вопроса такого нет: «Отравлял ли ты ближних своих?»

— Яд!! Убийство!! — с негодованием вскричал бис. («Боже, какой ложный пафос!» — подумал Чебукин). — Вы переходите все границы, милейший... Не посмеете же вы обвинять нас, меня и Чебукина настоящего, в...

— В отравительстве? — внутренний голос хохотнул. — Но яды бывают разные... Некоторые поражают только душу...

— Идеализм!.. Субъективизм... Махизм... — кричал бис. Чебукин прикрыл голову подушкой, пытаясь столь наивным способом заглушить спорящие голоса, слушать которые он уже был не в силах. «Я теперь больше похож на арбитражную комиссию, чем на обычного человека, — думал он. — Так не может продолжаться. Я не выдержу».

Как ни странно, подушка помогла. А может быть, голоса затихли сами собой.

В тишине Чебукин снова принялся искать подходящее доброе дело.

«Прожогин? Ну, конечно же», — обрадованно вспомнил он и помедлил, давая время высказать свои мнения и внутреннему голосу и бису.

Те молчали... Их пассивность обнадеживала.

Чебукин вспомнил.

В прошедшие годы Прожогин попал в ссылку и крайне нуждался. Профессор Лядов, старый учитель Прожогина, подбирал книги и другие материалы для статей и заметок, пересылал их ссылкой, а затем, напечатав сочинения своего подопечного, по необходимости без подписи, переводил автору гонорар.

Человек скрупулезно аккуратный, Лядов сохранял извещения на получение гонорара и квитанции переводов в специальном конверте.

Когда через несколько лет Прожогин вернулся, здоровый и — в немалой степени благодаря заботам своего старого учителя — вполне благополучный, профессор уронил слезу и с некоторой торжественностью вручил ученику упомянутый конверт, сказав между прочим, что

будет счастлив, если после его, Лядова, кончины Прожогин примет кафедру и продолжит начатые учителем изыскания.

Подробности трогательного свидания учителя с учеником стали широко известны со слов Прожогина.

А еще через известное время Прожогин подал куда нужно заявление, обвинив Лядова не только в теоретических ошибках, но прежде всего — в связях с врагами народа и помощи врагам народа. В качестве доказательств он приложил к своему манускрипту сколотую рукой Лядова пачку квитанций, свидетельствующую о том, что профессор переводил ему, Прожогину, бывшему тогда врагом народа, деньги и поддерживал с ним, Прожогиним, бывшим тогда врагом народа, оживленную переписку.

Старый профессор был изгнан с кафедры, а несколько позднее попал в лагерь, из которого уже не вернулся. А Прожогин занял кафедру своего наставника, как тот и желал, однако при обстоятельствах, которые учителю вряд ли могли представиться.

В ту пору, то есть когда кафедра освободилась, Прожогин обратился к Чебукину с просьбой рекомендовать его для замещения открывшейся вакансии.

— Да вы мерзавец! — ответил Чебукин и показал рукой на дверь.

— ...Чем это не доброе и не смелое дело, особенно если учесть самое личность Прожогина, обнаружившего незаурядные способности в шагании к цели по трупам? — с надеждой и робостью обратился Чебукин к внутреннему голосу.

— Хм... хм... — пробормотал внутренний голос. Чувствовалось, что ему нелегко развенчивать последние иллюзии Чебукина. — Хм... хм... Но ведь ты был в кабинете один?

— Допустим... — ответил Чебукин.

— А при свидетелях ты повторил бы этого своего «мерзавца»? Отвечай честно!

— Н-не знаю... Сказать такое при свидетелях было бы сверхсмелым поступком, а условлено подобрать дела просто смелые и добрые.

— И Прожогин все же стал твоим заместителем? — продолжал внутренний голос, словно не слыша или отводя объяснения Чебукина.

— Его утвердили во время моего отпуска.

— А когда ты вернулся, то сразу же заявил протест против назначения мерзавца на столь высокий пост?

— Н-нет... Впрочем, с моим протестом не посчитались бы...

— Значит, «нет»? Но уж, конечно, ты при встрече с Прожогиним не подавал мерзавцу руки и заявил, что твое мнение о нем остается неизменным?

— Н-нет... но...

— И уж, разумеется, на банкетах ты не пил, когда поднимали тост за научные успехи Прожогина?

— Н-нет... Н-не знаю... Н-не помню...

— И когда Прожогин защитил докторскую, основательно обокрав своего к тому времени уже покойного учителя, ты не поздравил его?

— Да перестань! Хватит,— не выдержав, закричал Чебукин, поднялся и стал бегать по комнате.— Хватит! Хватит! Нет добрых дел, так нет. Что я, рожу их!

Как только Чебукин замолк, бис вкрадчивым голосом спросил:

— Не станешь же ты утверждать, что и во чреве матери был отрицательным персонажем, ламбрововским типом? Хотя в такой мере ты помнишь указания первоисточников? Очевидно, в детстве и юности, я отбрасываю другие этапы жизни, ты совершал пресловутые абстрактно добрые и абстрактно смелые дела, но поскольку впоследствии данный показатель, так сказать, не учитывался, то подобные абстракции, естественно, стерлись в памяти.

— Дурак! Пошляк! — не закричал, а боясь разбудить домашних, прошептал Чебукин.— Еще слово, и я тебя... Я тебя придушу!.. Вот и будет замечательнейшее доброе дело. Придушу!!!

Именно в этот момент в голове Чебукина мелькнула опасная мысль об убийстве биса.

И с этого момента она непрерывно росла, пока не овладела без остатка всем существом Чебукина.

— Ха-ха,— раздельно, спокойным рокочущим голосом выговорил бис, давая понять, что он не принимает угрозу всерьез.— Ха-ха.

— Между прочим,— вмешался внутренний голос, тоже не оценивший накала и остроты создавшегося положения.— На этот раз бис прав, ты не родился отрицательным персонажем, но впоследствии...

— К черту! К черту! — с истерическим смешком повторял Чебукин, никого не слушая.— Я тебя придушу. Бес-бис, бис-бес! Вот и будет отличнейшее и бесспорнейшее доброе дело! Я тебя придушу. Выпущу из тебя все твои дурацкие перфорированные потроха! И...

— Постой, постой! — уже с явной тревогой в голосе заговорил бис.— Как же это?.. По какому праву?! И я, позволю себе заметить, не твоя собственность, а полноправный бис, занесенный в инвентарные ведомости Ветеринарного института. Я... Я...

Чебукин с лихорадочной поспешностью завязывал галстук.

— И ты должен понимать,— уже не говорил, а визжал бис.— Если ты посмеешь уничтожить меня... это так не пройдет... Э-э... Тебя отовсюду прогонят. Тебя... Да ты просто исчезнешь!

— «Исчезну»? — Чебукин странно улыбнулся.— А знаешь, неплохая мысль... Пожалуй, я примирюсь и с исчезновением...

Выговаривая эти отрывистые реплики, Василий Иванович один за другим выдвигал ящики письменного стола. С облегчением вздохнув, он выпрямился и подбросил на ладони заржавелый «вальтер», сохранившийся с войны. «Пожалуй, я примирюсь и с этим...»

В левой руке Чебукин держал «вальтер», а правой крупными буквами писал прощальную записку Оленьке, записку, адресованную, может быть, больше Оленькиной матери, которой уже давно не было в живых.

Не перечитывая, он крадучись открыл дверь и в носках, с туфлями в руках прошел по коридору. Туфли он надел, только очутившись за порогом. Уже светало.

Прохаживаясь возле мраморных колонн Лаборатории перезаписи, Чебукин дождался утра и вместе с потоком служащих мимо зазевавшегося вахтера проник в здание.

На ваш запрос № 973/Д сообщаем, что эстетической ценности произведение песенного жанра „Там, вдали, за рекой“ не представляет, а строка „Он упал на траву возле ног у коня“, выхватывая из окружающей действительности случайное и нетипичное явление, придает произведению нездоровую, пессимистическую окраску.

Из заключения, подписанного директором Института эстетики, морали и права В. И. Чебукиным

19.

Он упал на траву возле ног у коня...

Последние слова В. И. Чебукина

Люстикова, который в тот день находился на бюллетене, вызвали по телефону. Когда он явился, тело Чебукина уже успели увезти в морг. Чебукин-бис, то есть то, что еще недавно было Чебукиным-бисом, сидел в своей кабинке, снова совершенно без выражения на металлическом лице.

Бежевый пиджак и рубашка были расстегнуты. Открывалась никелированная глубина груди, где поблескивали бесчисленные катушки; прежде на них были намотаны ленты с записями всего, что составляло ум и душу Чебукина-настоящего.

Ленты, разорванные и растоптанные, валялись на полу кабинки.

Люстиков, потрясенный и подавленный, рассеянно нажал пусковую кнопку. Колесики завертелись, и отчетливо прозвучала, несколько раз повторившись, одна фраза: «Он упал на траву возле ног у коня...»

Голос оборвался, раздался звук выстрела. После этого слышен был только легкий шум вхолостуюдвигающегося механизма.

Люстикова вызвали к начальнику лаборатории.

— Наконец-то, — грозно начал Сыроваров, как только Люстиков переступил порог. — Сколько раз я предупреждал вас, что извилины извилисты, и главная наша задача — выправлять их. Не выполнили указаний, теперь расхлебывайте...

Люстиков молчал.

— Вот и расхлебывайте, — все более распаляясь, продолжал Сыроваров. — Увольняю вас по собственному желанию.

— Он упал на траву возле ног у коня,— со слабой усмешкой бормотал Люстиков.

— Что вы болтаете? — гневно осведомился Сыроваров.

— Он упал на траву возле ног у коня. Все падают на траву возле ног у коня,— с той же неуместной усмешкой выговорил Люстиков.

В извинение можно сказать, что у него в тот день была температура свыше тридцати девяти градусов.

Сыроваров побледнел от гнева.

— Ах, так! — загремел он.— Вы увольняйтесь. И не по собственному желанию, а по собственному моему желанию. Вон!

Люстиков вышел, чтобы больше никогда не появляться в Лаборатории перезаписи.

„Извините,— обращался к своим клиентам один любознательный джентльмен.— Не скажете ли вы, что такое добро, зло, любовь, верность, жестокость, нежность? Я очень занят и не могу самостоятельно разобраться во всем этом».

Крайняя занятость джентльмена объяснялась тем, что он служил старшим палачом графства.

С. Дюгонь-Дюгоне „Портреты“

20.

После происшествий, описанных выше, дела Лаборатории перезаписи пошли круто под гору. Может быть, сыграло роль изгнание Люстикова, во всяком случае, качество перезаписи резко упало. Неелов-бис, профессор геометрии, новенький, только из лаборатории, начал первую лекцию словами:

— Кривая — кратчайшее расстояние между двумя точками. На этом основана народная поговорка «кривая вывезет».

Прямо с кафедры, на машине «скорой помощи», биса пришлось увезти обратно в Лабораторию перезаписи.

Скандал с Нееловым вызвал такие толки, что лаборатория вынуждена была «до особого распоряжения» прекратить выпуск бисов.

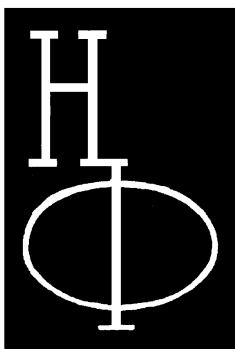
И со старыми, всесторонне проверенными экземплярами дело обернулось плохо. Если прежде, при Люстикове, перезарядка занимала час, то теперь бисам приходилось простаивать в очереди несколько недель — на улице, зачастую в дождь или снегопад. В нездоровых условиях распространилась неизвестная раньше ржаво-вирусная болезнь. Идет бис, с виду вполне благополучный, и вдруг — трах, рассыплется на составные части — винтики, катушки, шторки.

Вследствие эпидемии в невероятно короткие сроки все бисы исчезли один за другим. Только в витрине мастерской артели Металлоштамп некоторое время можно было еще увидеть Мышеедова-биса, отправленного в ремонт. Он стоял за грязным стеклом, между сломанными примусами, пылесосами и велосипедами, пока наконец пионеры соседней школы не выпросили его у председателя артели и не сдали в металлолом.

Бисов не стало...

Правда, среди обывателей и до настоящего времени циркулируют толки, что бесы (слово «бисы» в малообразованных слоях населения так и не закрепилось) еще есть, очень даже есть; только они до поры до времени всячески скрывают свое бесовское происхождение. Насколько обоснованны подобные слухи, мы и сейчас, заканчивая повествование, ответить не можем.





СОДЕРЖАНИЕ

Ф. Х О Й Л

Черное облако_____ **3**

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА

Л. О Б У Х О В А

Л и л и т_____ **211**

А. Ш А Р О В

После перезаписи_____ **307**

Редактор Г. М а л и н н а

Рисунок на обложке

И. М о с к в и т и н а

Художественный редактор

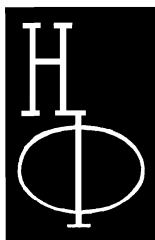
Т. Д о б р о в о л ь н о в а

Технический редактор

Л. А т р о щ е н к о

Корректоры

Р. С а в и н а, Е. О л ь х о в с к а я



Сдано в набор 14/IX 1965 г. Под-
писано к печати 29/XII 1965 г.
Изд. № 104. Формат бумаги
84×108¹/₃₂. Бум. л. 5,75. Печ.
л. 11,6. Условн. печ. л. 19,82.
Учетно-изд. л. 18,92. А14743
Цена 77 коп. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 3007.

Опубликовано: Темплан 1966 г.
№ 20.

Издательство «Знание».
Москва, Центр, Новая пл., 3/4
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров
СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас отзыв об этой книжке и свои пожелания присылать в издательство «Знание».

Наш адрес: Москва. Центр, Новая пл., д. 3/4.

77 коп.

